

Абалакова Н. Б.
А13 Глиняный холм: Роман. — СПб.: Издательский дом
«Галина скрипит», 2010. — 440 с.

Ответственный редактор
Художественное оформление
Вёрстка

Елена Козловская
Галина Блейх
Алёна Философова

Подписано к печати 21.07.2010. Формат 60х94 1/16. Гарнитура
Arial. Печать офсетная. Печ. л. 27,5. Тираж 300. Зак. № 3469

ООО «Издательский дом *Галина скрипит*».
190121, Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, д. 13, к. 6

Отпечатано с готовых диапозитивов в ОАО «Издательско-
полиграфическое предприятие „Искусство России“»
198099, Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, к. 2

ISBN 978-5-901495-26-1

© Абалакова Наталья Борисовна, 2010
© Издательский дом «Галина скрипит», 2010

Вступление

Игровая приставка

За спиной что-то щелкнуло – сдавило горло. Бэби-монстр защелкнул свои пластиковые ручки на моей шее. Гигантская кукла со стеклянными глазами и губами-оладьями, дорогой подарок дальних родственников девочке других, столь же дальних, – да сломался механизм; кукла стала теперь столь же дальней... Правда, если уж ухватит – не выпустит.

Я вижу, как на экране разбивается самолет. И все гибнут. Потом разбивается еще один самолет, и все тоже гибнут.

– Ты что же, так и собираешься сидеть? Как в кино?

– А что я должна делать?

– Как «что»? Играть!

Он берет мою руку, кладет на скользкий серебристый джойстик – указательный палец правой руки на левую клавишу. Я чувствую сухой жар его ладони.

Потом снова, еще и еще – мои пальцы скользят, а самолеты разбиваются. Мы сидим вдвоем и смотрим, как они разбиваются.

– Да ты просто не хочешь играть.

На земле валяется пластиковая ручка от куклы.

«Ну и черт с ней!» – думаю я.

Когда разбился последний самолет, я пошевелила острым носком туфли кусок расплавленного металла. Он оказался легче пушинки – взмыл и завис. Экран погас; в темном стекле остался человек со смуглым лицом и маленьким шрамом на подбородке.

Размышлять о жизни лучше всего, встав с левой ноги. Впрочем, по этому поводу существует и противоположное мнение: можно и с правой – и это еще не самый беспробудный вариант. Важно одно: встать, зевнуть, потянуться и постараться сохранить как можно дольше ощущение чего-то святого, неясного и эротического.

Никакими искусственными приемами создать это ощущение нельзя, это сродни урагану или песчаной буре, что ревет, как супердрайвовая вещь; с этим надо родиться, это должно быть в крови.

Но и это не главное: важно на протяжении всего дня ни на секунду не оторваться от этого потока, мощного, как похмелье после волшебной ночи, и это, очевидно, вовсе не домысел.

Так в один прекрасный день одна бабка увидела через окно в магазине какую-то штуку и по привычке бросилась занимать очередь, но на пороге споткнулась и упала, распоров себе ногу о железный штырь, торчавший из каменной ступеньки. Ее затащили в магазин, где одна странного вида особа стала при помощи пассов и движений пальцев останавливать кровотечение. Вскоре ей это удалось. Продающие и покупающие, забросив свои дела и забыв обо всем на свете, как замороженные, следили за происходящим. Обслужив бабку, женщина как ни в чем не бывало взяла свою продуктовую корзину и стала выбирать товар. Вдруг ни с того ни с сего началось настоящее светопредставление. Сбежались все: запыхавшись, примчалась директорша, сорвались со своих рабочих мест продавцы и кассиры, притопал даже сизый с раннего похмелья или позднего подпития веселый глухонемой грузчик. В суматохе одни кричали, что надо срочно скорую, другие – что и так сойдет, третьи говорили, что целительнице не лишнее было бы собрать деньги за труды. Сама же бабка сидела на полу, народ напирал, но никто не решался переступить через лужу кровищи, которой натекло целое ведро. Грузчик отчаянно жестикулировал и мычал, но на него никто не обращал внимания. Директорша призывала весь доступный ее административному влиянию люд к скорейшему наведению Закона, Порядка и Света с полной ликвидацией следов события и их последствий, т. е. лужи крови. Но народ, весь ей подопечный, с завидным малодушием отвечал, что ничего делать не будет. Покупатели вместе с корзинами шарахались в разные

стороны; самые слабонервные выскакивали из магазина наружу, зажав рот платком. Тогда я, растолкав всех, бросаюсь вперед со словами:

– Скорее несите тряпку и ведро!

Гробовая тишина. И тут же истошные вопли:

– Да тут их целая шайка! Милиция! Милиция!

Понимаю, что дело может принять дурной оборот. С трудом вырываюсь из цепких рук и, бросив прощальный взгляд на лужу дымящейся крови, начинаю соображать, что пора исчезнуть. Раствориться, стать горячим ветром песчаной бури и устремиться в самый центр пустоты.

Пустоты, неотъемлемой от процесса овладения языком, хотя и стоит признать, что изобразительный язык не достигает уровня совершенной эксплицитной коммуникации; этот регулятивный идеал присутствует в деизгнативных теориях значения – *но это вовсе не роман о языке* – стоит забыть про идеал максимальной артикуляции – *на письме* – это лишь проблема произнесения слов – стоило всего лишь *произнести несколько ничего не значащих и не связанных между собой слов* – и тут же возникает проблема поэтики – описания способа создания текста. Как найти эти слова, наделенные всеми чувствами и возможностями, для беспрепятственного передвижения в пространстве, проговорить что-то, *выразить это «что-то», не потеряв при этом ни лицо, ни его отражение в зеркале дальнего обзора, бесповоротно бесполезное любому другому, кроме автора текста* – недостижимый литературный идеал: эксплицитная коммуникация основывается на передаче информации об объектных связях, – *слова его были спеленыты, как египетские мумии, и речь его лежала у меня в ногах*, – отсюда сродство между речью и любым искусством, язык живописный или вербальный, орудие коммуникации, лишь инструмент для передачи информации.

За спиной что-то щелкнуло и сдавило горло.

Монстр защелкнул на его шее свои пластиковые ручки. Мерзкая кукла со стеклянными глазами и собачьей мордой. Подаренная чьими-то родственниками какому-то ребенку. Сломался механизм: теперь она, если уж ухватит, никогда не выпустит.

Он вспоминал. Он вспоминал о том, о чем дети, став взрослыми, не хотят помнить, да...

Один раз разбился самолет, и все погибли. Потом еще раз разбился самолет, и все тоже погибли. Потом еще, еще и еще. Он сидел и смотрел, как они разбиваются. На трехмерной земле (- время) валялась трехмерная ручка от пластиковой куклы. Ну и пес с ней!

Когда разбился последний самолет, он вошел прямо *туда*. И пошевелил носком ботинка *что-то*, непохожее ни на что или похожее на всё сразу. Может быть, это был знак на воде, след на проселочной дороге, на песке, на камне, на теле, на бумаге; обугленные страницы синей тетради, чья-то речь, прозвучавшая однажды и оставшаяся в памяти навсегда, величественная, как грозное облако, и прекрасная, как горная вершина... ревушая, как супердрайвовая вещь в наушниках.

Нет, разве можно эту стихию придумать и описать, с *этим* надо родиться, она должна быть в крови...

А теперь пора выйти за пределы описания частичных обстоятельств, приведших к выводам, далеко не единственным и далеко не окончательным по поводу того, что чем прозрачнее функционирует наш язык, тем эффективнее работают символические системы, – *в момент между остановкой письма и остановкой дыхания изменяется само тело пишущегося текста*, – сама теория деизигнативного значения исторически и концептуально предполагает – *аутическую речь, прекрасную, как землетрясение*, – что не соответствует базовой теории экспрессивного значения, используемой для феноменологического подхода, – *как отвар из имбиря против простуды*. Если деизигнативная теория фокусирует внимание на первичной референтной функции символа – Ворота, например,

что они значат для пишущего (который слышит голос или голоса), – то экспрессивная теория фокусирует внимание на первичной, референтной теории символов – *5 полотенце, 3 простыни, 1 скатерть, 6 наволочек, 7 выволочек, 2 пододеяльника (один белый, один цветной)*, – экспрессивная теория полагает, что знаки имеют смысл, поскольку они *собираются в кучу и образуют текст, который может оказаться в любом месте, в каждом месте, здесь и сейчас*; они, знаки эти, манифестируют символическое опосредование – *белый песок и камни, их общее прошлое и будущее рассеяние* – предельная степень отстранения и наибольшего сближения – *внешний внушительный объем и поразительная внутренняя пустота написанного (на самом деле, от руки, простым карандашом в синей тетради)* – имеет смысл только в том случае, если написанный таким способом текст может заинтересовать/ся сам собой – или *чем-нибудь вообще*, но обстоятельства торопят: *где-то совсем рядом – горит (опять хулиганы подожгли помойный контейнер)* – огонь – вполне реальный способ заинтересовать/ся (наконец) самим *содержанием*, неотделимым от знака, – *из огня можно вынести только огонь, форму, посредством которой он и реализуется – то есть самым огнем становится*.

Впрочем – преднамеренно – *ничем таким* заинтересовать/ся невозможно, как невозможно, ни с того ни с сего, породниться с ураганом, со звуком его речи, внушающим одновременно ужас, отчаяние и надежду (а ведь только что было говорено об объяснении – и о смысле). Да и стоит ли искать смысла в песчаной буре, ревушей, как супердрайвовая вещь в наушниках, и, тем более, пытаться эту бурю придумать; с этим надо родиться, она должна быть в крови. Но и это не самое главное: важно ни на секунду не терять связь с этим источником волнения, радости и беспокойства, воплотившимся в звуки одновременно звучащей отовсюду и ниоткуда речи, то едва уловимой, то оглушительной

и мощной, как отходняк после волшебной ночи, и это, скорее всего, – не домысел.

Глава первая

Отрыв

На этом месте запись в синей тетради кончается. Можно сказать, что еще одна страница была, но она почти полностью тщательно заштрихована поверх карандаша шариковой ручкой, да так, что в некоторых местах прорвалась бумага. Впрочем, несколько слов всё-таки удалось разобрать: «Все замолчали и в наступившей тишине...»

Предстояла совершенно безнадежная попытка полностью восстановить текст (от чего стоило сразу же отказаться) или, по меньшей мере, попробовать вспомнить, где, когда и при каких обстоятельствах он мог появиться.

Сидение перед мерцающим экраном (в наушниках – густой и плотный саунд) – в предвкушении момента, когда скоростной лифт памяти сработает безотказно и, пройдя сквозь черноту заштрихованной шариковой ручкой страницы, явит белизну бумажного листа (прекрасную, как покрытая снегом горная вершина), – стало своего рода фатальной лингво-экскавацией, пробуждающей к жизни духов или демонов геометрической цивилизации, в самый центр которой когда-то, оторвавшись от взлетной полосы, улетел самолет.

Все замолчали и в наступившей тишине смотрели в огонь; пламя, взрываясь и трепеща на ветру, обгладывало корягу, превращая в серебристый прах тонкие ветки карагача.

– Сколько в этом силы, неистовства и злобы, – сказал кто-то, поднявшийся с земли, чтобы подойти к костру.

...так называемый «элемент» всё время меняется, поэтому поэт, написавший... сравнить... разве... в момент зарождения... переход от невидимого к видимому... индексальные знаки... зато просветленному... квадратная форма... но *огонь... над местом происшествия...* может служить знаком... и самим своим многообразием... на грубой поверхности стены... нестабильность... по его частям... произволом... непредсказуемое... в область софистики.

Скоростной лифт памяти не просто восстанавливал мельчайшие обстоятельства того события, того происшествия: оно неминуемо становилось демоном *наступления прошлого на всё остальное время* – слова страниц синей тетради, записанные однажды, звучали в ушах суперскоростными барабанами (по 200 ударов в минуту и больше), пока самолет тащился по взлетной полосе. Теперь ритм работы двигателей изменился, это больше походило на темп ударника группы «Божий одувачик», умудрявшегося вколачивать аж до 300 ударов в минуту.

Теперь оставалось лишь снять наушники и отложить их в сторону.

Предположим, что после разгона на взлетной полосе и до того мгновения, когда колеса воздушного судна оторвутся от земли, пассажир находится в некоем особом месте, пространственно-временной точке, лежащей по ту сторону того, что еще не случилось, и того, что уже произошло. Можно даже отважиться сказать, что он находится по ту сторону письма, но это самое нахождение себя хоть по ту, хоть по эту всё-таки предполагает некоторый материализованный статус – обладание хоть каким-то, пусть даже воображаемым, телом, носителем этого письма, пусть им будет белый лист бумаги, мерцающий экран компьютера, а то и снежное поле.

Само местечко это (в котором должно найти себя воображаемое тело) обладает всеми признаками

дурной репутации, от высокого и литературного: за пределами, на проселочной дороге, по краям, место вместо места, отсутствие, не-существование и т. д. – до низкого и разговорного: дыра, яма, прорва, скрывающая свою разъятость и готовность к поглощению под эвфемизмом, скажем, научного археологического термина «ложное погребение» (незамысловатый способ защиты от крипто-грабителей).

Однако еще ниже обычно находится погребение «настоящее» – глубокий разлом в самом описании этого разлома, возникший в асфальте взлетной полосы (в момент отрыва самолета), подобный волхам и волкам детской травмы, пресловутому двадцать пятому кадру, которых, как самого Всевышнего, никто никогда не видел...

И если, уже находясь в этом самом самолете (узнать номер рейса и пункт назначения), попробовать мысленно выбраться из него наружу, выброситься в виде недокуренной сигареты через загерметизированное окно, то можно и вовсе оказаться *вовне* в качестве крайне ненадежного свидетеля.

И тогда для пишущего не остается ничего другого, как добиваться, чтобы этот рассказ о событии на взлетной полосе оказался сродни банальной практике сбора свидетельских показаний, когда каждый из опрашиваемых лиц дает свою версию происшествия.

Подобно *разбившемуся зеркалу (служанки)*, каждый осколок которого был своего рода маленьким посланием, оставаясь в то же время частью единой поверхности, когда-то существовавшего целостного описания; но даже мысленно находясь *вовне*, невозможно слишком долго находиться в полной неподвижности: так можно не только потерять точку опоры, но и остатки последнего здравого смысла.

Тем более, что огонь, наконец, догорел; еще немного – и последние вспышки пламени замрут под слоем сиреневатого пепла, дым костра, причудливо клубясь,

выстроится в могучий ствол неведомого древа, крона которого теряется в высоте, а корни питаются подземным жаром. Через некоторое время дым этот станет светлее, превратится в дымок и, достигнув полной прозрачности, растворится в воздухе.

И в самом деле, чтобы этот смысл окончательно не утратить, стоит вернуться к синей тетради, к первой записи в ней, сделанной простым карандашом.

Глава вторая Двадцать пятый кадр

(верх страницы поврежден)

Осторожный стук в окно сонного дома, царапанье ногтем по стеклу – едва уловимый звук, нарушивший тишину.

В ожидании этого момента – стремительный бег по пустынным улицам маленького городка, прыжки через каменные ступени – с разгона – на переброшенную через канавку доску – пружинит – фонтан брызг затхлой воды – ногой калитку палисадника – последний звук внешнего мира, его граница, *Ворота*. Кирпичная дорожка, ведущая к дому. Беззвучное падение в густую и вязкую тишину, отсутствие слов, которые вращались теперь в голове суперскоростными барабанами (200 ударов в минуту и больше).

Не переводя дыхания – медленно к окну – оно за углом дома на первом этаже – его, этого окна, (каждый раз) внезапное возникновение – его *из-за угла* неотвратимо, как преднамеренное убийство, – секунда – и этого окна не будет – белая штукатурка стены сомкнется, словно ледяное поле над полыньей воды.

Нарушить эту тишину – протянуть руку – постучать. Ногтем легонько по стеклу. Опрометью – назад – бегом – за угол – по кирпичной дорожке. Гро-

ханье калитки – хлюпанье доски, перекинутой через канаву, – возвращение в мир звуков маленького провинциального городка: гудки машин, многоголосый говор, возгласы играющих детей, звук ссыпаемого для постройки дома камня, – слова повествования, подобно этому окну, возникают и исчезают.

Приняв за точку отсчета тишину, внезапно наступившую в салоне воздушного судна, оказавшегося на взлетной полосе *перед вознесением самым*, и определив, как двадцать пятый кадр, некое слово, многократно возникавшее на страницах синей тетради, перед ее сожжением, можно сделать попытку дальнейшего продвижения в этом направлении.

Тогда, естественным образом, возникает вопрос: кто же кого за собой тащит – хвост кота консервную банку или консервная банка хвост кота, и, в конце концов, кто же поднимает и роняет самолеты и устраивает ауто-да-фе вещей, состоящих из слов?

Словом, кто же рассказывает все эти истории?

Может быть, их рассказывает сам себе агент К., лежащий, как драный носок под кроватью, в захлавленной этими словами квартире, или их рассказывает его собственный грегуар⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Сноска (первая и единственная)

Единственная сноска, которую стоило сделать в этом тексте (не следует забывать, он всё-таки претендует на идеального читателя, потому что направлен, как уже говорилось, на дальнейшее сокрытие истины), – это объяснение, почему собственное имя героя метаморфозы пишется не Грегор, а грегуар, да еще с маленькой буквы. Объяснение этому довольно простое: рассказ «Превращение» был впервые прочитан автором этой книги (но не рассказчиком истории) во французском переводе, где имя Грегор звучало как Грегуар, а с маленькой буквы – потому что в контексте косвенной характеристики персонажа это обозначение второго я, или «внутреннего человека» первого, которая может не только не совпадать, но иногда представлять собой полную противоположность этому первому, – и еще по чисто фонетической близости слову «гримуар», что означает «сборник заклинаний». Далее весь текст идет без объяснений и перевода иностранных терминов и слов.

А ведь, как ни стыдно в этом признаться, у каждого есть свой личный грегуар, редактор сновидений (одновременно и кошачий хвост, и привязанная к нему банка): по большому счету, он может быть кем угодно (его собственный грегуар при этом ничуть не пострадает).

Процесс распада неминуем, и ни одному телу, в том числе и телу каждого грегуара (и редактора) его не избежать. И вот первые признаки такового распада этих сумерек тела – налицо.

Еще совсем рано.

Хотя можно ли так самонадеянно и безапелляционно утверждать о времени, затаившемся в недрах синей тетради, идеальной черной дыре, поглощающей всю космическую материю, пожирающей собственные края и в соответствии с законом самодовлеющей системы стремящейся к самоистреблению. Что за время находится в провале этой пропасти, негативный периметр которой скандально увеличивался; кромки исписанных простым карандашом страниц истаивают незаметно и тихо.

Но, тем не менее, было еще совсем рано.

Мальчик стоял у самой воды, смотрел вокруг, неосознанно стараясь удержаться в неповторимом и единственном мгновении первого света, узнавания, возвращения.

Он возвращался, этот свет, последние сгустки тьмы рассеивались, превращались в синие тени, уносились наверх, возвращая миру ясность и величие нового дня. Внезапно сноп расплавленного золота вырвался из водной глади, с него стекали алые потоки, падали в темноту и неподвижность, заставляя мрак почувствовать боль света, содрогнуться мукой и торжеством нового рождения. Этому дню было дано имя, вместившее в себя тысячу имен и поэтому означенное лишь тишиной и молчанием. День восстанавливал

в своих правах окружающий мир: он обретал свои очертания. На пустынном берегу не было ни души, разве что птицы, словно камни, выпущенные из пращи, стремительно набирали лишь им одним доступную высоту, превращались в диакритические знаки, потом в точки и незаметно исчезали совсем. Мальчик обернулся, внезапно его темные глаза посветлели и стали совсем как старинный янтарь.

Если из тишины и покоя солнечного утра вернуться в уже (заполненное словами) место около спящего домика провинциального городка, то утверждение о том, что прикосновение ногтя к стеклу было единственным звуком, эту тишину нарушившим, было бы полуправдой.

Иначе для чего стоило зависать на взлетной полосе, захлебнувшись в словопотоке (но так и не утолив жажды)? И не пора ли редактору, которому присвоено имя «агента К.», вылезти из-под собственных грязных носков и прочего подкроватного словесного мусора и заняться делом: войти в тело мальчика с глазами, похожими на расплавленный янтарь, и проявиться в этом теле, преодолев временные Ворота, найти себя всё в том же сне.

И вот уже, став взрослым, он сидит около костра, и глаза его слезятся от едкого дыма.

И какое значение имеют для развития дальнейших событий его сны, в которые он впадает, поджигая хворост, а выпадает, когда из потухшего костра *теперь* уже можно таскать только угли (хотя желательно это делать чужими руками)?

Пока что становится ясно, что руки эти (а точнее, одна из них) принадлежали (тогда еще) малоизвестному историку, исследователю некоей цифровой цивилизации. И сейчас эта рука, вооруженная каламом, мысленно дописывала последние слова рукописи с правосторонним, идущим навстречу солнечному диску, движением письма.

В тот решительный (для начала повествования) момент первый луч солнца проникает в жилище скриба, истертый калам выпадает из его пальцев – происходит временная остановка письма, предшествующая появлению новых записей.

Кого зовут Искандер

Если вернуться к нашим углям, а точнее, к описанию движения солнечного диска, взмывшего однажды из водной глади и осветившего вполне современную комнату, где: на письменном столе – тетрадь темно-синего цвета и экран с клавиатурой; рядом – парик, или срезанная коса темно-каштанового цвета; чуть дальше – обычные наушники, вроде бы сами по себе – и ничего, но в таком соседстве похожие на странное и подозрительное орудие преступления; на полу – солдатские ботинки от разных пар, хотя и одного размера; на стене – косо припиленная кнопками выцветшая фотография какого-то барельефа; от пола до потолка – стеллажи, заставленные книгами и словарями, – стало быть, если всё-таки вернуться к *нашим углям...*

Кем бы ни был обитатель этого жилища, вряд ли он когда-нибудь видел калам (разве что в этнографическом музее), а о диакритических знаках он и понятия не имел, во всяком случае, о том, под каким углом следует держать калам для их правильной расстановки.

Однако, в самом деле, кем бы он ни был, он стал частью *здесь и сейчас создаваемого текста* – самого по себе события, а потому – сообщения и средства, в котором есть упоминание об углях, – стало быть, подразумевается – *огонь*, воплощение ясности и недвусмысленности; реальное время существования этого написанного текста, скажем, его историческое настоящее – *брошенная недокуренная сигарета* – экспрессивное значение жеста (или

отказа от жеста), и его нельзя эксплицировать отсылкой знака – *куда-нибудь подальше*, – однако это еще не факт!

Фатальным умозаключением типа «всё есть символ» пока не пахнет.

Сам вид *редактора* перед мерцающим экраном с открытыми (а лучше бы сидел себе с закрытыми) глазами – *пример экспрессивного знака* – не слово или имя, а жест и его эмоциональное выражение – *вместо самого пишущего* – напоминает жертву искусственно вызванного психоза (что, тем не менее, можно описать), однако, было бы ошибкой *интерпретировать*. Трактовать же это явление в терминах экспрессивной теории было бы столь же необдуманно, как считать, что при внезапной остановке поезда все путешествующие *обязательно* валятся с верхней полки. Хотя, конечно, иногда накатывает безумное желание сделать это – и очень важно такому желанию не поддаваться – и не просто не поддаваться, а поскорее выбраться из накатывающего безумия, иначе все слова и вещи, улучив подходящий момент, набросятся на пишущего, как бешеные собаки-обрядницы, которые в башнях смерти отделяют плоть от костей, – *но ведь это только на бумаге (которая терпит всё)*.

Малоизвестный восточный историк, встав однажды с левой ноги (но с ощущением чего-то неясного, святого и эротического), потом рассказывал, что Искандер Двурогий (он же – Александр Македонский), будучи в военном походе, однажды, не имея на то особых причин, вдруг впал в мечтательное состояние, которое он впоследствии называл то ли «поток слов», то ли «поток жизни», и увидел собственное отражение в жидкости неизвестного происхождения. Можно считать, что и Искандер, и его зеркальный двойник совершили ритуальное омовение в какой-то субстанции, высокопарно названной нашим историком «поток жизни».

Несколько страниц, вышедших из принтера в результате сбоя программы

Выпили мы тогда с тобой что-то совсем непонятное. Из моего принтера в полной тишине, время от времени нарушаемой бульканьем и хрюканьем этой адской машины, в недрах которой шла совершенно недоступная моему пониманию жизнь, лез какой-то бесформенный бумажный ком. С трудом прочитав несколько помятых листов, я поняла, что ты пытаешься совместить собственное воображение с недостаточными проверенными научными данными.

По крайней мере, в этот момент для меня было больше истины в *глотке горячего зеленого чая* (которым тогда нас и угостили), чем в твоём тексте о мраморном рельефе, где какое-то Верховное божество венчает столбом из света (я бы, конечно, написала: бросает в световой колодец) самого Гелиоса. То слово, которое было придумано для обозначения всей этой научной *телеги*, годилось, скорее, для безумных лингвистических чаепитий и прочих пустых времяпрепровождений подобного типа или литературного шутовства вроде хазарской дискурсии, или какого-нибудь еще подобного развлечения, после которого с трудом приходишь в себя, например, как я сейчас – с ногами на кровати, а головой на полу (а можно и наоборот); и всё это вместе взятое наводит меня на мысль, что не стоит эту писанину датировать тем годом, тем странным годом, когда я, как одержимая, рвалась к поспешному знанию (а воображение – к власти), выпадая из реальной жизни, а она, эта жизнь, протекала сквозь меня, как песок сквозь пальцы, когда я в тишине одной из самых больших библиотек мира заполняла собственную пустоту и синюю тетрадь лишь мне одной понятными знаками...

Надолго ли, в самом деле, мое собственное воображение у власти удержалось –долго ли мне хватило порыва, веры в то, что я делаю что-то нужное

и благое; мне и в голову-то никогда бы не пришло, что написанное на этих страницах однажды может напрочь лишиться всякого первоначального смысла и стать всего лишь складом случайных слов, побуждающих начать новое, увлекательное и опасное приключение.

Так в поисках новых смыслов Верховное божество восходило на колесницу Гелиоса для поездки по небу. На прикрепленной к стене фотографии оно было изображено так: в правой руке воловья лопатка над головой склоненного перед ним Гелиоса, левая – на пусковом устройстве стингера серии «Отчаянный призыв». Корона лежит на земле.

Да кто бы такое воображение к власти на выстрел подпустил? Сколько же лет нам тогда было? Сами мы были молоды, как нарождающийся месяц, а дела наши были древни, как династия Плантагенетов.

Слова моих записей в синей тетради истаявали и теряли всякий смысл, в наушниках ревела хард-коровая группа «Не приходя в сознание», корона лежала между нами (почему-то между нами всегда что-то лежало, сидело или стояло), что, очевидно, представляло божественный образ посвящения в степень воина, при котором мист получал и стингер, и корону...

В моем родном языке, в том языке, который мне достался в наследство от какого-то таинственного предка, демона, болтающего всякий любовный вздор, обращаясь к заснеженному пейзажу (если ад и на самом деле существует, то он должен выглядеть именно так), в моем родном языке нет пространства для галантного словесного турнира, где как в партии фехтования возможны тончайшие оттенки приближения и отдаления и вдруг дерзкого прерывания речи и столь же отчаянного ее возобновления.

В моем родном языке всё слишком близко, всё слишком жжет. Но зато есть возможность получить всё сразу. В нем нет (по крайней мере, мне об этом ничего не известно) каскада исторических прошедших времен, которые, как не знающие промаха стрелы, одновременно – и цель, и средство, что бьют без промаха, но есть *нечто другое*.

В самом деле, могу же я, сидя в этой комнате с выцветшей фотографией на стене, извлечь из синей тетради отборнейшего качества сновидения агента К., спускаясь на скоростном лифте в глубины этого заснеженного языкового пейзажа, выжать из предпринятого путешествия (оставив позади все стадии и остановки такого transporting'a, как то: истлевшие от длительной носки драные носки и солдатские ботинки от разных пар, но одного размера, останки слетевшихся на свет керосиновой лампы насекомых – одно из них так и осталось под кроватью с контаминированным яблоком в позвоночнике, – отрезанную косу и т. д.) всего несколько разрозненных воспоминаний: солнечный корабль, воздушное судно (не забыть узнать номер рейса), образ прощания и встречи, мое историческое настоящее, след путешествия слов моей речи по небу, по страницам синей тетради, моей собственной речи, которую я наделяю торжественным леном и освящаю знаком божественной власти.

И, тем, не менее, как видишь, здесь не уничтожена ни одна буква.

Кстати, уходящее солнце назначило себе преемника, и если ты помнишь, существует даже рассказ о том, что кто-то по оплошности пьет (подозреваю, что это опять эвфемизм всё того же *глотка горячего зеленого чая*) из источника жизни и становится таким же бессмертным, как Верховное божество. (Его тут же сажают на самолет и отправляют в путешествие по небу.)

Как видишь, дорогой Искандер, для нашей рискованной игры, ее изящного и просчитанного рисунка,

мне в моем родном языке не хватило всего-навсего одной мелочи, пустяка... Скажем, пространства для маневра, для отступления и нового возвращения, где можно было бы сделать полшага назад. В моем родном языке негде затаиться, переждать, зализать рану, обдумать следующий ход – всё так близко. Действовать надо стремительно и тотчас же, решительно и бесповоротно, хотя, впрочем, единственный ход всё-таки оставался: покончить с этой властью раз и навсегда, не пытаться вырваться из ее хватки, но собственной волей представить себе этого демона, владыку заснеженного пейзажа в виде Холма из податливой глины, сложенного из безвольных и инертных, неодушевленных слов, потока единиц и нулей в глубинах бессознательного мерцающего экрана моей жизни. Или, может быть, в виде летательного снаряда, космического корабля, несущегося в глубину универсума слов, своеобразных частиц неодушевленной материи, несущих на себе следы всех других частиц. Или, напротив, представить себе этого деспота в виде био-кибернетического устройства, живого и мертвого одновременно, как культовая фигура шумерского эпоса, чем-то вроде компьютерной программы, созданной из знаков внутри знаков, ставшей одновременно и текстом, и его толкователем, глиняным цилиндром с начертанными на нем письменами и их оттиском.

Но всё это можно лишь вообразить.

В моем родном языке осталась только смутная память о каком-то ином наречии, возникающая как особого рода беспокойство при соприкосновении с прорвавшимся сквозь немоту возгласом, несущим на себе отпечатки и следы прикосновений всех машин власти и боли, криком свободы и блаженства – собственной речью, наделенной всем сразу – силой, нежностью, точностью, надежностью, – моего единственного настоящего...

Саморазоблачение речи, контаминированной вирусом «Альбертина»

Возвращаясь к событиям того стремительно ворвавшегося в историю года, когда взбесившийся символ, уничтоживший реальность, бушевал в оцепеневшем пространстве одной, отдельно взятой страны и, наконец, ворвался в ее настоящее в виде огненного вознесения главного субъекта ее собственной истории – пражского студента, покончившего жизнь самосожжением, – и заново пытаюсь пережить их (а мы в тот момент были слишком заняты собой, чтобы думать о других), вижу, что мы просто не заметили, как наша собственная история проседала и будущее уже входило в нашу жизнь в виде танковой колонны с погашенными огнями и без опознавательных знаков.

Присвоенная позволительность *говорить не говоря* (а не следует забывать, что речь идет о разрушенном вирусом или чем-то еще тексте) дает право на некоторую свободу, – никто не несет ответственность за то, что он говорит во сне, – в той единственной реальности, где можно быть всем, чем угодно: *глотком горячего зеленого чая*, солдатским ботинком, стингером *ищущего истину* Искандера, ревом хард-коровой группы «Отчаянный призыв», *тишиной* двадцать пятого кадра, отрезанной косой. Так, снова и снова возвращаясь к событиям того года, остается признаться, что их и тогда было невозможно пережить, – их язык нам не принадлежал: мы из него выпали навсегда, он был для нас непонятен и темен.

Пол затрясся мелкой дрожью, казалось, эта вибрация передавалась и моим мыслям, они налезали друг на друга, сливались, создавали плотины и запруды, провалы и зияния внутри самих себя, может быть, в дальнейшем они воплотятся в линии и точки, непрерывные и прерывистые, очертания слов – следы

прикосновения к поверхности великой пустоты самой жизни, ставшие очередным набором трюизмов, изнурительных, как само колесо жизни.

- Не курить!
- Пристегнуть ремни!

Открываю глаза и вижу

Открываю глаза и вижу развалины древнего храма, когда-то великолепного здания с обращенным к востоку алтарем. Солнце вот-вот покажется из-за си-ней горы, прямо напротив меня. Вдалеке на фоне сохранившейся стены каких-то древних сооружений вдруг возникает детская фигурка, это мальчик, какой-нибудь нынешний потомок древних обитателей этих мест; он остановился, я его вижу со спины: он смотрит в том же направлении, что и я.

Кругом такая тишина. Еще очень рано; стрелки моих часов показывают семь, но для реального времени здесь иные приметы: высота солнца, цвет неба, который начинается с желтизны над моей головой и, пройдя всю гамму цветовых превращений, становится лазурью дальних горизонтов; это собственное время, заключенное в четкий рисунок стен из необожженного кирпича, – ритмы кирпичной кладки соответствуют каким-то уже не существующим деталям древнего святилища, но их легко можно воссоздать в памяти, но столь же просто можно заставить эти ритмы времени исчезнуть, рассеяться без следа; оно, время это, – в порывах раскаленного ветра, усиливающегося к полудню.

Он несет в себе частички лёссовой пыли, отчего ближние горы кажутся окутанными серебристо-серой вуалью. Полдневный час, словно небесный огонь, падает внезапно: под его воздействием существа из плоти и крови чувствуют, что они растворяются в мареве призрачных форм, недостоверностей и неопределенностей, а беспричинность этих непре-

рывных метаморфоз и есть работа этого времени, скользящего, как игла по нити.

Под ногами – желтые звезды местных растений, жесткий геометризм их сероватых от пыли листьев поражает совершенством форм, что сплошь и рядом повторяется в орнаментах, украшающих святилища, усыпальницы и прочие сооружения; это совершенно неотмирный, не существующий в природе сине-фиолетовый цвет каких-то растений с колючими листьями – он напоминает о звездном небе здешнего астрального средневековья, а соцветия белых и малиновых цветов с гляцевитыми закругленными листьями напоминают рисунки на знаменитых миниатюрах, на которых часто изображается любимое здесь дерево, называемое «чинар».

С самой высокой точки древнего городища виден мутный поток, зелень городских садов и отроги дальних гор, у подножья которых рыбьей чешуей блестит река, Текущая Золотом.

Лёссовые горы в этом месте отступают от реки, образуя широкую долину. Самым ранним утром они кажутся темно-фиолетовыми громадами; постепенно над самой высокой из них небо начинает медленно светлеть, и они становятся золотисто-розовыми. За несколько минут солнце переваливает через горный кряж, окрасив в золотистый цвет цепь гор на противоположной стороне долины. Воздух мало-помалу становится всё прозрачнее, и от этого горы словно приближаются, а когда дневной свет полностью вступает в свои права, становится различима даже редкая растительность, покрывающая верхнюю часть горных склонов. В полдень они – светло-желтого цвета; таков основной колорит этих мест: песок, дорога, глинобитные домики, лёссовые поля, – всё здесь желтое. Особенно красив вид со стороны базара, там, где вымощенная камнями древняя дорога поднимается на виадук; за ним, уже почти на линии горизонта, видны поля табачных плантаций, где река, распадаясь на множество рукавов, течет среди отмелей из серой

гальки. А серебристый рыбий цвет этих обкатанных водой камешков создает иллюзию огромных водных пространств. Не удивительно, что в местной мифологии так много духов воды.

За селением есть небольшое кладбище, на краю его – строение из местного необожженного кирпича с куполом, возведенное в честь одного из жителей здешних мест, прославившегося строительством ирригационных сооружений и проведением каналов. Собственно, кладбищ здесь два, это и еще одно, которое находится на противоположном конце этого селения, растянувшегося вдоль реки, Текущей Золотом, а здесь распадающейся на пять рукавов. Следующая святыня находится рядом с проселочной дорогой – это такое же глинобитное строение. Там впервые довелось увидеть прибитые к столбу два огромных рога архара, что означало, как выяснилось, власть и силу, – поэтому завоевателя Востока Александра Великого здесь называли Искандером Двурогим.

Странными кажутся эти святыни: огромное поле холмиков, поросших колючкой и какой-то еще жесткой травой, среди нее время от времени попадаются удивительные растения синего цвета, у которых даже листья и стебли – тоже синие. Видя этот запредельный для растительного мира цвет, останавливаешься...

Каким убогим, бедным и скучным показался мне город, куда я вернулась из тишины этого мира, чтобы через несколько дней отправиться оттуда в страну Багряной Реки.

Шум и копоть его улиц после чистого воздуха прекрасной долины, полувосточные костюмы людей, выглядевшие столь нелепо по сравнению с традиционной одеждой жителей маленького местечка – женщин, мужчин, детей, стариков, – которым, казалось, присуще природное чувство стиля; они носят свою одежду с подлинной грацией и изяществом детей природы. Предпочтение отдается ярким цве-

там: красному, оранжевому, желтому всех оттенков; в окружающем их ландшафте именно этих красок не хватает, и, одеваясь так, они эту природную нехватку восполняют.

Матроны носят длинные туникообразные платья, на волосах – большие платки-покрывала с яркими цветами; иногда этими большими кусками ткани они даже закрывают часть лица. Одни надевают эти платки как накидку, другие – совсем как в древности – полностью закрывая лицо. Их дочери – смуглолицые девочки с подкрашенными черным соком какого-то местного растения бровями, которым придана форма ласточкиных крыльев. Глаза их черны, а ресницы густы и длинны. Девушки моют волосы специальным настоем кислого молока – оттого они приобретают блеск и черноту антрацита, потом их тщательно расчесывают и заплетают в многочисленные косички, с помощью черного шнура, оканчивающегося серебряными украшениями, с бисером, разноцветными бусами или черно-белыми оберегами от дурного глаза. Почтенные старцы носят полотняные рубахи античного покроя с квадратным вырезом на шее, украшенные вышивкой в виде упрощенного варианта меандра; брюки заправлены в сапоги из светлой кожи кустарной выделки; поверх одежды – стеганные халаты, их не снимают даже в жару. На голове тюрбан из легкой шелковой ткани местного производства, у тех же, кто однажды совершил путешествие к святым местам, тюрбан светло-зеленый или белый.

Эти старцы сидят целый день в чайхане местного базара, куда в воскресный день съезжаются жители окрестных селений, чтобы что-нибудь продать или купить, или выпить *глоток горячего зеленого чая* со своими знакомыми, а то просто поговорить о том о сём.

У самого входа на базар расположились со своим товаром местные горшечники. Они продают посуду, сделанную из местной глины; форма этой кухонной утвари, техника ее производства и росписи восходят к глубокой древности. Рядом мальчик – он принес

сдвоенные глиняные кормушки для каменных куропа-ток. Клетка с этими столь здесь любимыми птицами – неотъемлемая принадлежность местных жилищ. Их шьют из яркого разноцветного лоскута и кружев, затем, как китайские фонарики, натягивают на проволочный каркас наподобие абажура. Далее продается одежда, сшитая на допотопных швейных машинках и украшенная вышивками местных мастериц: платья, шальвары, традиционные головные уборы, мотки специально вышитой тесьмы, предназначенной для украшения одежды – отделки ворота, рукавов платья или низа шальвар.

Чуть дальше – овощной базар: груды дынь, арбузов, персиков, винограда, гранатов, огурцов, помидоров. В углу около водопровода продают пирожки с картофелем.

Таким пирожком меня угостил мальчик, когда я в битком набитом автобусе возвращалась в город, где ждал меня Искандер.

Так, идя по замусоренным улицам города, среди флигелей и пакгаузов – навязчивых следов колониальных имперских поселений, я искала ту самую площадь.

Я даже не отдавала себе отчет в том, сколь близка была к тому, чтобы осуществилась моя главная бредовая идея, несущая в себе образ совершенства, как всякая бредовая идея, воплощение безумного желания *чего-то вообще*, как некая идея неразрывности содержания и формы, прекрасная, как землетрясение. Но так как выбраться из этого замусоренного города было невозможно, то образ создания в нем, в этом самом заброшенном месте на свете, идеального собственного текста, на самом деле является всего лишь *метафорой искусственности* всех создаваемых на письме чувств и событий, и единственным заслуживающим внимания в этом предприятии остается лишь собственное переживание, возникающее в процессе письма, описываемое и вызываемое этим

состояние, похожее на искусственный психоз, когда аффекты выражаются словами. Совершенно непонятно, что же, в сущности, происходит в этом выходе за пределы, где самые безумные желания сливаются *с отсутствием каких бы то ни было желаний вообще*. И как при этом умудриться остаться в пределах общепринятого и прочитываемого – идет ли речь об эмоциях, воспоминаниях, событиях; и тем не менее, моя бредовая идея заключалась в том, чтобы найти какой-то способ одним движением, неким великолепным приемом разрушить текст (а заодно и авторский непоколебимый авторитет).

Мне хотелось взорвать этот Холм из слов, глиняного Голема, этого демона, заложить в его нутро что-то, тогда еще для меня непонятное, тетраграмму, четыре-три-два-один-ноль-ПУСК – вот вам и вся грамматология – тайное знание заветных слов, не нашедших тетрадного листка, как задница стула, слов, спящих как пес на плаще Пророка (которого он, в конце концов, отсек, отрезав вместе с ним кусок ткани) – так еще раз родилась метафора – грамматологический язык ума логически обгонял, переполненный чувствами, как заброшенный колодец песком, язык сердца – выбалтывающий всё подряд о нашем одиночестве, о строках в письме, где рассказывается о ноге Будды (не самого, конечно, а статуи), – со статуей ведь можно сделать всё, что угодно... С точки зрения грамматологии, характер этих воображаемых действий напрочь лишен всех известных признаков артикуляции (но что с того?) – четыре-три-два-один-ноль-ПУСК-вспышка.

Хотя, хотя, хотя...

Отчет агента К. Некоторые предположения

Обрыв этого вязкого, как сине-зеленые водоросли, текста (который в каком-то смысле мог послужить саморазоблачением), особенно его последние слова,

произошел вполне закономерно: его линии повествования всё время чего-то не хватало – ей явно не хватало глубины, не глубины смысла, а глубины текстового пространства, подобного пространству захлавленной комнаты. Эта оборвавшаяся и повисшая между двумя разными периодами наглая фраза: «где ждал меня Искандер», торчала из него, как полусгнившее яблоко из позвоночника моего незадачливого двойника. Прозвучавшая (пусть даже и в завуалированной форме) безответственная мысль о преимуществе традиции над чем-нибудь вообще или тем, что традицией вовсе не является, возникшая на проселочной дороге, по пути к мавзолею неизвестного святого, лишена всякого смысла и глубины, и в силу этого с трудом поддается анализу. От этого остается ощущение бессознательного стремления к западанию в провалы, особого свойства текстовые дыры, в которых слова сгорают, превращаясь в нечто, себе совершенно противоположное, – в некий идеальный безавторский вариант, не стремящийся стать ни языком, ни текстом, ни сообщением, ни посланием, но чем-то вроде существующего в особом пространстве мистического тела, содержащего в себе (в свернутом виде) всю немыслимую историю этого предприятия, которая, на самом деле, сводилась к желанию просто вовремя остановиться и полной невозможности это сделать. Ей казалось (или она считала, что ей казалось), она должна была остановиться здесь...

Сделав глубокий вздох, она касается пальцами клавиатуры. Написанное ею просто и безыскусно и совсем не похоже на мистическое тело большой литературы; временами написанный текст становится окончательно бесхозным, теряет направление, потом каким-то непостижимым образом он снова берет след и тут же этот след теряет. Попытка описать этот процесс с максимальной точностью почти обречена: разве можно увидеть, как подземная река пробивает себе путь в толще геологических наслоений, а слова

пробивают тоннель в тверди языка? Да и что можно сказать об этом неясном бормотании, докатившемся до банального описания восточного базара и ландшафтных преимуществ гористой местности перед заснеженной равниной, что при определенном угле зрения превращается уже в чистую абстракцию и погрязает в застойной заводи сине-зеленых водорослей *сопливо-зеленого моря*. Так написанный рассказ лишается даже намек на первоначальный замысел. По сравнению с этими скоростными спусками (с вышедшим из строя индикатором глубины), вирус «Альбертина» просто детская игрушка. Пример тому – краткий отрывок текста из синей тетради: «...это звездное мясо, гнилое мясо слов, потоп солнца и трус луны; деградировали до инструкции этикетки на банке кошачьего корма, прилипшей к хвосту бродячего кота, – и вот возникла еще одна метафора».

Бесхитростный рассказ о тишине заброшенного сельского кладбища, равно как и описание шума и сутолоки восточного базара, скорее всего, родились в самолете (узнать номер рейса), стоящего на взлетной полосе, в тот самый момент, когда рев двигателей внезапно затихает и наступает та самая тишина, которая предшествует мгновенному разгону по последней прямой и отрыву воздушного судна от земли.

Однажды в одной из самых больших библиотек мира

Однажды в одной из самых больших библиотек мира, где добропорядочные граждане, по преимуществу девушки и женщины, сидели, уткнувшись в свои книги, вдруг раздался истошный крик:

– Тише, гады! Не шуршите книгами!

Читающая публика разом оторвалась от своих занятий и обернулась к источнику беспокойства. Некто, прокричавший эти слова, этот прямо-таки *отчаянный призыв*, упал под стол и лежал там, не подавая признаков жизни. Ошеломленные читательницы

книг долго не могли решиться подойти к бездыханному телу. В конечном итоге всё кончилось хорошо и, как всегда, в милиции, а девушки вернулись к своим книгам...

По окончании работы читального зала в гардеробе и на улице посетительницы библиотеки оживленно обсуждали это событие, смысл которого оставался им неясен; при этом девушки как-то особенно двусмысленно хихикали.

Думается, что экстравагантный поступок какого-то студента являлся своего рода речевым жестом и представлял собой вполне считываемый лингвистический феномен – стремление превратить собственное тело в некое мистическое тело собственного текста (что и произошло на деле). Духи власти, вызванные этим поступком, не преминули оставить на его (студента) теле свои письма, меты, следы, что и было произведено тумками и подзатыльниками краснорожего милиционера, с которым вышеозначенное тело попыталось вступить в полемику. Застывшее на полу тело, иератичность его позы, сама его неподвижность, можно даже сказать, его частичное выпадение из реальности, его лингвистический «закат», могло означать только одно – стремление к небытию как образу совершенства.

Пребывающие в типичном для такого места состоянии мечтательности и грез девушки всё оставшееся время лениво посматривали по сторонам, затем ненадолго утыкались в свои книги, позевывая от духоты и скуки жизни, и опять взоры их лениво скользили по запыленным книжным стеллажам.

Она же, не сдвинувшись с первой страницы предисловия к «Зачарованной вершине», казалась совсем отрешенной; в этом доме сновидений, как в кинематографе, проплыли: пирожок с картошкой (очевидно, она уже сильно проголодалась), едва заметный шрам на подбородке Искандера, надпись на табло в салоне воздушного судна, запрещающая курить во время взлета (покурить тоже, наверное, уже хотелось). Она

вспомнила о тишине, наступившей вдруг на взлетной полосе. Мерцающий экран с компьютерной игрой, где надо было сажать и ронять самолеты, в которую она так и не научилась играть. Крик в читальном зале. Опять *тишина*.

Двадцать пятый кадр.

Глава третья Сумерки Запада и рассвет Востока

По-настоящему докопаться до причины этих сумерек сложно. А возможно, и не нужно.

Так или иначе, однажды искали люди в пустыне не то нефть, не то воду. А может быть, что-нибудь еще, истину, например.

Трудящиеся – смуглолицые – жили в вагончиках. Начальники – белолицые – в коттеджах.

Сначала всё шло хорошо. Все они по утрам умывались, приводили себя в порядок и шли работать. По вечерам слушали радио и пили Орэндж Джус. Единственная проблема заключалась в том, как убить уик-энд.

Однажды все они сели в автобус и поехали в небольшой соседний городок. Там их машина едва не перевернулась. Водитель внезапно и резко затормозил: какая-то тетка перевозила через дорогу тележку с тюками. Неожиданно тележка перевернулась и все тюки распались. Тетка успела шарахнуться в сторону, едва не угодив под колеса автобуса. Обругав ее, водитель поехал дальше. Горячий ветер поднял в воздух обрывки газет, журналов и страницы каких-то книг. Они летали по небу, как привидения.

Посреди дороги валялась книга, на переплете которой можно было даже прочесть название: «Зачарованная вершина».

Если по-настоящему вдуматься, каким образом автор этого известного романа описывает смерть одного из действующих лиц (а вдаваться в подробности предыдущих событий и некоторых моментов его жизни, приведших к такой развязке, явно не входило в задачу романиста), то бросается в глаза недостаточно хорошее владение автором «Вершины» (а возможно, и читателем) техникой следственного эксперимента.

Но тем не менее можно всё-таки, хотя и с большим трудом, попытаться восстановить достаточно правдоподобную картину этой смерти.

Следующий отчет агента К.

Определенно вырисовывалась картина заранее спланированного самоубийства с помощью огнестрельного оружия. Попадание пули произошло в область черепа, она раздробила височную кость и частично затронула головной мозг. Повреждение организма, причиненное выстрелом, было несовместимым с жизнью. Пострадавший был левшой, что подтверждается тем обстоятельством, что выстрел был сделан в левый висок. Тело его было найдено на следующий день в комнате. Голова покойного находилась в изголовье его кровати, нижняя половина тела касалась пола. Левая рука вытянута вдоль тела. Совсем рядом с левой рукой находился разряженный пистолет (узнать калибр) с двумя гильзами и брызгами крови на дуле ствола. Лежащий рядом предмет, книга «Зачарованная вершина», был прострелен. По-видимому, покойный сделал пробный выстрел в книгу. Тут же лежал магазин с остальными пулями. Левая рука была тоже в крови. В момент выстрела покойный, скорее всего, находился в сидячем положении, о чем свидетельствует широкий след крови на постели. Возможные причины суицида: глубокая депрессия в связи с неизлечимой болезнью или отсутствием денег.

Если самая главная проблема для ищущих в пустыне то ли воду, то ли нефть, а может быть, просто *что-нибудь вообще*, – заключалась в том, как убить уик-энд, то столь незначительное, на первый взгляд, дорожное происшествие в маленьком городке для одной части пустынножителей – бледнолицых начальников – привело к весьма странным последствиям: они перестали умываться, бриться, на работу опаздывали, а то и вообще не выходили (даже радио перестали слушать), а вместо Орэндж Джюс хлестали виски.

Смуглолицые же трудящиеся, напротив, приведя себя с самого раннего утра в полный порядок, весь рабочий день самоотверженно искали нефть, воду, а возможно, и истину, а после работы пили только *горячий зеленый чай*. Их самым любимым развлечением во время уик-энда стало коллективное чтение «Зачарованной вершины»: вечерами один из них читал вслух при свете керосиновой лампы «летучая мышь», а остальные слушали. Начальники же в этом деле никогда не участвовали, а продолжали упорно хлестать виски, иногда до самого рассвета.

Переверачивая страницы романа справа налево – против часовой стрелки, – пустынножители вовлекались в некое круговое движение, где события, происходившие в романе, оказывались, с одной стороны, на значительном расстоянии от этого места в пустыне, можно даже сказать, на противоположном конце света, если допустить, что он грядет в форме взорвавшегося шара. С другой же, на страницах романа творились дела, конечно, не совпадающие во времени с этим переверачиванием страниц (там ведь тоже речь шла о некой танковой колонне с погашенными огнями и без опознавательных знаков, которая в нулевом периоде текста готовилась к вступлению на сопредельную территорию), но едва ли по своей значимости уступающие самим этим безумным чаепитиям в пустыне, а возможно, даже превосходящие их.

Ровный голос чтеца повествовал о том, как один философ рассказывал другому философу об одном

своем коллеге, который однажды познакомился с девушкой, отличавшейся неземной красотой и всеми талантами, которыми природа могла только одарить человеческое существо, но эта девушка родилась в бедной и измученной войнами и прочими неурядицами жизни стране. Однако, получив за свою красоту и таланты немного денег, она смогла оттуда вырваться и, путешествуя по миру, однажды повстречала коллегу этих двух философов, уже немолодого человека, который тут же в нее без памяти влюбился, и она, как будто, ответила ему взаимностью. Он был готов для нее на всё. Она же ему говорила, что «всего» не надо, а надо всего-то ничего, безделицу, пустяк – чтобы он на ней женился, – иначе девушке рано или поздно пришлось бы возвратиться в свою нищую и истерзанную войной страну.

Но как раз именно этого он и не мог сделать, так как был уже женат.

Вскоре между ними начались неурядицы, девушка его совсем бросила и нашла себе кого-то еще, кто сходу на ней женился (он был значительно моложе философа и не был еще женат). Покинутый своей возлюбленной философ от отчаяния сначала застрелился, а потом выбросился из окна самого большого здания в мире.

И всё бы было ничего, если бы этот разговор не происходил между двумя героями «Зачарованной вершины», которые, встретившись однажды на международной философской конференции и вскоре от всего происходящего на ней сильно заскучав, решили слегка развлечься, для чего им вздумалось взобраться на самое большое здание в мире по пожарной лестнице, и один из них, поднимаясь, рассказал эту историю.

Выслушав всё это, коллега дико разозлился, можно даже сказать, рассвирепел, да так, что чуть не свалился с пожарной лестницы; он весь покраснел, стал кричать, что стыдно распространять такие сплетни про всеми уважаемого человека, который на самом

деле сначала выбросился в окно, а потом застрелился, о чем было сообщено во всех газетах.

Теперь остается сделать некоторые выводы: один из героев читаемого (трудящимися пустыни) романа был уже давно мертв. Два повздоровших из-за него философа отчаялись и прекратили философствовать, разогнав всех своих учеников.

В пустыне, между тем, начался рассвет, а на другом конце света начался конец философии, который также имел форму шара, взорвавшегося изнутри.

Обнаруживший себя при таких обстоятельствах закат философии, однако, вовсе не решил главной проблемы: как убить в пустыне уик-энд.

А ведь назавтра у нас было назначено свидание (обрыв страницы)

Наилучший способ убийства любого времени состоит в открытии в себе способности впадать в некое особое состояние, которое можно было бы назвать преднамеренным ротодейством. Возвращаясь к теме дыр, лакун, промоин и провалов в той искусственной и хрупкой реальности, ставшей основной областью моего тогдашнего существования, о которой я пыталась что-то рассказать и куда время от времени заваливалась часть повествования, вспоминаю, что все эти метаморфозы происходили и с моим собственным физическим телом. Время от времени я просто вмерзала в тротуар того пыльного и душного города, где было назначено свидание с Искандером, тело мое теряло подвижность, лицо становилось маской, а в глазах моих отражалась лишь идущая прямо по проезжей части одной из главных улиц города толпа.

Я издали увидела его: Искандер и еще многие стояли на тротуаре и смотрели на людей, идущих по проезжей части улицы. Мы подошли к нему одновременно – я и какой-то пожилой человек, заговоривший с ним на его языке. Искандер протянул мне руку:

– Пойдем туда, это похороны, умер наш учитель.

Все вместе мы прошли еще немного, подошли к большому нелепому зданию с колоннами, поднялись по лестнице и вошли в довольно просторное помещение. Оттуда доносились звуки музыки – примитивный мотив, всего несколько тактов, как заклинание, – грустный, как и лица женщин, сидевших с распущенными волосами вдоль стен. Я так и не смогла заставить себя посмотреть на то, что стояло в центре зала; время от времени туда подходили разные люди и что-то говорили, очевидно, слова прощания, некоторые приносили цветы, и тогда музыканты переставали играть. Постояв немного, мы вышли на заполненную народом улицу, распрощались, и я, как всегда, отправилась бродить по городу. Время от времени реальность в виде мотоциклиста, на огромной скорости и со страшным грохотом пролетавшего прямо у меня под носом, вырывала меня из транса преднамеренного ротозейства; уик-энд подходил к концу, всё шло своим чередом, я изнывала от жары, перемещаясь, как в полусне, зевая по сторонам и время от времени то натываясь на какой-нибудь всемирно известный памятник архитектуры, то как сомнамбула двигаясь в пекле улицы, на которой зиждилась эта достопримечательность, начинала блуждать наугад в незнакомом городе, теряясь в лабиринтах улочек и переулков в его более древней части, пока, наконец, не оказалась опять на главной улице, по которой похоронная процессия теперь текла мне навстречу.

Впереди шагали мужчины, одетые в европейского покроя костюмы, за ними медленно ехал устанный коврами автомобиль, на котором стоял почти невидимый под массой цветов гроб, дальше – люди, люди – огромная толпа – они были везде – на тротуаре, на проезжей части улицы, в открытых настежь окнах домов. Траурный кортеж направлялся на старинное городское кладбище.

Сейчас, дожигая этот сложившийся столь неблагоприятно для моего свидания с Искандером уик-энд и

пытаясь найти подходящие слова для описания этого дня, я начинала понимать, что придумать сказку о смерти в этом древнем восточном городе для галльского любомудра было гораздо проще, чем мне описать то, что здесь происходило в реальности или в одной из моих тогдашних реальностей (какой из них?).

Парадокс заключался в том, что, попадая в скоростной лифт коллективной памяти, я сразу же теряла контакт со своей собственной памятью: реальные события, свидетельницей (и участницей) которых я была, отражаются в моем описании совсем в другой последовательности. Я запутывалась в этом разорванном палимпсесте, реальные события становятся вымыслом: так, если вернуться опять к этому несчастному дню, я и не собиралась смотреть на то, что стояло посреди зала, я сознательно отказалась от собственного языка.

Я упивалась звуками другого, как мне казалось тогда, божественного языка, который возникал вокруг меня отовсюду и ниоткуда, его долгие гласные незаметно переходили в почти недоступные нашему грубому слуху обертона: это люди, когда музыканты перестали играть и больше не звучали прощальные речи, клали на пол цветы. Мне не надо было смотреть на то, что стояло посредине зала, достаточно было закрыть глаза и вспомнить лицо Искандера и сухой жар его ладони.

Пока я торчала на тротуаре и решала, идти или не идти вместе с толпой на кладбище, ко мне цепилась какая-то явно не местного происхождения женщина с фотоаппаратом. Она меня спросила, что тут происходит, и пока я соображала, что ей ответить, она сама всё поняла. В восторге от собственной догадливости она заверещала и, расталкивая людей, собравшихся на похороны учителя, присутствие которых ей явно мешало делать свое дело, стала быстро, быстро всё фотографировать. След смерти в восточном городе остался в ее камере, меня же стезя жизни привела к площади у выхода из

старинного квартала, где я стояла, размышляя всё на ту же тему: как убить уик-энд.

Тем более что до нашего предполагавшегося отъезда в страну Багряной Реки оставалось всего несколько часов.

А кроме того, надо же мне было как-то придумать еще главу о том, как, где и когда я встретила Искандера и как меня свела с ним судьба. Ведь в тексте это могло произойти где угодно: например, в Черной Чайхане, куда однажды могли забрести смуглолицые трудящиеся читатели «Зачарованной вершины», когда роман они уже прочли до конца; сами эти трудящиеся вполне могли куда-нибудь подвезти Искандера на своем старом автобусе, – ведь все они в пустыне искали почти одно и то же: они – воду или нефть, а он – истину.

Но ведь я и сама могла волей судьбы оказаться в Черной Чайхане или в старом автобусе, а то и тут и там одновременно. А разве в литературе любой персонаж не может оказаться где угодно и даже *чем угодно*: на проселочной дороге (возле старинного кладбища), в центре огненного вихря, созданного *ищущим истину*, кому однажды придется отправиться защищать эту свою истину со всей страстью цивилизованного фанатизма, и при одной мысли о *чем-то таком вообще* стингер серии «Отчаянный призыв» начнет в его руках дрожать мелкой дрожью, словно почуявший добычу гончий пес. В какой-то другой жизни *ищущий истину* мог держать в руке вовсе не стингер (хотя, на самом деле, его держат на плече), а, скажем, калам, двусторонний и заточенный специальным ромбовидным сечением, чтобы диакритические знаки было удобно ставить в текстах со шрифтами различной величины; ведь *ищущий истину* Искандер был, прежде всего, существом цивилизованным и недаром приобщался к тайнам человеческого познания в одном из крупнейших университетов мира, и тогда, в те времена, в другой жизни, истина представлялась ему осколком старинной ритуальной чаши, найденной

недалеко от некоего древнего города. В синей тетради, исписанной простым карандашом размашистым почерком с падающими буквами, могло произойти всё, что угодно. А сейчас, в крайнем случае, можно нажать клавишу Delete (или кнопку ПУСК) – да мало ли что можно сделать сейчас...

Тогда же я стояла на маленькой площади на тротуаре и, глядя на траурную процессию, решала, пойти или не пойти вместе со всеми на кладбище.

И вдруг снова увидела идущего в этой толпе Искандера.

Дворец свиданий и сновидений

В самом деле, когда она впервые услышала о Багряной Реке? Ведь всё когда-то происходит впервые, в чем заключается постоянство всего изначального.

Как-то раз в небольшой восточный город с поэтическим названием «Обитель Звезд», смысл которого, тем не менее, остался навсегда темен, так как об этом месте редким путешественникам рассказывали специально придуманные истории о некой девушке, замученной за неповиновение своему мужу и господину и умершей сладкой смертью (по непроверенным слухам, это происходило так: жертве патриархального произвола клали в рот кусок местного виноградного сахара и поливали ее кипятком). Достоверность этих слухов невозможно было проверить: за давностью лет и сама жертва, и ее мучители, очевидцы, а также бытописатели и комментаторы равно отошли в область небытия.

Название «Обитель Звезд» относилась также к банальной постройке в духе поздней восточной эклектики, снаружи являвшей собой ряд довольно аляповатых сооружений. Правда, внутри эти строения были богато украшены, очевидно, по той простой причине, что труд безымянных декораторов в те далекие времена ничего не стоил и работали эти мастера,

в прямом смысле слова, от рождения и до гробовой доски. Вполне возможно, что поэтическое название, несущее в себе тьму смыслов и околичностей, к этой постройке никакого отношения не имело (явление достаточно обычное); скорее всего, раньше так назывался какой-нибудь древний дворец или храм, связанный с планетарными культами.

Однажды в Обитель Звезд пришли люди, странные люди, на них были красные одежды античного покроя. Как оказалось, это были жители с берегов Багряной Реки. Естественно, она сразу же сделала стойку. В памяти всплыли какие-то разговоры о загадочном народе, ранее населявшем эту местность, о древних, засыпанных песком городах, о багряной земле и такого же цвета реке.

В каком-то смысле можно сказать, что с этого момента началось *наступление прошлого на всё остальное время* и дискурсия соотнеслась с объектом интереса (который сам был лишен артикуляции, хотя и определен научно): **так кем же, в конце концов, были наши предки?**

Теперь можно с уверенностью сказать об избытке значений и экспрессивных знаках: *убей сначала Будду, а потом себя* – говорить-то об этом, конечно, можно, но как эти слова и вызываемые ими к жизни вещи могут выглядеть в свете истины – *сначала себя, а потом Будду*. Обе эти зеркальные идеи, происхождение которых столь хорошо известно, не очень-то предназначены для общественного распространения (когда, в каком-то смысле, душа создателя этих идей расстается с собственным телом – формой их распространения). И ужас этого расставания заставляет подчас, забыв и себя и Будду, отдаться потоку собственных слов, бросив весла и сев лицом к корме (тем самым бесповоротно поправ Закон, Порядок и Свет, необходимые для развития любой дискурсии, увы, всегда символической по своему происхождению), и, отказавшись от самой идеи достоверности

коллективной или индивидуальной памяти, оказаться в единственной реальности – уплотнившейся в начертаниях букв, которые кто-то увидит *однажды*. Этих знаков, начертанных рукой ненадежного свидетеля, и – самое увлекательное во всем этом воображаемом путешествии по универсуму всех когда бы то ни было написанных слов – представить себе лицо того, кто сейчас читает эти слова, увидеть, как всё это происходит в реальности, проследить за каждым оттенком его (или ее) лица и увидеть в нем, как взрывается и зависает в пустоте этот Холм из слов, рушатся все его сооружения, дворцы и сады, гибнут трепещущие сажены, все эти навязчивые, как измышления по поводу двадцать пятого кадра, конкурирующие теории о том, **кем же, в конце концов, читай: в начале начал, были наши предки и кто придумал наш язык**. Если бы всё это возможно было описать при помощи простых и ясных слов и за пределами всех семантических двусмысленностей найти *первотекст*, придумать его, наконец, в вечной мерзлоте раскаленного бесстрастия, а всё остальное отправить в бумагоуничтожительную машину... Хотя, хотя, хотя... Современная философия языка сочтет необходимым инкорпорировать первотекст в общую теорию значений. И не важно, пишется ли это истертым каламом, разгоном простого карандаша в синей тетради или ритм движений пальцев по клавиатуре совпадает с тактами высокоскоростных барабанов хард-коровой группы в наушниках: всё делается с ощущением важности происходящего. Впрочем, всегда есть запасной выход – саму проблематику этой дискурсии зашвырнуть в тетогу, контаминированную вирусом «Альбертина», как сомнительную фигуру речи, – и тогда станут возникать темные слова, следы прикосновения руки, держащей карандаш, нежной, как лепесток, – к бумаге (японской, самой дорогой, ручной работы), а в наушниках зазвучит песнь космического страха (и трепета) вселенской пустоты, грохот универсального пульса Глиняного демона, и всё это соединится

в *глотке горячего зеленого чая* – так экспрессивное значение паразитирует на референтной функции значения – в пространственно-временной точке – времени, затраченном на написание этих слов и выделение их жирным шрифтом и курсивом.

В Обители Звезд, в одном из помещений которой жили студенты-археологи, однажды среди ночи случился переполох.

Накануне вечером молодежь, воспользовавшись отсутствием муаллима, своего начальника, наставника и учителя, развлекалась, как могла. Кто-то от нечего делать пытался спустить с окна веревку с крюком и выловить с окна первого этажа белые босоножки, которые почему-то стояли на подоконнике.

Ночью раздался шум подъезжающей экспедиционной машины и голос самого муаллима:

– Несите ко мне еще одну раскладушку.

Это означало, что он вернулся не один.

Утром за завтраком выяснилось, что вместе с ним приехал какой-то парень. Муаллим сказал, что его зовут Искандер.

Его лицо тогда показалось ей совсем ничем не примечательным, разве что у него был очень темный цвет кожи; наверное, так ложится на смуглую от природы кожу солнечный загар, – подумала она. Более того, ее скорее поразило выражение какого-то замешательства или даже неуверенности на его лице, когда он неохотно вставлял несколько ничего не значащих слов в общий разговор за завтраком, словно возвращаясь с трудом или отрываясь от каких-то своих мыслей, несмотря на то, что муаллим, со свойственным всем живущим на Востоке образованным людям тактом, предвосхищал любой поворот застольного разговора и направлял его в безопасное русло. Такую же неопределенность выражения она прочла в его лице, когда ее попросили показать Искандеру зарисовки фрагментов керамики, а он, бросив беглый взгляд на рисунки в синей

тетради, торопливо произнес на своем языке слово «хорошо». Всё объяснилось просто.

Он плохо говорил на ее родном языке или стеснялся своего акцента.

В полдень, во время обеда, они сидели друг против друга, и она видела, что он совершенно растерялся от ее внешнего вида. Не имея никакого представления об изысках костюмно-интеллектуальной моды в нашем быстро меняющемся мире – а это было время хиппи и прочего субкультурно-прикидного скоморошества, – крестьянский сын с берегов реки, Текущей Золотом, не мог понять, отчего столичная девушка сидела сейчас перед ним в грязноватом восточном платье, да не в грязноватом, а прямо-таки грязном (в каком не ходят даже местные цыгане), с руками, по локоть измазанными не отмывающейся местной жесткой водой краской для протирок рельефов, и совершенно черными от той же краски длинными ногтями. Больше всего его, очевидно, шокировала низка местных черно-белых стеклянных бусин-оберегов на ее шее.

Однако было заметно, что всё это доставляло ей нескрываемое удовольствие; она с несколько юрдовой улыбкой взирала на него, заставляя его заливаться краской, заметной даже при его темной коже, смущаться и даже сесть на собственные солнцезащитные очки, которые, к счастью, не пострадали.

Скоморошеский наряд, как ей казалось, давал ей право нагло при всех пялиться на Искандера. Она смотрела на него, что называется, во все глаза. Заметив этот балаган или по какой иной причине – молодежь всё время хихикала, – муаллим, наконец, всех выгнал на раскоп работать. Словом, во время этого дурацкого обеда в Обители Звезд Искандер ей показался совершенно заурядной личностью, не оставившей о себе никаких особых воспоминаний. Да она его толком и не запомнила. Разве что у него на подбородке был маленький шрам. Тогда она подумала, что от оспы, как у многих жителей этих мест.

Она закрывает глаза. В комнате душный полумрак, отчего сновидения наваливаются сразу же, их скорость – как полет на собственных волосах над пустыней – *она говорила во сне, как говорят не говоря, ни за что не отвечая*, – она говорила, говорила о том, как они, всё-таки, пошли вместе в погребальной процессии, а потом попали еще куда-то, в какое-то место, где было много народу. Они сидели, болтали, она несла всякую чушь о том, как ей не хочется возвращаться в столицу, как хорошо было бы здесь остаться навсегда, на всю жизнь, чему-нибудь научиться и даже ходить на работу, – она распоясывалась всё больше, в какой-то момент и сама начала верить всей этой чуши, а может быть, заставила поверить в это и Искандера. Но внезапно он стал прощаться, сказав, что ему надо идти заниматься каким-то иностранным языком. «*Моим языком*, наверное», – с досадой подумала она.

Всё время приходили и уходили люди, обсуждали последние новости; и вдруг она, словно речь шла не о ней самой, а о ком-то другом, заметила, что все разговоры с маниакальным упорством она сводила на землю Багряной Реки и на Глиняный Холм, таинственное место, где якобы некоторые из присутствующих уже успели побывать. Всё это начинало походить на какой-то угар, в который втягивалось всё больше и больше народа; постепенно разговор с обсуждения похорон учителя переходил на Глиняный Холм и приобретал характер – ну, как бы это сказать получше – более профессиональный, в чем она почувствовала скрытую угрозу своим намерениям, но решила не останавливаться и не сбавлять темп. (С точки зрения классического построения литературного произведения, в этом месте должна быть завязка, но в данном случае речь идет, скорее, о развивающейся конструкции со смещенным центром – стало быть, в этом месте текст должен подвиснуть. И ради большей убедительности и важности этого момента для всего повествования рассказ следовало максимально растянуть.)

Ведь если бы в этой самой комнате ей не удалось заронить в сознание Искандера мысль о том, что она *должна* любой ценой увидеть землю Багряной Реки и Глиняный Холм, то всё в этой истории могло пойти совершенно другим путем. (Но, тем не менее, при попытке описать этот ключевой момент необходимо проявить не меньше изобретательности и воли, чем для того, чтобы его создать в действительности собственного воображения.) В том столь бурно ворвавшемся в историю году чего-чего, а этого воображения было в избытке, оно просто било через край; всё вокруг ходило ходуном, к тому же, это был год повышенной солнечной активности.

Скоро все стали говорить вместе, не слушая друг друга; одни утверждали, что Глиняный Холм – гиблое место, другие, что там находится *нечто*, с чем до сих пор молодая наука о старых как мир делах еще не сталкивалась, – словом, шум и гам стоял такой, будто на рабочем месте началась дикая пьянка, чего не могло быть, так как там работали одни молодые восточные девушки и странные юноши из хороших семейств. Только такие люди и могли заниматься столь неблагодарным, скучным и требующим большой добросовестности делом, как обработка полевых зарисовок, описание и каталогизация археологических материалов и прочей научной рутинной. Начальствовал над ними, естественно, мужчина, сам рьяный адепт этой молодой науки, к тому же сын известного ученого. Он-то и положил конец спору, который угрожал вырваться за рамки принятого в этих краях этикета: никому не давать советов и не обсуждать отсутствующих лиц, по крайней мере, не делать этого прилюдно.

Этот молодой человек, обычно молчаливый и вежливый, вдруг воспользовался моментом затишья и сказал:

– Ну что же, если уж ты решила, то, конечно, ты туда поедешь. Художники нужны везде.

Этого историка, который занимался восточной садово-парковой архитектурой, молодежь, работавшая под его началом, за глаза называла Королем Роз.

Ее это вполне устраивало. Для развития сюжета требовался некий персонаж, который мог легко менять обличия; главное, чтобы в этом случае лицо и маска хотя бы частично совпадали.

Вдруг дверь комнаты как-то театрально распахнулась. На пороге стоял Искандер. Сказал, что его занятия иностранным языком закончились. Интересно, каким же это языком? *Ее языком*, наверное.

Король Роз ему моментально изложил суть дела.

Искандер и глазом не моргнул. Втроем они вышли и сели в выдавший виды армейский автомобиль с брезентовым верхом.

Можно сказать, что ее путешествие в страну Багряной Реки началось.

Глава четвертая

Искандер за рулем. Время от времени смотрит в ретровизор (зеркало заднего обзора)

И вот мы с ней едем. Тут я ее наконец-то рассмотрел. Кроме обычного для ее лица выражения какой-то неуверенности, сейчас появилось другое, которое я раньше не замечал. Это была какая-то усталость, расслабленность, от этого ее лицо как-то странно изменилось, стало почти детским. Изменился и тембр ее голоса, вернее, его интонации. Наконец, она решилась со мной заговорить. Не так, когда обращаются к кому-то или, наоборот, ни к кому, а то, что высказывается, предназначено совсем для других ушей. А сейчас ее слова предназначались только мне или, по крайней мере, тому, кого она считала мною.

Вчера вечером мы уговорились о месте и времени отъезда, но нам не удалось выбраться из города, так

как в очередной раз что-то случилось с машиной. Я не хотел рисковать, не проверив всё как следует, – ведь впереди было несколько сотен километров пути, тяжелый перевал, горные дороги. Пришлось отложить поездку на следующий день. Но на следующий день мы потерялись: не дождавшись машины в условленном месте и в условленный срок, она села на троллейбус, ходивший по центральной улице, и, как ей казалось, поехала мне навстречу. Я же прождал ее час в условленном месте, хотя, действительно, и сам опоздал; ее подруга, которую я случайно встретил, пыталась мне что-то объяснить, я делал вид, что слушаю, а сам сходил с ума от злости, а когда она всё-таки появилась и вышла из троллейбуса, я даже сначала попытался улыбнуться, но потом обрушился на нее из-за того, что она исчезла, испарилась неизвестно куда, так и не дождавшись машины.

Я видел, что она расстроилась из-за этого идиотского приключения, задержавшего наш отъезд минимум на два часа и заставившего нас обоих поволноваться. Но, так или иначе, сейчас она уже сидела в машине, где, кроме нас, находилось еще двое.

Отчет агента К. Раскаленное бесстрашие

С феноменологической точки зрения единица глоток горячего зеленого чая является базовой, а объяснение дезигнативной функции смыслов артикуляционным значением, как и все попытки такого рода, крайне сомнительно. Экспрессивное значение составляет сущность словесного творчества, которое отражает и раскрывает то, как рождаются значения в чувственном опыте, лишенном формообразующей активности. Известный тезис о первичности перцепции эквивалентен первичности экспрессивного и вторичности дезигнативного значения, пример: на заключительной стадии своего окончательного решения относительно поездки в страну Багряной Реки

она сидела на полу возле своей раскладушки, положив на нее голову, но ей снилось, что ноги ее были на этой раскладушке, а голова на полу. Проснувшись, она испытала величайшее разочарование, – однако столь незначительное текстовое отступление дает парадигму для исследования начального процесса – на экране торжественно, как погребальное шествие, возникает трехмерный Глиняный Холм – нечто, ею написанное, след прикосновения руки к драгоценной бумаге, – здесь я останавливаюсь на главном тезисе феноменологической теории значения, чтобы применить все вышеописанные достижения к спору о вербальном конвенционализме, – сидя на полу возле своей раскладушки, она поняла, что попытка снова вернуться к истокам сродни попытке путешествия в землю Багряной Реки в инвалидной коляске: разве можно искать какой-то смысл в том, чему большинство из нас предается просто от безделья, лишь бы убить очередной уик-энд.

Следует откровенно признаться, что события, происходившие на исходе уик-энда в одном из подсобных помещений Обитатели Звезд (а именно оттуда расшалившиеся студенты-историки пытались, ради смеха, вытащить привязанным к веревке крючком ее босоножки, почему-то оказавшиеся на подоконнике), так и остались втуне: никто так и не узнал, куда они поехали с Искандером в тот день, когда они вышли с Королем Роз и сели в машину.

Полный недомолвок рассказ ищущего истину

Мы выехали из города по новому шоссе, построенному военными. Оно было совершенно пустынно, и ехали мы почти одни. Скоро остались позади пригороды, воздух стал чище, и дорога начала подниматься в горы. Около двух часов длился подъем на перевал, до его самой высокой точки, где была табличка с надписью «2000 м». Наша старенькая машина, с трудом

одолев крутой подъем, теперь стремительно летела вниз по серпантину в долину. Становилось теплее, это был южный склон перевала. Еще несколько минут, и мы миновали еще один перевал.

Короткое чаепитие в придорожной чайной, и снова в путь. Надо было спешить, чтобы до темноты найти другую экспедицию, которая работала на мезолитической стоянке, где-то в соседнем районе. Там мы должны были оставить одного человека – геодезиста. Наша машина с ревом неслась вперед. По сторонам мелькали хлопковые поля, глинобитные домики, арыки, стройные силуэты пирамидальных тополей, фигуры одиноких прохожих.

Проехали вторую долину. Небольшие рощицы и хлопковые поля сменились пыльной полустепью. В мглистом воздухе пропало солнце; небо и земля стали одного цвета – уныло-белесого. Навстречу летели какие-то строения, около которых не видно было ни души; как призраки возникали гигантские холмы. Пейзаж поражал удивительным безлюдьем, отсутствием вечного копошения живых существ. Лишь изредка то справа, то слева возникали юрты пастухов-кочевников; со своими стадами они из века в век передвигались по только им известным тропам. Около юрт их домочадцы – женщины в высоких головных уборах, поверх которых накинут пестрый платок, чаще всего ярко-красного цвета с большими белыми цветами, длинные и широкие платья цвета пурпура; изобилие пестрых украшений из разноцветных бусин делало их немного похожими на восточных цыган. Казалось, сам воздух принимал красноватый оттенок.

Мотор надсадно ревел, горячий ветер с песком проникал в машину, забивал ноздри, резал глаза. Вскоре остановились на краю небольшого городка. В расщелине возле высохшего потока приютилось несколько домиков, сложенных из булыжника и обмазанных красной глиной. Красная глина, алые платья пугливых девочек, женщины, прикрывающие при разговоре со мной лица большими красными платками. Я спросил

у них дорогу, назвав то место в горах, где работала экспедиция, намереваясь там разжиться бензином.

Затем снова стремительный спуск, падение вниз по серпантину. Навстречу ветер и песок. Короткая остановка в какой-то чайной, где нам с трудом удается выпить *глоток горячего зеленого чая*. Думаю, это всё из-за нее. Увидев в машине девушку в европейском платье одну среди мужчин, хозяин чайной подумал, что готовится что-то нехорошее, и не захотел с нами иметь дела.

Начинало темнеть, заходящее солнце освещало багровые горы. Мы уже ехали по земле Багряной Реки.

О «заходах» и «походах» в Черную Чайхану

...Выяснилось, что в соседнем помещении начался пожар, тогда агента К., почти бездыханного, закатали в ковер и выбросили на улицу, чтобы он не сгорел... (далее – обрыв)

Кругом бегали и орали, а я сидела в своей подсобке и думала – черт бы их всех побрал! – и собиралась с духом, чтобы из этой подсобки всё-таки успеть выйти или, в крайнем случае, выскочить в окно. Приходилось думать еще о том, что настало время сделать последний и решительный шаг: в эту немыслимую историю с Искандером следовало войти быстро и решительно, хотя войти в нее на моих условиях было так же невозможно, как нельзя войти дважды в одну и ту же воду. Во время нашего с ним последнего «захода» сюда он поразился, что у меня не то что печь, а *сесть-то было не на что*. А набившийся в конце уик-энда в эту комнату народ в основном стоял на ногах, хотя некоторые уже лежали. Ну и кто же такое сказал, что *to write* обязательно нужно лежать или сидеть? В конце концов, это личное дело каждого: хочу – стою, хочу – сижу или лежу.

Большинство исследователей настаивает на том, что любая попытка открыть мир в его первозданности

неминуемо приведет к обнаружению в предполагаемом первичном пласте значений, привнесенных туда нашим нынешним образом мысли – *хотя сейчас было бы удобнее сесть за письменный стол*, – требование до-теоретического описания опыта ставит перед нами вполне выполнимую задачу описания мира до всякого описания – так, если девочка величиной с веник метет этим веником пол, на котором стоят мои ноги и лежит голова или стоит голова и лежат ноги, а возможно, всё сразу – и лежат и стоят – и ноги и голова, – вкладываемые нами в слова и вещи значения заимствованы и развиваются из до-предикативного феномена, сосредоточенного в *глотке горячего зеленого чая*, в котором вещи изначально нам явлены, и наша задача – не участвовать в построении мира или объяснять его, а *описать его* – любое, что взбредет на ум: военную истерию, танцпол, охоту за черепами, – все те явления, в которых никогда нельзя быть уверенным до конца. Феноменологическая археология – открытие под покровом установленных символических кодов всё того же человеческого опыта: *концерт рок-группы «Дурной третий глаз», заброшенная ракетная шахта, ПУСК-кнопка стингера серии «Отчаянный призыв», пожар в студенческой общаге и газетная шумиха вокруг*, – художественное описание этих событий будет одной из установительных для процесса письма парадигматических форм.

Но и это еще не всё. Вытаскиваю какой-то листок из мусорной корзины – пишу: «Основоположная для художественного творчества оригинальность выражения – *делать что-нибудь всегда между делом* – означает отчасти отступить от установленных кодов, чтобы создать что-то новое. – Господи! Да мне едва хватает времени, чтобы между делом и не-делом вообще ничего не делать!»

До лагеря археологов оставалось всего несколько десятков километров, машина ехала в клубах пыли,

мелькали высохшие каналы, поросшие тамариском и камышом; иногда дальний свет выхватывает из темноты остатки каких-то сооружений, одинокие деревья у дороги, глиняную насыпь, по которой проходит дорога к палаточному городку.

– Странно, ребята сидят без света, – сказал Искандер.

Внеочередной отчет агента К.

В предыдущем периоде текста в промежутке между отъездом из шумного собрания, когда Искандер появился на пороге (и в этом было нечто театральное), в результате чего они уехали на старенькой машине с брезентовым верхом, и их утренними злоключениями, когда они никак не могли выехать из города, очевидно, происходили какие-то события, о которых доподлинно ничего не известно, но можно сделать несколько предположений, хотя, впрочем, они мало что могут прояснить. В течение довольно длительного времени они почти не говорят друг с другом, и это представляет своего рода проблему. Вскользь было сказано, что Искандер занимался каким-то иностранным языком, но когда в битком набитой подсобке, где все стояли и лежали на полу, но никто не сидел (так как сидеть было не на чем), на его вопрос «А как же ты пишешь?» (кстати, стола там тоже не было – только раскладушка, в сложенном виде стоявшая у стены, и что-то вроде тумбочки) она ответила: «А что, для того, чтобы to write, разве обязательно сидеть?» Можно сделать предположение, что имелось в виду вовсе не то, что процесс письма заключается в царапании карандашом по бумаге, а в более широком смысле, где выбор орудий производства целиком зависел от воображения автора. Так, в одном из периодов текста в синей тетради имеется совершенно точный ответ ее на этот вопрос «как пишешь?»:

«Когда предполагается новое значение, устанавливается новая форма – сейчас я беру в руки ножницы и режу заполненные словами страницы на ровные и тонкие полоски, не разрезая их до конца, – с точки зрения деизгнативной теории эта последовательная деформация будет просто другим способом достижения всё той же цели, – я укрепляю полоски-реснички на форточке – а ведь из-за этих самых полосок моя собственная жизнь прогорала и растекалась, как расплавленный воск, – именно на эту мысль и был направлен весь пафос предыдущего высказывания, – а в это время сама я, скорее всего, продолжала спать, сидя на полу около раскладушки, то есть общаться с тем миром, куда отсылают символы. Пока я сплю, бумажные реснички со словами отгоняют демонов. С силой хлопнула дверь – кто-то ушел, слова-обереги свалились – деформация существующих конвенций при успешном результате будет означать создание ситуации, где можно будет использовать уже имеющийся опыт».

В каком-то смысле этот отрывок объясняет многое. Они ни о чем не договорились, очевидно, из-за этого и произошло недоразумение при отъезде. Искандер ушел, хлопнув дверью, что само по себе для человека его культуры является необычным и вовсе не сильным жестом, и он этим, безусловно, что-то хотел сказать.

Во время стремительного спуска в долину Багряной Реки она время от времени ловила его взгляд, отраженный в зеркале заднего обзора, но кроме красноватых отблесков последних лучей, странным образом отражавшихся в двойном преломлении в зеркальном стекле, в его взгляде не было ровно ничего, что бы могло пролить свет на их последний вечер в городе. Он сосредоточенно следил за дорогой, время от времени взглядывая на приборную панель, разве что его лицо казалось чуть бледнее обычного.

Странно, что ребята сидят без света

– Странно, что ребята сидят без света, – сказал Искандер.

Впрочем, свет всё-таки был. Они вышли из машины и увидели, что несколько человек, сидя в кузове экспедиционного грузовика, куда был втащен наспех сколоченный стол и электрическая лампа-временка, играют в карты. Подошли, поздоровались. Первым, кого она разглядела, был мужчина средних лет, невысокого роста, с резкими чертами лица и выпуклыми, как на индийских фресках, изображающих воинов-дравидов, глазами. Он назвал свое имя. Имя его означало «Властелин Времени». Она подумала, если это так, то с ним дело иметь опасно. Рядом сидел загорелый, светловолосый и светлоглазый человек, который оказался архитектором и художником экспедиции; он почему-то отрекомендовался ни много ни мало как Бес.

– Бес чего? – спросила она.

Он засмеялся, но от объяснения уклонился, однако доверительно, вполголоса, пока другие обменивались последними новостями, дал объяснение по поводу имени Властелина Времени, сказав, что старые люди, умеющие читать по лицам, когда с ним здороваются, стараются дотронуться до фаланги большого пальца его правой руки. За ужином они оказались рядом, и она искоса посматривала на его правую руку, однако благовидного повода дотронуться до большого пальца руки Властелина пока не было.

Археологи рассказывали, как днем их палаточный городок был разрушен горячим ветром, дующим в этих местах со стороны сопредельного иностранного государства. Уцелело всего лишь несколько палаток. Поэтому переночевать можно только в небольшом селении в нескольких километрах от лагеря.

Искандер немного покопался в моторе и сел за руль. Пришлось снова выехать на дамбу и свернуть на пыльную дорогу.

Ночлежка представляла собой кошмарное сооружение, больше похожее на какой-то притон или Черную Чайхану. Это был старинный полуразрушенный караван-сарай. Его окружал глинобитный забор. Внутри двор с диваном, покрытым обрывками старого ковра, где днем была чайхана, а в отдаленной его части располагались бытовые колониальные удобства. Благообразный старичок, негласный хозяин этого заведения, учтиво поздоровался с ними и сказал, что чай здесь пить не стоит. Что могло это означать?

В прихожей стоял старенький телевизор, который то включался, то отключался сам по себе. Невозможно было понять, что за фильм и какой страны там шел. Что-то про дневники какого-то знаменитого революционера. Рассказывалась запутанная история о том, как негодяи-киношники сначала эти дневники похитили, а потом, выбросив из них всё революционное содержание, оставили только эпизоды разгульной частной жизни – как революционер шляется по барам с толпой своих дружков и подружек, пьет всякие запрещенные напитки, и все они употребляют сообща Acaulco gold, крепкую коричневую марихуану из Мексики, acid, ЛСД (диэтиламид лизергиновой кислоты), African blas, разновидность марихуаны из Африки, Toklas brownies, маленькие квадратики шоколадного печенья с запеченной в них марихуаной, изобретение Alice B.Toklas, подруги Гертруды Стайн, amps. (амфетамины), antifreeze, героин, ashel, коноплю, Aunf Mary, марихуану, bad grass, фенциклидин (не марихуану), bad seed, кактус пейотль, bale (of hay), большое количество марихуаны (килограмм марихуаны или гашиша), bammy и bammies, сигарету и много сигарет с марихуаной, banji, анашу, bank bandit pills и bank bandits, барбитураты в капсулах, особенно в черных и белых, basketballs, 250 мг капсулы «Placidie», Bee B, небольшое количество марихуаны, Benny и benni, таблетки или капсулы бензедрина, Bethesda gold, слабую разновидность марихуаны, bhang, коноплю из Индии, bhang ganja, конопляную смолу, big-C, кокаин,

Big chief, мескалин, big-O, опиум, blue acid, таблетки валиума, капсулы «Amital», Bo-bo, марихуану, гашиш, Во, марихуану из Колумбии и т. д.

Короче, сюжет фильма был довольно прост: адская машина должна была проехать через толпу людей во время карнавала, где сам революционер, уже загримированный и переодетый в костюм восточной танцовщицы, находился в самой гуще. Кокетливо придерживая рукой черную прозрачную накидку на голове и зазывающе сверкая глазами, он танцевал, соблазнительно покачивая бедрами, в такт движениям рук и ног. На нем был кусок ткани, легкий и прозрачный, как крылья бабочки, с узором из золотых кружков, которые меняли свой ритм и достигали плотности золотого шитья, образуя традиционную кайму. В тот момент, когда собравшийся на площади народ, почуяв недоброе, стал метаться, телевизор в очередной раз отключился.

Неоконченный рассказ Искандера

Она оставила свой рюкзак с вещами в комнате, куда я ее проводил, и мы вышли во двор: она хотела выкурить сигарету.

– Это и есть знаменитая Черная Чайхана? – спросила она.

– Наверное...

Снаружи наше временное пристанище освещалось странным светом, словно он пробивался сквозь толщу песчаной мглы. Вместе с горячим ветром мерцающие островки света двигались и усиливали общее ощущение нереальности этого места, которое должно было стать нашим ночлегом. Она присела на покрытый старым ковром диван и так сидела, держа в пальцах незажженную сигарету, прислушиваясь к звукам ночного ветра, вздохам и бормотанию обитателей гостиницы, доносящимся через открытые окна, что выходили, как во всех наших традиционных по-

стройках, во двор дома. Всё это напоминало ночной кошмар, где бредовые видения сливаются со столь же бредовой реальностью. Полусон, полуявь, где странным образом смешался скрип раскачиваемой сквозняком оконной рамы, свист горячего ветра, который не утихал ни на минуту, какое-то слово, произнесенное тихим голосом.

Лицо ее то освещалось неверным светом, то снова скрывалось в темноте.

В ту ночь перед отъездом из города, когда я отвез ее в это временное пристанище, которое она почему-то называла Обителью Звезд, я всё искал случая с ней поговорить, но никак не удавалось; там было полно народа, кто-то всё время врывается в ее подсобку, где и сесть-то было не на что; там было только что-то вроде тумбочки или этажерки, где стояли несколько книг, рисовальные принадлежности и прислоненная к стене сложенная раскладушка.

Пока мы ехали туда, она рассказывала о сплетении и разделении языков или голосов. По этому поводу в ее головке также существовала собственная теория разделения всех голосов на «свои» и «чужие», в чем, на первый взгляд, было мало оригинального. Своими были голоса родителей, друзей, и иногда, в редких случаях, такими казались голоса совершенно незнакомых людей, которых она видела впервые. Здесь имело значение всё: тембр голоса, особенности произношения звуков, манера расстановки ударений на словах, сама мелодика речи. Голос мог быть чарующим, как пение сирен, или, наоборот, отталкивающим, словно скрежетание лезвия по стеклу. Она сказала тогда, что этим «своим» голосом может быть даже полное молчание, она вспомнила старого сторожа Обители, о котором сказала:

– Он молчит целые дни, никому не делает зла, наоборот, он молится про себя за свои и чужие грехи.

Тогда я тоже вспомнил старика-сторожа, который, в самом деле, по вечерам выходил за ворота Обители, садился на нагретые за день солнцем камни и молчал.

И вправду, случается так, что мимолетное, но связанное с каким-то определенным словом и вещью ощущение остается незабываемым следом в памяти и обладает какой-то особой способностью быть единственным и достоверным подтверждением реальности этого момента. Иногда это ощущение обладает столь яркой убедительностью, что может опровергнуть факт наличия самого события. Сплетение и разделение этой незамысловатой теории делали совершенно бессмысленным вопрос о целесообразности или оправдании этого говорения во сне на чужом языке. Можно ли осуждать или оправдывать кого-то, кто безучастно смотрит на прекрасную долину и не замечает падающих осенью звезд или лунного блеска воды в канале? Да и все ли хотят увидеть нечто большее, чем то, о чем нам уже успели рассказать и так заставить нас видеть только придуманные людьми же образы этих вещей?

Я вздрагиваю от звуков своего имени, словно его кто-то произнес моим голосом, но с акцентом и на чужом языке:

– Искандер...

Начинается словно с разгона, затем глоток воздуха взрывается раскатом согласной, затем резкий обрыв тона и падение в пустоту.

Этот голос, прозвучавший странным диссонансом монотонному вою горячего вихря, словно создал из этого ночного хаоса звуков подобие человеческой речи, словно вывел меня из чудовищного напряжения, в котором я находился целый день с самого утра. И сейчас мне хотелось только одного – спать.

День, заполненный разнообразными впечатлениями

Если вспомнить некое лицо, совершившее комбинированное самоубийство в городе, откуда можно было выбраться с большим трудом, во время похорон которого она встретилась с Искандером, то следует обра-

тить внимание на ряд деталей, что понадобится для дальнейшего продолжения рассказа обо всей этой истории.

Можно, конечно, начать с похорон, потом перейти к обстоятельствам самоубийства, а потом вспомнить, что сначала неким лицом был произведен пробный выстрел в книгу «Зачарованная вершина», которая и была найдена при нем. Но в данном случае интерес представляет вовсе не это. То есть это тоже, конечно, интересно, тем более, что, начиная с момента, когда рассказывающий эти истории оказался на проселочной дороге возле заброшенного деревенского кладбища (ее условно можно принять за точку нулевого действия), события могут развиваться как в ту, так и в другую сторону. В «Зачарованной вершине» самые главные события как раз происходят на периферии текста, как бы усердно *ищущий истину* ни занимался ее родным языком, таких тонкостей ему еще очень долго не понять...

Aztec two-step вызывает сильнейшую головную боль, а возможно, и расстройство желудка, как при злоупотреблении аяхаяской; здесь это снадобье заменяет темно-зеленый порошок, который держат под языком, отчего язык деревенеет и обильно выделяется слюна. Говорят, что если прополоскать рот, такое ощущение пропадает, правда, все эти вещи совершенно необязательно ставить в один ряд, хотя чернушно-депрессивное послевкусие (но еще не сам отходняк) позволяет отчасти восстановить в памяти тот беспредметный разговор, когда они сидели на деревянном диване, покрытом остатками старого ковра, в неверном свете чудом уцелевшего фонаря.

А на периферии текста наступало новое утро, серое и бессолнечное, и надо было ехать в лагерь археологов. Она с трудом собрала вещи, рискуя половиной из них забыть здесь навсегда, и села в машину; за окнами замелькал пустынный пейзаж, унылые строения

колониального типа, и вот уже снова знакомая насыпь, которая ведет в лагерь археологов.

Целый день занимались приведением в порядок палаточного городка, разрушенного песчаной бурей, слабые отголоски которой ей довелось застать прошлой ночью. К ночи даже удалось приготовить плов, но к этому времени у нее от усталости совсем пропал аппетит, и ей пришлось через силу глотать чуть жестковатый рис, чтобы не обидеть хозяев.

Уже в сумерках пошли на раскоп, и она впервые увидела воочию этот Глиняный Холм – небольшую плоскую насыпь. Называлась она так оттого, что в основном состояла из битых черепков.

Работа с мнимыми или реальными подлинниками в наш век наводит на мысль, что сейчас можно управлять чем угодно, в том числе и авторским вдохновением. При виде столь разочаровавшего ее городища, где было абсолютно всё необходимое для жизни человека, даже древняя помойка, довольно трудно было себе представить, что всё это способствовало особому разгулу воображения (о чем в тот год повышенной солнечной активности только и говорили).

Стало быть, эта небольшая возвышенность, скорее всего искусственного происхождения, выступающая над гладкой, как столешница, пустыней с разрушенными стенами дворца, остатками неизвестных культовых сооружений, куда входил и некрополь, в стенах которого находились погребения, – все они были безмолвными свидетелями материальной культуры. Всё это было засыпано огромным количеством разнообразных черепков, «венчиков» – так здесь называли верхние части керамических изделий. В одной из палаток лагеря археологов были собраны находки: кремниевые наконечники, отщепы, нуклеусы, фрагменты изделий из бронзы, отшлифованные до зеркального блеска рога каких-то животных, разнообразные каменные пряслица – из белого и черного мрамора, из обожженной и необожженной глины, остатки дерева со следами об-

работки какими-то режущими инструментами, острагалы – обработанные позвонки больших рыб, бусы и подвески из камня и, наконец, прекрасно сохранившаяся гипсовая печатка, с зарисовкой которой ей пришлось промучиться несколько дней, а в результате того, что надо, сделать так и не удалось. Очевидно, она просто недостаточно хорошо понимала тот язык, на котором Искандер пытался с ней говорить.

Несколько первых дней после песчаной бури, которую она так и не видела, небо было серого цвета, затянутое тучами; на нем не было солнца, но сохранялось ощущение его присутствия, его тяжелого тепла. Оно словно наваливалось сверху и давило так, что было невозможно вдохнуть полной грудью. После горячей бури ночи были безлунные, и в нескольких шагах уже ничего не было видно.

Отчет агента К.

Галльский любомудр и германский сновидец, каждый на свой лад пытались рассказать историю солдата, которому смерть назначила свидание в некоем месте, пусть в одном из этих случаев в том самом заклам восточном городе, откуда никак не мог выбраться выдавший виды военный автомобиль с брезентовым верхом.

Однако пока соблазненные шли навстречу своей судьбе, а в судьбе этой, как в самой соблазнительной из женщин, ничего не было, кроме желания соблазнить, так как уже раньше она сама стала жертвой соблазна, в другом периоде текста, точнее, на его периферии, творились уж совсем непонятные дела. Под шумок там происходила дискуссия то ли о руках, то ли рукавах, принадлежащих женщине с кошачьей фамилией, а уж если быть еще точнее, речь шла об ее атласных плечах цвета слоновой кости. Как в двадцать пятом кадре, эта с трудом называемая часть ее тела, скрывавшаяся под различными покрывами – шальями,

пледом, свитерами и рукавами, – так и не появилась ни в одном эпизоде «Зачарованной вершины», где бы хоть кто-нибудь с этими плечами что-нибудь да делал.

Таким образом, с точки зрения расследования некоторых темных моментов наглого соблазна военнослужащего (а Искандер, по крайней мере в одном из периодов текста, этим военнослужащим всё-таки был), существует предположение, что горько-сладкая чаша искуса его также не миновала, – правда, засаленное восточное платье (грязное, как у местных цыганок), на самом деле, имело только один рукав: второй был почти оторван и еле держался. Что сразу же бросилось ему в глаза утром во время завтрака в Обители Звезд. Полуоторванный рукав спадал, и девушка всё время делала нетерпеливое движение плечом, чтобы вернуть его на место, это движение передавалось всему ее телу, заставляло его ожить, выйти из обычной, свойственной ей расслабленности и вдруг предстать сильным, гибким и соблазнительным.

Работа с подлинными документами в наше время мерцающих экранов действительно наводит на сумасшедшую мысль о том, что мощь современной техники позволяет управлять всем – в том числе и всеми видами соблазна, в том смысле, что обо всем трепаться можно сколько угодно: об обладательнице атласных плеч с кошачьей фамилией, придуманной германским сновидцем, о вирусе «Альбертина», вслед за нажатием клавиши возникающем в нужный момент, ну и конечно, о женских плечах и покрывающих их рукавах. Можно даже вспомнить известную рок-группу «Оторванный рукав», часто исполняющую любимую фанатами мрачноватую балладу с одноименным названием. А если захочется передохнуть, можно вернуться к подлинному документу. В отчете рукав-то оторвать можно, в подлиннике же менять ничего нельзя.

В ту ночь в страшном месте на ней, скорее всего, вообще не было никаких рукавов, блузка или платье были сняты: одетой даже в придорожной гостинице ночевать неудобно.

Глава пятая

Дни, не похожие друг на друга

Утром, высунув голову из брезентовой палатки, я каждый день, словно впервые, вижу голубую степь в обрамлении гор, долину Багряной Реки, принявшую на себя свет утренних лучей солнца. Здесь солнце золотит кожу, а горячий вихрь уносит мрачные мысли. Я выхожу, и сразу же хочется пробежаться по еще не согретой земле, подставив лицо этому ветру. Здесь нет типичной для Востока волшебной небесной лазури, краски земли и неба здесь скромны и неброски, но удивительно чисты. Когда-то такой была и вся здешняя жизнь. Много тысяч лет назад здесь жил загадочный народ, они видели те же звезды, что и я, и дети их носились наперегонки с горячим ветром.

Чем же всё-таки была для них смерть? Умершего они заботливо снаряжали в далекое путешествие, ставили рядом с ним еду и питье, клали вещи, которыми он пользовался в земной жизни. Само тело клали головой к северу в позе нерожденного младенца с прижатыми ко лбу руками – в позе младенческого сна и совершенного покоя. Всё это было таким простым и ясным – непонятно было только одно: причем тут наука? И что еще здесь можно было открыть?

Начался сезон сбора хлопка; с севера к Глиняному Холму вплотную подходило хлопковое поле, за которым был высохший и поросший камышом оросительный канал. В день нашего приезда по нему ходили местные девочки, одетые в яркие платья, и собирали хлопок. Время от времени, чтобы разогнуть спину, уставшую от непривычной работы, я поднимаюсь на стену разрушенного дворца, смотрю на собирающих хлопок детей, на горную цепь, уже затянутую дымкой, на поле с арбузами, которую охраняет старик со своими внуками.

Каждый вечер, пока еще не стемнело, я прихожу в овальную залу раскопанного дворца, сажусь

на нагретую за день землю, свесив босые ноги в неглубокую яму.

Сейчас солнце уже садится. Его косые вечерние лучи скользят по глинобитным стенам, помечая их розоватыми бликами, отчего сама глина кажется теплой и живой. Вдали всё те же сиреневые цепи гор, которые сейчас вырисовываются четче. Значит, вот-вот зайдет солнце.

Птицы начинают свой вечерний концерт, их тут много в камышовых зарослях высохшего канала – серые, совсем как наши воробьи, только с хохолками. Их часто убивает слишком сильный ветер или линия высоковольтной передачи; тогда их засохшие от сильного зноя маленькие тельца я подбираю и тайком закапываю в песок за оранжевой палаткой Искандера. А не так давно о провода разбилась какая-то совсем большая птица; чтобы ее закопать, пришлось попросить у наших рабочих заступ.

Скоро полнолуние. Похоже, в жизни обитателей Глиняного Холма установилось какое-то неустойчивое равновесие.

Время от времени здесь происходят баталии с отнюдь не вымышленными чудовищами, которые однажды к нам пожаловали в виде парочки гюрз. Их здесь панически боятся.

Как-то вечером сижу я себе в палатке у Беса, европейца, родившегося на Востоке, и точим мылясы, и он после изрядной дозы спирта, выкраденной мною из розовой пластиковой канистры в палатке Искандера, рассказывает фантастические истории о девушках и змеях или о змеях и девушках, – а я готова слушать хоть до утра, – вдруг крик: «Змея! Змея!»

Бес вдруг сразу протрезвел; мы с ним, как полумные, выскакиваем из палатки и несемся на вопли. Видим: Властелин Времени стоит около нашей кухни и прижимает лопатой к земле извивающегося гада, выпучив свои дравидские глаза с выражением полного отчаяния на лице.

Как потом выяснилось, они с одним рабочим решили пойти попить чая на кухню. Он вошел туда первый и увидел, как по глинобитному полу скользнула толстая, как пожарный шланг (по крайней мере, ему так показалось), змея. Он кричит:

– Лопату, лопату!

Рабочий, не поняв в чем дело, сначала бестолково мечется по кухне в поисках лопаты, но потом, сообразив, что заступ стоит не здесь, а в другом месте, выскакивает из кухни, спотыкается о колышек ближайшей палатки, хозяин которой, услышав крик «Змея!», выскочил наружу сам и уже давно сидит в кузове экспедиционной машины, решив, что это единственное безопасное место, и истошно вопит, усугубляя всеобщую панику. Кончается всё довольно просто. Бес выхватывает у впавшего в транс Властелина Времени заступ и разрубает гадину на части.

В этот момент из оранжевой палатки с недовольной миной появляется разбуженный шумом Искандер, смотрит на разрубленную змею и говорит, что мы поступили очень глупо. Зевая, он объясняет, что существует поверье о том, что гюрзы живут парами и что к месту убийства одной змеи обязательно придет другая. Но, проснувшись окончательно, добавляет, что змей-мститель пойдет по следу своей подруги на запах ее крови. Почему-то он считает, что убитая змея была женой.

Но самое ужасное в этой истории то, что во время паники вслух было произнесено имя убийцы. Всем как-то сразу стало не по себе. Видя это, Искандер говорит, что останки змеи следует собрать, вынести за пределы палаточного городка и предать огню. Что немедленно и было сделано.

Возможно, во всем этом и была какая-то доля правды. Бес (надеюсь, писать его имя на бумаге можно) стоял на том, что это была гюрза-самка, которая приползла на кухню, чтобы отложить там яйца. Он не отрицал, что ее муж мог оказаться неподалеку. На следующий день Бес, вооружившись тешей, идет

на берег высохшего канала и, действительно, там обнаруживает второго гада. Его тоже приходится убить.

Это приключение на всех подействовало крайне неприятно: наши повара и рабочие из местных боялись подойти к кухне; кроме того, все старательно обходили место сожжения первой гюрзы. Из-за паники это место оказалось выбранным крайне неудачно. Оно оказалось прямо на дороге, ведущей на Глиняный Холм, около высохшего оросительного канала.

Теперь пойти на кухню и поставить самой чай стало совершенно неразрешимой проблемой: приходилось всё время таскать с собой Беса или Искандера. Бесу, в конце концов, это надоело, и как-то, когда я к нему в очередной раз пристала с просьбой пойти со мной на кухню (одна я бы ни за что не пошла и уж готова была обойтись без чая и предпочла бы выпить воды из большого бидона, что нам привозили из артезианского источника), он хватает меня за руку и тащит на кухню, приговаривая:

– Ну, пойдем, я тебя, наконец, научу любить твой Восток!

Несмотря на то, что я отчаянно сопротивляюсь, ему всё-таки удается затащить меня на эту кухню, где он выпускает мою руку, прислоняется к камышовой стенке, закуривает сигарету и начинает за мной наблюдать. Я бросаюсь искать спички, поняв, что теперь он не уйдет, но что-то шуршит в углу. Я бросаю коробок – и к выходу, опрокидываю по пути стул и попадаю ногой в какую-то кастрюлю, из которой не сразу выбираюсь: проклятая висит на моей ноге, как капкан.

Восток я любить научилась – или решила, что научилась.

О песчаной буре, необузданных стихиях и лотосах

По радио передают сообщения о продвижении повстанцев и массовых казнях среди местного населения.

Песчаная буря, песчаная буря, настоящая песчаная буря, наконец-то песчаная буря, которую мне обещал Искандер. На мой вопрос о том, правда ли, что в предчувствии песчаной бури, приносимой ветром со стороны сопредельного государства, люди испытывают тревогу и беспокойство, он сказал, что никого не надо об этом спрашивать, потому что это наивный вопрос. Да, он так и сказал, именно это слово – «наивный». Какой смысл был вложен в него? Непристойный, неделикатный, шокирующий, неумный, – всё с приставкой «не», что отрицает любую попытку общения и понимания.

Но если всё-таки предположить, что Искандер не ошибся, говоря на чужом языке, а использовал слово «наивный» во всей полноте смысла? В таком случае он наделил это слово совсем иным смыслом – «скрытый под покровом», или «истинный». Он как бы перевел значение этого слова в другой масштаб, истолковав мой вопрос «когда же снова будет песчаная буря?» совсем в другом ключе, требовавшем уже совсем другого ответа, нежели «да, это правда» или «нет, это вздор». Предшествующее разгулу стихии чувство беспокойства и возможная потеря контроля над собой представляли собой внутреннюю запись в человеческом теле о песчаной буре, но как бы составляли с ней единое целое, некое природное единство, а не нечто внешнее и существующее само по себе, потаенный смысл чего мой родной язык пытается передать несколько неопределенными терминами, вроде «разгула страстей» или «энергии масс».

В ту кошмарную ночь, когда нам пришлось ночевать в придорожном вертепе и мы не могли от утомления заснуть и сидели во дворе, в ту ночь, которую мы потом ради смеха называли «Ночью оторванного рукава», перепад давления, очевидно, сопровождавший песчаный ураган, всё-таки дал себя знать. Искандера, от природы немногословного и сдержанного, просто, что называется, развезло. Он вспоминал всякие истории, одну страшней другой, где местные

легенды и реальные события смешались в причудливом калейдоскопе, и эти призраки его воображения казались более реальными, чем наличная бредовая действительность. И тут я его снова спрашиваю:

– Так всё-таки это правда или нет?

Мой вопрос сразу же поменял тональность нашего разговора, хотя и разговора, собственно, никакого не было: Искандер говорил сам с собой, а я время от времени его слушала.

И тогда в самой наивности этого «наивного» вопроса о наивности подала голос сама истина, истина, скрывающаяся под тысячами ужасных и чудных покровов, прекрасная, как землетрясение, которую можно было принять целиком, такую, как она есть, всю без остатка, принять так, как воспринималась бы (если только можно себе такое представить) планетарная катастрофа, когда уже нет выбора, – она случается и поглощает само разделение в себе в виде «да или нет?».

И тогда, видя, как я всё ещё сижу с незажженной сигаретой, Искандер стал говорить о том, как он дико устал, как всё идет не так, как ему хотелось. И вот мы уже болтаем о том о сем, а потом, оказывается, говорю я одна и понимаю, что он меня вовсе не слушает. Он дремлет, прислонившись к глинобитной стене дома, неверный свет фонаря освещает его лицо с маленьким шрамом на подбородке.

Все метеослужбы предупредили, что идет песчаный ураган, и всё, о чем не хотел говорить Искандер, оказалось правдой: люди перед его наступлением испытывают приступы беспокойства и не находят себе места, вернее, такого места в себе, где можно не испытывать страха и тоски. А я, приподнявшись на локте, всматривалась в темноту, безответную и превосходящую все возможные оттенки смыслов как наивного вопроса, так и истинного ответа на него.

Так вести о приближении песчаной бури (дадим ей имя «Альбертина») распространялись, и ее ожидали

около семи часов вечера. Конечно, мне было немного не по себе, и чтобы отвлечься, я села писать письмо муаллиму. Но письмо никак не писалось, так как сейчас меня по-настоящему ничего не интересовало, кроме собственных ощущений. Они же менялись с такой скоростью, что мне показалось благоразумным сначала пережить всё это, потом вспомнить, как всё происходило, а потом и рассказать про это. Вывести нечто среднее из реального опыта и воображения. Правда, чтобы этот опыт удался, надо было оказаться в самом центре песчаной бури, дать ей имя «Альбертина» и не забывать, что ответа от Искандера на свой вопрос я тогда, в Ночь оторванного рукава, так и не получила.

Так случилось, что

Так случилось, что пережить все эти многообразные ощущения, которые испытывает человек в предчувствии песчаного урагана, мне пришлось не в солдатской палатке на раскопе у Глиняного Холма, а в небольшом городке, пограничном с сопредельным государством.

Со мной с утра творилось что-то странное; чтобы хоть чем-то себя занять, я стала доделывать копию росписи буддийской ступы – круги и лотосы, но через какое-то время почувствовала себя совершенно без сил: в висках стучало, в памяти всплывали какие-то события, совершенно без всякой связи друг с другом, временами меня охватывал какой-то необъяснимый страх, и чтобы не метаться напрасно по комнате, я перестала рисовать и опустилась на коврик, тогда служивший мне и постелью.

Откуда-то доносилась музыка, обрывки речи, выкрики на чужом языке, какой-то шум; сон никак не приходил, но, по-видимому, незаметно для себя, я всё-таки уснула. Неизвестно, сколько времени продолжался этот сон, я то просыпалась на несколько

минут, стараясь угадать, который час, то снова засыпала; у меня не было сил встать, чтобы зажечь свет и взглянуть на часы.

Наконец я проснулась окончательно. В небольшой комнате, где я делала зарисовки, было душно; прямо в лицо падал свет уличного фонаря, и всюду стоял какой-то странный запах – запах пыли, проникавший в помещение через неплотно закрытую дверь. Я встала с коврика, открыла дверь и вышла на улицу; тотчас же послышался звон разбитого стекла, мне показалось, что это упал стакан, стоявший на моем столе, что я его случайно уронила и разбила, я никак не могла понять, как он снова целым оказался у меня в руках, я его взяла случайно, когда пошла, чтобы открыть дверь, я, наверное, хотела пойти на колонку и взяла с собой стакан, чтобы не пить прямо из-под крана, как я обычно делала. Свет от фонаря, что был виден из окна комнаты, как-то сразу потускнел и превратился в звезду, лучи которой плавали в пыльной мгле. Мелькнула мысль: белье! Я бросилась во дворик к веревке, торопливо начала снимать выстиранные утром вещи, часть из них оказалась на спинке садовой скамейки. После этого я вернулась в комнату и закрыла за собой дверь.

Она думала о том, что сейчас делается на Глиняном Холме

Она думала о том, что сейчас делается на Глиняном Холме, она знала, что там сейчас никто не спит, и они, конечно, сидят в кузове экспедиционной машины или в оранжевой палатке Искандера, безделушке хрупкой цивилизации, предназначенной для благоустроенного отдыха и безмятежного времяпрепровождения; ее изящные металлические трубки, на которые крепилась тонкая ткань, были так хрупки. Зачем он взял ее с собой в пустыню? Ее сорвет первый же порыв песчаной бури, и сейчас все они, наверное, пытаются изо всех

сил удерживать эту ткань и готовые сломаться металлические трубки. А ведь в ней хранились почти все сокровища, извлеченные из недр Глиняного Холма.

И вот уже она бушует, настоящая песчаная буря, раскаленный ураган, «ямон шемал», дурной ветер, как его называют здесь старики. Порывы усиливаются. Их волны нарастают. Временами между ними даже нет интервала, они идут сплошным валом, который накрывает всё. Иногда на несколько секунд наступает затишье, после чего буря обрушивается на землю с удесытеренной силой. Она сидела в комнате и видела в окно, как гнутся под натиском ветра деревья, смотрела на раскачивающийся уличный фонарь и думала о том, что если бы сторож не закрыл на замок калитку, ведущую на улицу, она точно отправилась бы носиться над землей вместе с «Альбертиной».

Глядя на ночное буйство песчаной бури, она вспоминала, как Искандер однажды возвращался откуда-то и у него на перевале наконец развалился старый рыдван. Бросив там своих незадачливых попутчиков, он полсуток добирался до Глиняного Холма на попутках и таки добрался; ему здорово повезло: он нашел какую-то колымагу с полупьяным водителем.

И она была единственной, кто в ту ночь услышала шум мотора, проснулась и вышла ему навстречу.

О чем они тогда говорили друг с другом? Она вспоминала, что тогда они никак не могли найти розовую канистру со спиртом, чтобы угостить водителя: Искандер, заметив ее проделки, ничего ей не сказал, а канистру всё-таки перепрятал. Он приехал тогда после сумасшедшего дня, проделав почти сотню километров по пустыне, где невозможно отыскать ни глотка воды, и на ее вопрос: Что с тобой всё-таки случилось? – только весело рассмеялся.

Она всматривалась в его лицо, покрытое дорожной пылью...

А вот теперь «Альбертина» разбушевалась по-настоящему.

Стало быть, она всматривалась в его лицо, покрытое дорожной пылью, он улыбался, но вдруг ей показалось, что эта улыбка камышового кота, маленькой песчаной рыси, не предвещает ничего хорошего.

Глава шестая

Беспричинное и беспрепятственное бегство от смысла

Что можно почувствовать, проснувшись в пустыне в солдатской палатке среди ночи? В самом центре пустыни, где вода в умывальнике ночью замерзает, а утром невозможно решиться выбраться из спального мешка; а о том, что надо собрать какие-то вещи, попытаться заставить себя съесть хотя бы кусок лепешки и запить ее холодным чаем, даже страшно подумать.

В темноте я протягиваю руку, не вылезая из спального мешка, беру его часы, которые лежат рядом на деревянном ящике, служившем мне письменным столом. Светящиеся стрелки показывают четыре часа. Снова засыпаю.

Мой сон похож на реку – сначала мелководье, где еще можно видеть дно, и сохраняется уверенность, что время этого мелководья соответствует светящимся цифрам; постепенно глубина сна увеличивается, и уже не достать дна и кажется, что ноги повисли в пустоте, а время движения стрелок на циферблате растягивается до бесконечности, и вдруг это время сжимается: так наступает пробуждение, от которого захватывает дух, как от спуска в скоростном лифте, – появляется свет, он стирает ночные видения и возвращает меня в привычный мир слов и вещей. Мне снится, что я выхожу из палатки наружу.

Жарко, хотя солнца нет. Горячий ветер метет землю. Глинобитные стены – как печь. Прохожу несколько кварталов, петляя в лабиринте узких улочек, но вдруг ловлю себя на том, что иду уж слишком долго: чувство моего тела, его внутреннее время говорит мне о том, что надо было давно повернуть, чтобы добраться до палисадника с грохочущей калиткой и хлюпающей доской, переброшенной через канавку. Уже давно должна быть стена дома, покрашенная голубоватой известью с нацарапанным на ней каким-то словом на чужом языке, но передо мной лишь улица, противоположный конец теряется где-то вдали. Я чувствую, что совсем заблудилась. Ведь здесь должна быть эта самая стена. Я протягиваю руки, они во что-то упрутся. И я вижу эту стену, за которую нужно было пройти и свернуть, чтобы добраться до окна.

Искандер идет мне навстречу по кирпичной дорожке.

– Сегодня неподходящая погода для поездки в долину Багряной Реки. Взгляни – солнца нет, ветер такой, представь себе, что там сейчас делается.

Он стоит и улыбается своей камышовой улыбкой, которая не предвещает ничего хорошего.

Вот сейчас ветер снова задул по-настоящему.

– Мне не хочется в долину Багряной Реки, мне уже вообще никуда не хочется.

– Ладно, тогда почитай мне, что ты всё время пишешь в синей тетради.

– В какой тетради?

– Ну, в той, с которой ты ходишь в овальную залу.

– Да, я там делаю наброски; я слишком мало знаю о жизни, чтобы что-нибудь писать, разве что маленькие заметки о том, как однажды мы с моим другом-историком раскапывали древнее городище недалеко от границы.

– А кто такой был твой друг?

– Сын крестьянина, ставший историком. Он был одержим идеей найти какую-то древнюю цифровую

цивилизацию, которую считал культурой своих предков.

– И ты написала об этом?

– Хотела написать.

– А где всё это было?

– На Глиняном Холме. Так называли этот холм местные жители, оттого, что там было много черепков от разбитой посуды.

– Значит, ты так мне ничего толком и не хочешь сказать...

– Да тебе это, пожалуй, и не будет интересно. Так, разрозненные впечатления. С одной стороны, в них слишком много чисто профессиональных сведений, но для настоящих профессионалов они никакого интереса не представляют...

Скрытые записи ее снов, до которых не докопался бы даже «расчлениТЕЛЬ душ»

Миновав тоннель, они попали в долину, поражающую своей дикой красотой. Некогда бушевавший здесь подземный жар создал величественный и устрашающий ландшафт. Каменные столпы, вознесенные к небу деятельностью древних вулканов, гигантские башни и нагромождения горных пород тянулись до самого горизонта. Местами скопления этих исполинских творений природы своей безупречной геометрической формой, будто возведенные рукой человека, напоминали восточный город, рядом высились скалы, словно стволы гигантских деревьев или колонны разрушенных дворцов. Между ними проглядывались проходы, улицы, переулки; казалось, что когда-то здесь была площадь, а там величественный дворец некогда цветущего, а теперь мертвого города, обреченного возвышаться здесь мрачным памятником, пока солнце, вода и ветер не завершат свою разрушительную работу по исправлению времени.

Надежда укрыться здесь от песчаной бури оказалась напрасной. Разбушевавшаяся стихия с дикой скоростью гнала песок, он ударялся о каменные стены, ветер выл и кружил в проходах между каменными громадинами. Небо было мутно от пыли, которая затрудняла дыхание и слепила глаза.

О том, чтобы двигаться дальше, нечего было и думать. Они шли по широкому разлому между грудями каменных нагромождений и глыб, стараясь держаться поближе к стенам, но ветер предательски вырывался из одному ему известных щелей и проходов; он то неожиданно бросался им в лицо, то толкал в спину, угрожая опрокинуть навзничь, выл на тысячу голосов, то свивался в огромные кольца и исчезал в гигантских воронках, то терялся в высоте пепельного неба.

Она чувствовала, как ее губы покрываются коркой и трещинами, язык, став жестким и неповоротливым, скоблил небо, глаза болели и слезились.

Из последних сил она делает несколько шагов вперед, стараясь устоять против сильного встречного потока горячего воздуха и пыли, догоняет его и дотрагивается до его плеча.

– Я больше не могу.

Звук ее голоса, ее слова, сорвавшиеся с запекшихся губ, подхватывает вихрь и относит вдаль, и они уже теряются навсегда во взбаламученном стихией пространстве, но эти же слова возвращают ее к действительности.

Он почувствовал легкое прикосновение ее руки к своему плечу; он ждал его, этого прикосновения, задолго до того, как оно у нее воплотилось в этот жест, и обернулся к ней:

– Нет, не теперь, не здесь, потом...

Она отдернула руку, словно прикоснулась к раскаленному железу. Сразу прошла боль в глазах, сухость во рту, перестал донимать монотонный свист ветра, она машинально пошла впереди, не замедляя шага, не сбиваясь с ритма и ничего больше не чувствуя. Неизмеримая горечь заполнила всё ее существование,

горечь, которой, казалось, нет предела. Она проклинала себя за то, что только что собственноручно разорвала какую-то тончайшую связь, которая ранее связывала ее с ним, что это она сделала сейчас за него, заранее зная его ответ и предвидя его несогласие.

Краткий отчет агента К.

Их путь неожиданно закончился и уперся в почти отвесную стену холма. Они свернули и пошли под самой стеной в сторону пересохшего от жары оросительного канала. Поднявшись на холм, оказались на ровном месте, поросшем жесткой выгоревшей травой, истоптанной тропинками; кое-где валялись черепки когда-то разбитой посуды. Заросшие побуревшей травой рвы и эти черепки – вот всё, что осталось на месте бывшего города, теперь уже забытого навсегда.

Глава седьмая

Давай сядем здесь и начнем читать

– Давай сядем здесь и начнем читать, – предложил Искандер.

– Хорошо, только читать я буду сама. Если мне что-то покажется неинтересным, я это просто пропущу.

«Внезапно наступает состояние полной растерянности, когда вдруг становится как-то не по себе из-за вдруг охватившего тебя полного безразличия к делам, которые, казалось бы, должны составлять смысл твоего существования, или, по крайней мере, его некоторое содержание. Когда вдруг кончается радостный период волнений, связанных с ожиданиями перемен, и наступает состояние черной тоски и скуки; только

тогда ты начинаешь понимать, что именно эти ожидания и составляют саму великолепную и царственную плоть и основу этой, казалось бы, непонятно откуда пришедшей скуки. Они сами уже были этой тоской, этим беспричинным и беспрепятственным бегством от смысла *куда-нибудь вообще*, и уже несли в себе эту самую желанную и прекрасную до непереносимости скуку, ради наслаждения которой и предпринималось столько усилий.

Так мое искреннее восхищение фресками уступило место рутине копирования, а лексикон пополнился ничего не значащими для большинства непосвященных людей словами: калька, протирка, прорисовка, обозначение цвета.

И вот теперь я сначала обрабатывала эти фрески специальным составом, потом копировала их, затем заворачивала в марлевые саваны и отправляла в другую страну. И в этой поистине варварской спешке навряд ли можно было больше, чем на миг, задержаться взглядом на трещине, которая остановила разгон замысловатых линий, или во всей полноте почувствовать время, обратившее в остатки бледно-голубой краски изображение юноши, взглянуть в его продолговатые глаза, в зрачках которых навсегда замерли красноватые блики заходящего солнца, замереть, чтобы понять, что у древних мастеров были какие-то особые тайны, когда они изображали священные ритуалы, например, бракосочетание или посвящение в мисты.

Каждый день я бываю на развалинах древнего храма, великолепного здания с алтарем, обращенным в сторону востока, где восходит солнце, я смотрю на восток и вижу, как на стене какого-то сооружения возникает маленькая фигурка отдаленного потомка тех, кто в древности жил на этой земле».

Искандер слушал, не перебивая меня, но я быстро устала читать и решила выкурить сигарету. И тогда он робко спросил:

– Ну, а всё-таки, как ты с ним познакомилась, с этим твоим другом?

И правда, пока что на страницах синей тетради не оказалось ни одного намека на то, что я должна была где-то и с кем-то встретиться.

Я листала синюю тетрадь; между страницами оказалось несколько зарисовок, но никакого ответа на вопрос Искандера я не нашла.

– Не помню, ведь прошло так много времени.

Он через мое плечо заглядывал в тетрадь:

– Подожди, у тебя здесь что-то написано про похороны философа.

В самом деле, сейчас я смутно припоминала, что если какие-то события казались мне странными или загадочными, то я о них что-то записывала в синей тетради. Где и когда это случилось?

– Да, – говорю, – помню, действительно, как-то я приехала в город повидаться с приятелем, археологом, и попала на похороны учителя философии, которого мои тогдашние друзья считали философом.

Мы взглянули друг на друга и расхохотались.

– Ну, да может всё-таки хватит о философе, который выпрыгнул в окно из-за девушки, и из-за этого поругались два его коллеги, один говорил, что он выбросился, другой – застрелился. Я из-за всей этой твоей дури сам тогда чуть не выбросился из окна... А потом еще кто-то стрелял в книгу, и еще знаменитая «Ночь оторванного рукава»...

– Да, прямо какой-то заколдованный круг.

Сидим мы с тем человеком и болтаем; в комнате, мрачноватом помещении нового музея, построенного на месте древнего городища, какая-то несуразная европейская полированная мебель, а в углу на толстой оберточной бумаге стоят настоящие сокровища: сосуды и статуэтки из красной глины, рядом лежат на полу фрагменты росписей и фресок, – словом, всё то, что рано или поздно получает свой инвентарный номер и занимает отведенное ему место в музейной

витрине, – некое доказательство самого существования, оторвавшееся от своей истории и изъятые из жизни, становится памятником материальной культуры, одним из бесчисленных музейных экспонатов. Неумелая и бездарная реставрация довершает разрушительную работу времени, выхолащивая из этих остатков существования смысл, лишает их жизни души, без которой мертво самое совершенное произведение искусства.

Выслушав мои сентенции, мой друг сказал, что ко всему «этому» (здесь он указал на угол пренебрежительным жестом, не поворачивая головы) он не имеет никакого отношения, так как занимается ранним неолитом.

Да я и так знала, чем он занимается. Выросший среди книг, красивых и дорогих вещей, единственный сын известного ученого, с детства приобщенный ко всему самому прекрасному и рафинированному, что только существовало в его геометрической цивилизации, он действительно формально занимался историей раннего неолита, а на самом деле любил только розы. Мы его так и называли между собой: Король Роз. Как-то, гуляя со мной по городу, он мне рассказывал о средневековой ландшафтной архитектуре, и глядя на это запущенное колониальное захолустье, невозможно было представить себе, что когда-то здесь были парки, всяческие сады, водоемы и террасы, прирученные гепарды, красивые и образованные женщины, хорошо воспитанные мужчины и прочие чудеса света.

Впрочем, алые маки, что стояли на окне в стеклянной банке, были ничем не хуже тех средневековых роз. Мы говорили о стихах бродячих поэтов, которые до сих пор исполняют народные музыканты, хотя уже все давно забыли, кому принадлежат эти стихи. Я пожаловалась, что мне надоело копировать фрески и я хочу *что-нибудь найти сама*, как это делают они все, например, любимый ученик муаллима, на Глиняном Холме, что в долине Багряной Реки.

Тут-то он и сообразил, для чего я сюда пришла. Разумеется, вовсе не для того, чтобы в очередной раз болтать о восточной поэзии и слушать рассказы о садово-парковом средневековом хозяйстве.

– Ладно, ты просто наслушалась всяких сказок об этом таинственном месте рядом с границей...

– Где на десятки километров нет человеческого жилья, где дует дурной ветер «ямон шемал», от которого люди теряют рассудок, и где на Глиняном Холме этот любимый ученик муаллима нашел какую-то цифровую цивилизацию...

Король Роз сообщил, что там еще никто из ученых-историков не был, только рабочие и один архитектор.

– Конечно, там нужен художник, он охотно отвезет тебя туда.

Дверь открылась, и вошел этот любимый ученик. С трудом дотерпев, когда он завершит традиционный поток приветствий, я так ему прямо и сказала, что хочу поехать в долину Багряной Реки, на Глиняный Холм.

– Хорошо, – сказал он, не моргнув и глазом, – тогда поехали прямо сейчас!

Мы вышли из музея, сели в какую-то обшарпанную машину армейского типа, очевидно, списанную за ветхость. Она со страшным ревом сорвалась с места, и через некоторое время мы ехали по главной улице города. Всё оказалось так легко и просто. Мы с Королем Роз сидели на заднем сиденье, и я, совершенно ошавев от радости, всё время толкала его в бок и торжествующе скашивала глаза на сидящего за рулем человека. Однако одно обстоятельство всё-таки казалось странным: человек, сейчас сидящий за рулем, тогда и глазом не моргнул.

Принял ли он решение заранее, когда рассеянно рассматривал мои рисунки утром после ночного переполоха во Дворце свиданий и сновидений, или оно у него возникло сейчас, когда я ему прямо сказала, чего я хочу. Или он не понял, что девушка в восточном платье с измазанными краской руками и подружка-хохотушка Короля Роз – одно и то же лицо.

Тем более странно, что свою находку в пустыне он считал своей, и до времени ему вряд ли нужны были еще чьи-то глаза; а может, ему захотелось, чтобы кто-то *совсем* чужой (тоже его своеобразная находка) с беспристрастной точностью хорошо настроенного механизма рассказал ему самому про эту находку, не обременяя себя при этом никакой ответственностью, как это происходит, когда говорят во сне на чужом языке. Впрочем, в данный момент это не имело никакого значения.

Когда мы выехали на центральную улицу и доехали до здания с колоннами, нам пришлось остановиться. Я спросила:

– Что здесь происходит?

– Похороны. Поедем туда, – прозвучал голос Искандера.

И вот мы уже около входа.

– Пойдем наверх, – за моей спиной.

Оказалось, что умер учитель философии. В дверях толпится народ. Ищу глазами Искандера, но он куда-то исчез. Король Роз легонько берет меня за локоть и подталкивает, чтобы встроиться в движущуюся вверх по лестнице вереницу людей. Мы поднимаемся, входим в просторное помещение на втором этаже. Откуда-то раздаются звуки музыки, надрывной и словно застывшей на одной ноте. Заунывный звук восточной флейты чередуется с механически-правильными ударами бубна. От духоты и давки в глазах темно; чувствую, что ни за что на свете не смогу взглянуть в центр зала, на умершего учителя, а стараюсь не отводить взгляда от «дочерей погребальных носилок», женщин, сидящих на стульях с распущенными волосами у самого гроба. Туда подходят люди, кладут цветы, произносят речи на чужом языке. Тишина чередуется с душераздирающей музыкой. Многие плачут. Это, очевидно, его ученики. Постояв немного, мы спускаемся снова по лестнице, и мне кажется, что этот спуск длится бесконечно долго.

Слышу голос моего друга:

– Смотри, вот люди из столицы, они когда-то вместе учились.

Смотрю вперед и вижу, как толпа расступается перед каким-то человеком лет пятидесяти в черном дорогом костюме европейского покроя, у него синие глаза и необычно светлый цвет кожи. Он подходит ближе, обменивается рукопожатием с некоторыми из встречающих его людей.

Мы выходим на улицу, круто спускающуюся к городской площади, где также стоит огромная толпа. Там мы встретили еще кого-то из знакомых. И стоя в толпе с ними разговаривали.

Похоронная процессия показалась со стороны здания с колоннами. Впереди шли одетые в черные костюмы мужчины, среди которых я вновь увидела светлого человека с голубыми глазами, приехавшего из столицы. За ними двигался усталый ковчег с грузом, на котором стоял засыпанный цветами гроб, и народ, повсюду народ, масса народа: на проезжей части улицы, на тротуарах, в подъездах, в окнах домов. Процессия направляется к городскому кладбищу. Мой друг спрашивает, не хочу ли я тоже туда пойти. Нет, я не хочу. Мне всего уже достаточно. Король Роз, оставив меня одну, устремляется за толпой, я же остаюсь стоять на тротуаре, задаваясь одним вопросом: что это я вообще здесь делаю?

Вдруг меня кто-то сильно толкает в спину. Оборачиваюсь и вижу человека с облупленным носом и водянистыми глазами. Он держит в руках фотоаппарат, намереваясь занять наиболее удачную позицию, чтобы сделать несколько кадров. Девушка рядом что-то кричит, парень с фотоаппаратом смотрит на меня и что-то бормочет. А я ему:

– Бросьте, ребята. Не стоит...

Он с недоумением воззрился на меня.

Вечером я сидела в Обители Звезд, изнемогая от жары, несмотря на то, что все окна были открыты

настежь, и мои босоножки, как всегда, стояли на подоконнике, но у ребят со второго этажа уже не было сил дурачиться и выуживать их веревкой с крючком. Я успела всем рассказать о том, как мне удалось уговорить Искандера отвезти меня в долину Багряной Реки, и тут вдруг в дверь кто-то постучал, я бросилась открывать дверь, – в дверях стоит Искандер, и первое, что он сказал было:

– Ну, куда же ты исчезла, я тебя ищу по всему городу.

И только потом он со всеми поздоровался.

Наверное, какая-то доля правды в этом была. На самом деле он сказал так:

– Я обошел всех твоих знакомых...

Ну, предположим, не обошел, а объехал на своем рыдване, хотя всё это не очень-то меняло суть дела.

Однако я представила себе, как он со своим знанием моего родного языка общался с моими соотечественниками, – а где еще ему было меня искать? Так или иначе, я видела, что сейчас он был просто не в себе.

Он так и стоял на пороге. От неожиданности все так растерялись, что его никто не успел пригласить войти. Тогда я вышла в коридор, и вдруг у меня слезы полились как из шланга, хотя я всё время смеялась, потому что до меня только сейчас стало доходить, какой оборот начинает принимать это дело. Да и сам Искандер, скорее всего, считал, что с похоронами учителя философии он тоже немного хватил через край.

Отчет агента К.

Скандалность ситуации заключалась в том, что Искандер вдруг почувствовал явное неодобрение окружающих по поводу своих намерений относительно девушки, о чем она сама же всем и рассказала, а мультимедийным, узнав о предстоящем отъезде своей переписчицы текстов и художницы (о чем его никто не

предупредил, что, очевидно, вообще было в духе и ее и Искандера), пришел в ужас, хотя всеми силами пытался это скрыть.

Он вышел в коридор в тот момент, когда она сидела на подоконнике, а Искандер стоял рядом и что-то тихо ей говорил, мешая слова двух языков, правда, она смеялась, а чей-то напоминающий грязную тряпку носовой платок валялся рядом, из чего можно было сделать вывод, что платок всё-таки применялся, так как обстоятельства требовали его применения. Неизвестно только, кому принадлежала эта улика, – ей или Искандеру.

В момент неожиданного сцепления языков и последующего их размежевания сцена в коридоре могла представляться так: она будто кошка вспрыгнула на подоконник и села, свесив ноги, Искандер стоял напротив нее, и со стороны казалось, что он пытается взять ее за руку, ту самую руку, которую она поднимала и слегка заводила назад, чтобы удержать спадавший рукав, и таким образом, муаллим мог посчитать, что она отталкивает Искандера, который пытается обнять ее за плечи и что-то говорит ей. И всё это выглядит как скандал и безумие одновременно, особенно странной могла видаться эта сцена, когда девушка вдруг отстранилась от Искандера, слегка откинувшись назад, холодным тоном довольно громко произнесла на своем языке:

– Всё? И бессмертие тоже?

Он как-то сразу замолчал и чуть отодвинулся. Скорее всего, он не сразу понял смысл этих слов, произнесенных на чужом языке. Или, по крайней мере, ему пришлось проделать какую-то сложную мыслительную работу, чтобы соотнести этот двусмысленный вопрос со странной аморфностью ее тела, словно одного лишь мгновенья было достаточно, чтобы у существа, только что с кошачьей гибкостью одним махом взлетевшего на подоконник, руки вдруг повисли вдоль тела, которое стало прогибаться в пояснице и наклоняться, ссутулив плечи вперед.

– Но ведь ты сама хочешь туда...

Какой аналог в своем родном языке мог он найти для обозначения этого «размежевания»?

Некоторые соображения по поводу сплетения языков и их последующего размежевания

Вся эта языковая игра, без чего не существовало бы самого Глиняного Холма как лингвистического феномена, началась с наивного при всей своей парадоксальности вопроса «а правда ли, что...», тогда «бессмертие», трудности перевода которого остались не отраженными ни в одном из периодов текста, было просто следующим этапом этой игры.

Оставим на время эту логическую неурядицу, которая, тем не менее, начинала выстраиваться в систему: Искандер не был сильным игроком на чужом поле, но обладал незаурядными способностями делать эти территории нейтральной полосой и легко приспосабливаться к их новым свойствам.

Всё, что прирастало к нему, немедленно втягивалось в орбиту его собственных изменений, которые, в свою очередь, порождали новые мутации, но сам момент вхождения в эту систему, похоже, был, в сущности, непредвиденным и неуловимым для него самого.

Аналог этой системы, столь неловко и самонадеянно названный ими обоими столь претенциозным словом «вечность» (а они и пребывали в этом заблуждении, и возможно, пребывают до сих пор), конечно, был. Можно, если удастся настроиться на более легкомысленный лад, сказать, что он представлялся ему как конец света, который, как известно, произойдет в форме шара, взорвавшегося изнутри (известный под греческим именем «экспирозис» в одном из древних культов сопредельного государства). Ну, а если этот шар представить себе сначала в виде змеи, кусающей собственный хвост (тоже достаточно распространенного в этом культурном ареале

декоративного мотива), то мы подойдем к круговому бесконечному тексту, где всё равно всему и любой смысл, отменяя предыдущий, порождает новый, чтобы на следующем витке разрушить его. Постоянное упоминание о помрачении, охватывавшем Искандера при мысли о цифровой цивилизации, открытие которой могло бы заставить решительным образом пересмотреть существующий Закон Порядка и Света, более правильно было бы назвать «восхищением», определенным состоянием духа, о качестве которого никто до сих пор ничего определенного сказать не мог, в том числе и редкие избранники прямого воздействия этого трансцендентального источника. Равно как и о бессмертии души; постоянные дискуссии на эту животрепещущую тему начались между ними с момента выхода из нулевого периода текста, написанного до того, как на высоте 2000 метров машина перевалила через перевал и начала спускаться в долину Багряной Реки.

Чувства, высказываемые и переживаемые по этому поводу, а также переживаемые и не высказываемые, долго могли оставаться без ответа, что, возможно, является непрямым условием самого их существования, ничем, кроме как этой безответностью, не обеспеченного. Так ни одна надпись на глинобитной стене никогда не дочитывается до конца, поскольку в ней зашифровано много надписей, много языков и диалектов, много культур, новое прочтение которых прорывается через явления в универсуме слов, называемом литературой, общим местом, повседневностью, – подумать только, сколько отблесков их содержится в женском имени «Альбертина».

Но не стоит столь подробно рассуждать об этой стороне дела, тем более что все эти рассуждения приводят не к прояснению смысла, а к его сокрытию, затемнению. Казалось бы, самое простое описание какого-нибудь пейзажа или обстановки комнаты предназначено отнюдь не для того, чтобы передать читателю чувство, которое испытывает лицо, непосред-

ственно данный пейзаж или интерьер созерцающее. Именно это чувство должно быть запечатано семью печатями. На самом деле, именно для того, чтобы как можно глубже запрятать это чувство, продлевается самый сложный процесс, в котором это чувство говорит на различных языках и диалектах; оно пропускается через воистину inferнальный механизм, вроде стеклянной фрезы, обладающей силой втянуть в себя не только какой-нибудь рукав, а самое высокое здание в мире вместе с телом философа, только что выпрыгнувшего из окна собственной комнаты.

Окружающий нас мир – это вовсе не наши чувства, а наши слова о них, сколь бы ни ограничены были их возможности. Слова наши – это границы наших чувств, которые сводятся просто к описанию скрываемого чувства, про которое больше ничего не известно, не известно даже, существует ли оно. Между сельским диалектом мальчика с берегов реки, Текущей Золотом, языком ученого-историка и машинным языком девушки-чужестранки располагается великая сокровищница возможностей для этой увлекательной эпопеи, когда рано или поздно, забыв все слова и диалекты мира, можно оказаться в наивной – потому что телесной – близости друг с другом «без языка, вне текста».

Сложные и противоречивые чувства Искандера иногда просто не укладывались в формы чужого языка, и тогда ему приходилось, вне зависимости от того, хотел он этого или нет, переходить на чисто женский диалект – язык тела: его лицо покрывалось бледностью, и он, испытывая боль или ярость, улыбался. Иначе ему пришлось бы пользоваться неким искусственным языком-мутантом, подобным языку компьютерной программы, то есть вступать в мир монстров с пластиковыми ручками, оторванными рукавами Альбертины (или молодой женщины с кошачьей фамилией) и простреленными книгами.

Псы языка затаились в предвкушении легкой добычи.

Ищущий истину размышляет о бессмертии души, а агент К. впервые задает вопросы

– Значит, ваша поездка на Глиняный Холм началась с разговора о бессмертии?

– Да собственно, никакого разговора и не было. Просто Искандер слегка растерялся от последствий своей неудачной педагогики. Она поняла, что Глиняный Холм в его сознании ассоциировался с теми, чьи следы он искал; они, якобы, тоже стремились найти источник бессмертия. К тому же он был явно раздосадован, что рассказал ей о приснившемся ему накануне сне.

Кажется, впервые я что-то начал понимать: мне не удается остаться безучастным свидетелем тех странных событий, о некоторых из них мне даже трудно рассказать. Например, о сне, приснившемся Искандеру, когда однажды он заснул прямо в раскопе.

Агент К. рассказывает историю сна ищущего истину

Он ровно дышал, положив голову на небольшое возвышение; сон свалил его неожиданно, как это бывает в момент сильной усталости, еще не осознанной, но исчерпавшей все ресурсы тела. Это было похоже на внезапное падение в забвение и небытие, когда впечатления минувшего дня принимают форму причудливых видений, а само время не поддается отсчету – оно увлекает в глубь бездонного колодца, где нет ни времени, ни пространства. Он спал, и его открытые губы иногда чуть подрагивали во сне. Ему снилось, что он дотронулся до ее подбородка указательным пальцем правой руки и заглянул ей в глаза.

Потом они вместе шли по какой-то дороге, ведущей в гору, что перевернутой чашей высилась среди серых скал. Вершина была покрыта лесом, который начинался сразу же у подножья. Там росли вековые деревья, поражавшие высотой и мощью. Огромные и безмолвные, они высились, как колонны, сплетая вверх свои кроны; они росли так плотно друг к другу, что, казалось, в эту заколдованную рощу невозможно войти, как вдруг – тропинка, скорее похожая на узкий тоннель, будто прорубленный в этом лесном массиве. Они вошли в этот мрачный коридор. Можно было подумать, что от сотворения мира ни один луч солнца не проникал сюда; он зарос кустами, которые при малейшем неловком движении хлестали их. Неожиданно коридор разделился; они пошли на восток и, миновав еще одну развилку, дальше пробирались в полной темноте. Он вытащил из-за пояса нож и стал в темноте рубить кустарник, расчищая путь. Внезапно странные звуки наполнили лес, они неслись откуда-то из самой глубины. Эхо звонко раскатывалось по вековым стволам. Оно дробилось, переливалось, волны звуков обгоняли друг друга, затем всё слилось в одно звучание, которое окружало их плотным кольцом. Казалось, это был голос самого леса. Чье-то горячее дыхание обожгло ему затылок, он оглянулся: сзади ничего не было, кроме черноты, из недр которой шел жар, словно там зарождался ветер, великий ветер, дурной ветер, «ямон шемал», ветер войны и крови, от порывов которого человеческие существа охватывает непреодолимая апатия, безразличие и скука. Она подставляет ветру лицо, плечи, и вот он охватывает ее всю целиком. Она вслушивается. Он что-то кричит ей, он что-то громко кричит ей в темноту. Через мгновение видит: она стоит на тропинке одна. Просто неподвижно стоит. Звуки ночи, словно вода из пролитого сосуда, растекаются у ног ее, слабеют, затем пропадают совсем. Только тихий шелест листвы в могучих кронах.

Она выходит из леса. Он подходит к ней. Проводит рукой по ее лбу, рука становится влажной. Говорит ей:

– Уйдем отсюда.

Они спускаются к ручью, что течет внизу среди зарослей камышей и кустарников. Она наклоняется, зачерпывает пригоршню воды, умывает лицо, входит в воду, чтобы перейти поток, – и вот она уже на середине, переходит ручей и идет дальше, не оборачиваясь, так и не взглянув на него.

Допустим, что язык потерял всякий смысл

Допустим, что язык потерял всякий смысл и значение и годится теперь только для военных сводок и отчетов агента К. В таком случае в сновидении ищущего истину Искандера присутствует всё детальное описание места события, а время, затраченное им на рассказ об этом сне, полностью соответствует времени остановки самолета на взлетной полосе перед его разбегом и отрывом от земли и совпадает с остановкой Искандеровой машины на перевале, перед тем как начать свой стремительный спуск в долину Багряной Реки. Орудие этой длинной синтагмы тоже известно; это стингер *ищущего истину*, наш старый знакомый, «пистолет культуры», давно выпавший из ее рук и начавший, как камышовый кот (маленькая степная рысь), разгуливать сам по себе, забыв об объекте своего *стреляния*. Это оружие юного лучника на фреске, который целится ни во что и во всё сразу, потому что его стрела летит всегда, так как полет ее – в вечности. Теперь остается только отыскать хотя бы предполагаемую цель этого *стреляния*, некую фигуру умолчания, черты которой столь явственно начинают проступать сквозь психоаналитический канон рассказа, особенно в той его части, которая связана со снами, что совершители культурного преступления по сравнению с ней кажутся столь блеклыми и незначительными, – что, в свою очередь, наводит на мысль: не пора ли озаботиться восстановлением равновесия, которое иначе рискует оказаться под угрозой?

Хотя мы еще не подошли вплотную к некоему телу, вопрос о том, живое это тело или мертвое, пока не встает, тем более что до подобного разбирательства дело не дошло. Правда, контаминированное культурой яблоко, засевшее в позвоночнике агента К., говорит о противоположном, – цель этого идеального космического образа *стреляния* в вечности всё-таки существовала. Каковы бы ни были слухи, ходившие по поводу смерти учителя философии, ни его тела, ни тела человека, от неразделенной любви выбросившегося из самого высокого здания мира, никто никогда не видел. Об этом только трепались.

Ищущий истину не мог не знать о том, что ни в здании с колоннами, ни около ручья на опушке леса никто ни на что не хотел смотреть, а уж тем более оглядываться.

Четыре-три-два-один-ПУСК-вспышка.

Не на что было оглядываться.

Что сделано, то сделано.

Псы языка дождались своей доли.

Можно конечно предположить, что тот, кто сделал это, потом вспыхнул сам. И неважно, почему он сделал это, – то ли от непреодолимого безразличия и скуки, наступившей вслед за суетой приготовлений, или, напротив, от непреодолимого желания стать совершенным и, таким образом, неживым.

Или мы имеем дело с дошедшей до нас с большими утратами восточной сказкой, где двое верховных владык решили отыскать источник жизни и испить напиток бессмертия. Двое подобных, но различных между собой, однако же есть ведущий и есть ведомый, впрочем, они всё время меняются ролями. При этом они эти роли только играют, но вопрос о том, кто из двоих получил бессмертие, остается нерешенным.

Но мы сейчас заняты только Искандером. Конечно, он знал, что она поедет, он умел читать знаки судьбы. И вцепился в нее мертвой хваткой. И смутило его только одно: вопрос был поставлен ребром. Она ему сказала прямо, что рисовать там не собирается...

Агент К. с контаминированным яблоком культуры в позвоночнике рассказывает

Кроме обычной, так раздражавшей ее неуверенности во взгляде, сейчас, как ей показалось, в выражении его лица появилось что-то новое, будто какая-то усталость, отчего его лицо сразу помолодело. Искандер говорил с ней, стоя на крыльце Обители Звезд, – ведь надо было договориться об отъезде. Но и через день им не суждено было выбраться из этого города. Выяснилось, что машина неисправна. Искандер не хотел рисковать.

Она вспоминала, как однажды в Обитель пришли люди, одетые в алые одежды, и Искандер сказал ей, что они из долины Багряной Реки. Какая-то особая интонация в его голосе заставила ее насторожиться и спросить с наигранным безразличием:

– Долина Багряной Реки? Что это?

Но Искандера не проведешь. Он понял, что она, как гончий пес, сделала стойку. Она даже имела глупость повторить это название на его языке. Ее наивное желание показать, что она может понять смысл того, что ей (по его мнению) не должно быть понятно, сразу его насторожило. И это было неосмотрительно с ее стороны. Она поняла, что сделала ложный шаг. Понимание смысла этих слов открывало путь к другим вещам. А, может быть, и не только к вещам. Явка была бесповоротно провалена, и Искандеру надо было защищаться. И делал он это отчаянно. Сейчас ему надо было, не дав ей опомниться, оглушить ее нелепыми рассказами о тамошних жителях, о красного цвета земле, о «дурном ветре», дующем со стороны сопредельного государства, несущем с собой песчаную бурю, перед которой теряют разум. Но за всеми этими рассказами, в принципе, достаточно нейтральными и полными внешней экзотики, она почувствовала что-то другое.

На самом деле не столь уж случайно она повторила название этой реки на его языке, попав, таким

образом, туда, куда, с точки зрения лингвистически хорошего тона, не должна была и заглядывать. Как же яростно защищал он свою долину Багряной Реки от такого беспардонного взлома!

Да-да, она не подобрала шифр, а просто вломилась туда, и когда он понял, что всё уже произошло, она уже была внутри и считала, что теперь может там разгуливать, как в завоеванной стране (а это и был ее блицкриг, ее молниеносное завоевание), и когда он понял, что изменить уже ничего нельзя, этот немногословный от природы человек начал говорить...

Она никогда не слышала, чтобы он так много говорил. Когда они вдвоем стояли в том коридоре, а ее соотечественники так растерялись, что даже не пригласили его войти. Она сама вышла к нему и, опершись на мгновение на его руку, взлетела на подоконник. Он говорил, сплетая слова ее и своего языка.

Они всё время попадали в ловушки, расставленные разделением на язык и диалект. Иногда, если это касалось чего-то, непосредственно связанного с культурой, назвать это диалектом было серьезным нарушением этикета, хотя диалект, присвоивший себе многие слова из языка (которые даже сохраняли то же самое звучание), не спешил не только с ними расставаться, он усиленно сопротивлялся самой мысли о том, что эти слова в языке могли иметь совершенно другое значение. Поэтому даже само выражение «в языке», или «на языке», сказанное человеку, самому говорящему на диалекте, означало для него почти что непристойность; более того, со стороны иноплеменника это могло восприниматься как попытка унижить собеседника, обозначив его, таким образом, как объект какой-то второй и подчиненной культуры (что он воспринимал, естественно, как надменность) и знания о нем чего-то большего, чем он сам о себе знает. Это как бы делало его незаконным детищем своей земли, своего рода, своей истории и своей культуры, которая объединяла язык и диалект и лишала, следовательно,

возможности рассматривать свой язык как некий свободный дар, способный быть понятым и принятым кем-то другим, отличным от него самого.

Вот так звучали их слова в Обители Звезд, когда каждый старался выследить другого: ее слегка глуховатый голос и вкрадчивые интонации с небольшой остановкой перед чужими согласными Искандера:

– Хочешь, я поеду с тобой в долину Багряной Реки?

– Но там... (Этот сумасшедший разгон перед каждой согласной.)

– Я буду тебя слушаться!

– Ты только так говоришь...

Этим ее обещаниям он не верил ни на грош. Наверное, ей надо было просто взять да сказать ему так:

– Послушай, Искандер, мне твоя долина Багряной Реки нужна так же, как и тебе. Давай честно поделимся.

Может, в глубине души он ждал чего-то такого, но она предпочла диалект, а не язык, чем поставила его в довольно затруднительное положение. Он понял, что она не хочет ничего знать заранее; и ему от этого стало немного грустно, как бывает грустно всегда, когда кажется, что можно легко прочесть чужие мысли. Нет, делиться он не собирался.

Его долина Багряной Реки. Разве не было безумием предположить, будто можно туда отправиться вот так запросто, как это собирался сделать он сам, будто красная земля вообще может разделиться в себе как падшее царство. А она не хотела заключить с ним даже временный пакт о сотрудничестве и ненападении, предпочитая говорить на диалекте чувств, а не на языке веры. Поэтому ее обещаниям он не верил ни на грош.

Не слышать – не говорить – не видеть

Улучив удобный момент, когда маленький художник-копиист не мог видеть движения его губ, Искандер сообщил мне, что тот глухонемой.

Мы стояли в центре раскопанного древнего помещения, где прямо на земле лежала фреска, на которой была изображена женщина с высокой прической; на ней было множество разнообразных украшений: бусы, на полноватой, но гибкой и высокой шее; длинные серьги-подвески в удлинённых и словно чуть-чуть подпухших мочках ушей; бронзовые застёжки в форме цветов лотоса на платье перламутрово-розового цвета.

Маленький художник-копиист стоял на коленях перед этой фреской, его голова была повязана грязным полотенцем; он то склонялся над фреской, словно желая до мельчайших подробностей запомнить всё, что было на ней изображено, чтобы в следующее мгновение, обмакнув кисточку в стоящую рядом с ним банку черной краски, быстрыми и точными линиями нанести на натянутую на планшет белую бумагу контур рисунка. Можно было подумать, что без всяких приспособлений для моментальной съемки он мог так настраивать свой глаз, что его копии, по сути, представляли собой моментальные фотографии.

Заметив нас, он поднялся, с приветливой улыбкой протянул мне руку, прежде чем Искандер назвал его имя.

Он смотрел на нас, продолжая улыбаться. Его лицо с неправильными чертами сияло. Определить его возраст было затруднительно.

Стало быть, маленький копиист был глухонемым. Скорее всего, именно этим объяснялось сияние его улыбки, словно повторяющее улыбку женщины с высокой прической, изображенную на фреске, которая сейчас лежала у наших ног.

Чтобы не терять даром времени, было решено тут же начать зарисовывать погребение, обнаруженное в одном из помещений раскопанного буддийского монастыря, куда я с большим трудом проникла, так как лезть пришлось через еще не полностью расчищенный рабочими оконный проем. В этом почти квадратном помещении на небольшом глиняном возвышении

лежало несколько скелетов с вытянутыми вдоль тела руками. Рядом с ними я заметила останки какого-то животного, челюсти которого были усеяны острыми зубами. Искандер считал, что это скелет лисицы; она каким-то образом проникла в это помещение и, не сумев выбраться, в конце концов погибла от голода и жажды.

Я принялась за работу, но вскоре почувствовала невыносимую головную боль, которая стала меня терзать оттого, что я утром не позавтракала. Решив сбежать с Глиняного Холма среди ночи, я с трудом дала себя уговорить Искандеру, который предложил дожидаться утра, чтобы отвезти меня в буддийский монастырь. Я, разумеется, проспала время завтрака, так как сначала никак не могла проснуться, а потом долго собирала свои вещи и когда была готова, все уже позавтракали и надо было уезжать.

Наконец я не выдержала, вылезла наружу и, найдя Искандера, спросила его, нельзя ли чего поесть. Он тотчас же отвел меня в одно из помещений, где сотрудники экспедиции обычно оставляют свой рабочий инструмент: киркомотыги, лопаты, теши, большие кисти для расчистки, бутылки с различными составами для закрепления найденных фресок. Там он поднял какую-то ткань и дал мне гроздь прекрасного черного винограда и небольшой белый хлебец местного производства.

Вернувшись в помещение, где возлежали «мои» скелеты, я заметила, что по соседству несколько студентов-историков трудятся над расчисткой погребения, в котором находились останки девочки-подростка. Возле ее правой руки лежала позеленевшая от времени медная монета, а около запястья – россыпь разноцветного бисера и мелких бусин. Там же находилось медное зеркало, треснувшее, очевидно, еще в древности.

Мы с маленьким копиистом трудились над зарисовками скелетов и копированием фресок, я время от времени на него поглядывала, и мой взгляд постоян-

но встречал словно навсегда запечатленную на его лице улыбку; подошел Искандер и позвал меня посмотреть на статую, обнаруженную в помещении, где работала другая группа студентов.

Это была скульптура, сделанная из местной разновидности гипса, длиной чуть больше метра, без головы, рук и ног. Она лежала навзничь, лицом вниз, фрагменты кистей рук лежали у нее на спине. Искандер считал, что это какой-то персонаж из окружения Будды. Из-под земли выступали розовые складки одежды, на бедрах был виден хорошо сохранившийся пояс, украшенный многочисленными застегками в форме цветочных розеток. Рядом лежал обломок правой руки, и отдельно – фрагменты когда-то украшавших ее запястья каменных браслетов. От левой руки сохранились лишь пальцы, сложенные в изящный жест приглашения к медитации.

В момент разрушения буддийского монастыря варварами обрушившаяся часть стены отбросила статую в центр помещения и погребла под собой раздробленную на мелкие части голову. На полу сверкали крупницы позолоты, которой была в древности покрыта эта скульптура. Потом Искандер показал мне еще одно помещение, где на стене остались следы фрески с изображением большого черного орла.

Через некоторое время на раскоп пришла машина, которая возила сотрудников экспедиции в приграничный город. Искандер оставил свой рыдван на раскопе, мы сели в кузов, и машина, подпрыгивая на неровностях грунтовой дороги, помчалась. Но, к счастью, вскоре она выехала на стратегическое шоссе с прекрасным покрытием, ведущее в этот приграничный город. Мы проехали мимо Черного Холма возле самой границы сопредельного государства, где когда-то учеными был обнаружен буддийский пещерный монастырь; проехали мимо старой части города, где недалеко от дороги была видна старинная крепостная стена. В отдалении вырисовывались какие-то купола, за ними развалины. Скоро с правой стороны дороги показалось

проволочное ограждение приграничной полосы, и я увидела Багряную Реку и территорию сопредельного государства на противоположном берегу.

Я всматривалась в даль и с трудом различала на другом берегу домики, водонапорную башню, какие-то постройки, похожие на маленькую фабрику, и портовые сооружения.

Вскоре, миновав контрольно-пропускной пункт, мы въехали в приграничный город, который сразу же мне напомнил южный портовый город у моря.

Проехали мимо крепостной стены, построенной моими соотечественниками военными инженерами столетие тому назад, когда здесь было небольшое пограничное поселение. Едем по чистым улочкам, мимо небольших парков и каменных двухэтажных построек казарменного типа.

Машина останавливается перед местным историко-краеведческим музеем, входим во двор и сразу же попадаем в небольшую комнату, которая ранее, скорее всего, служила каким-нибудь чуланом или кладовой. Теперь это директорский кабинет. Но так как директор уходит в отпуск, я буду теперь временно жить здесь.

Я сидела на старом диванчике и слушала рассказ Искандера о каком-то легендарном повстанце. Вскоре с раскопа вернулся маленький копиист; он был вынужден там оставаться почти до темноты, чтобы успеть скопировать все расчищенные фрески, так как утром им с Искандером надо было куда-то уезжать, а я должна была продолжать копирование одна.

Отчет агента К.

Появление нового лица – глухонемого художника-копииста – было неотвратимо, так как оно заложено в развитии самопорождающегося текста, подобного змее, кусающей собственный хвост. На протяжении

всего повествования он сохраняет молчание и погружен в общение с бодхисаттвами, отчего не испытывает никакой потребности в общении с подобными себе. Да и много ли ему подобных существует в этом мире? Если только сам этот мир не подобен ему (а ведь здесь речь идет, прежде всего, о чувствах или о расказе о чувствах).

Зазывающие и чарующие голоса сирен он не слышит, разве что их льстивые речи доходят до его сознания в виде неясного бормотания, – вот откуда вечная улыбка, с которой он этому бормотанию внимает, сам пребывая в средоточии молчания и тишины, и это ему, воистину, – дар неба.

Вернувшись из поездки с Искандером, он идет к девушке, и его молчание – так совершается чудо – превращается в изысканную речь: он берет лист белой бумаги и начинает писать на нем огрызком синего карандаша. Оказывается, он может прекрасно изъясняться на ее родном языке.

В детстве его, как глухонемого, одна благотворительная организация отослала в специальный приют, устроенный в этом месте ее соотечественниками. Но зрения-то он лишен не был, и поэтому там его научили читать и писать на их языке. А заодно помогли развить его подлинный дар – рисовать.

И вот сейчас он заговорил, подобно Валаамовой ослице. Девушка разговаривала с ним, стараясь как можно четче произносить слова, а он читал, как большинство глухонемых, по губам. Это напоминало какую-то жестокую игру, в которую охотно играют дети, но, став взрослыми, стараются поскорее об этом забыть. Неподвижность его языка и раскованность его письма парадоксальным образом соединили диалект и язык и создали нечто иное – письмо. В каком-то смысле о маленьком копиисте можно было бы сказать так: его физический язык не только не утратил присущие ему свойства, а, скорее, даже их приобрел – он стал раздвоенным и тонким, подобно языку змеи, но эта его раздвоенность происходила из одного источника.

Белые листы кончаются очень быстро. Теперь она уже выхватывает из мусорной корзины клочки, потом начинает отрывать полоски от толстой коричневой бумаги, на которой здесь, в кабинете директора музея, как повсюду в мире, лежат собранные образцы материальной культуры. Некоторым из них так никогда и не удастся занять свое место на празднике жизни – в застекленных витринах музеев.

Незаметно для себя она перестает говорить.

Если в начале их безмолвного диалога она задавала вопросы, а он их прочитывал по движению ее губ, а потом писал ответ, то теперь сама она тоже писала; она больше не говорила с ним, а лихорадочно искала какой-нибудь клочок. Кажется, они уже покрыли знаками всё, что только можно, но вот она открывает дверь, выходит во двор и приносит ворох грязной бумаги, что валялась около двери.

Она ему пишет про похороны учителя философии (о причине и обстоятельствах его ухода из этого мира ходили всякие толки), о смерти в зачатом восточном городе; о том, как однажды один военнослужащий с ней так встретился (полагая, что ее нынешний собеседник, маленький копиист, догадается, что историк Искандер в какой-то иной жизни мог вполне оказаться и военнослужащим); про другого философа, который из-за неразделенной любви к прекрасной девушке сначала застрелился, а потом выбросился из окна собственной комнаты одного из самых высоких зданий в мире, в связи с чем начался конец философии, имеющий форму шара; о контаминированном культурой яблоке, засевшем в позвоночнике никому не известного грегуара, незаметно и коварно перекочевавшего в мой собственный позвоночник; о простреленном романе «Зачарованная вершина»; о некоем неназываемом объекте *стреляния*, от которого остались рожки да ножки, воспоминания и пустое место, куда, путешествуя во сне Искандера, она так и не захотела посмотреть, так как смотреть-то было уже не на что, – больше там уже ничего не было, а можно считать, что и самого этого объекта материальной

культуры никогда не было, его, как Всевышнего, никто никогда не видел; об оторванном рукаве молодой женщины с кошачьей фамилией из той же «Зачарованной вершины»; о песчаной буре «Альбертина»; и опять об этих ужасных похоронах в восточном городе, где она встретила Искандера или Искандер встретил ее; о том, как они не могли выбраться из него, чтобы отправиться в долину Багряной Реки; как он, соблазняемый, и она, соблазняющая, жаждали получить причитающуюся каждому долю отравленного яблока и ради этого отравились на Глиняный Холм.

Время от времени она спрашивает маленького копииста:

– Ты понимаешь меня, ты правда меня понимаешь?

Ты действительно понимаешь, что я тебе пишу?

Он кивает головой и пишет: «Да».

Он писал на ее языке без единой ошибки. Почерк у него был столь изысканным и элегантным, что не было бы преувеличением сказать: в самом сердце Востока зарождается совершенно новый литературный жанр, где из столкновения диалекта и языка высвобождается энергия, обещающая быть и тем и другим сразу. В конце концов, девушка напишет ему, что об их разговоре следует написать роман. Он ответит ей, что уверен, что она этот роман когда-нибудь напишет.

Впрочем, роман, расколотый на тысячу осколков, тогда лежал у ее ног.

Она смахивает со стола белые бумажки, они как ночные бабочки кружатся и падают на пол. И вот все запасы бумаги иссякли. Она видит на полу кусочек угля, очевидно, оставшегося с зимы, когда топили печку. Глухонемой художник берет у нее из рук этот уголь. На белой известковой стене появляется надпись:

– Я – его враг. Я ненавижу его.

– А кто его друг?

– У него нет друзей.

В этот момент язык слов исчерпал себя.

Голос овеществленной метафоры – расколотого зеркала (служанки)

Если бы текст этот возник лет эдак через тридцать, а то и пятьдесят после того, как произошли описываемые события, то на известковой стене куском угля, оставшимся от прошлогоднего снега, были бы начертаны иные надписи.

И скорее всего, они возникли бы не на обшарпанной стене бывшего чулана или кладовой, служившей тогда кабинетом директору местного краеведческого музея, а на голубоватом мерцающем экране компьютера. И выглядели бы примерно так:

- Могу ли я считать себя его врагом?
- Думаешь, у него могут быть *такие* друзья, как мы?
- Скорее всего – нет.

Разве вы оба, собеседники молчания, не знали, что вашему разлюбезному Искандеру даже тогда вы – вы оба – не могли быть ни друзьями, ни врагами?

Таким, как вы, его врагами быть нельзя. Разве можно всерьез считать своим противником того, кто от вас, в определенном смысле, отделен целой эпохой. К нему, наверное, правильнее было бы относиться как к порождению вашей собственной фантазии, проекции, тотемному предку, даже если предположить, что этот предок что-то знает о вас, стремится к вам, любит вас; если даже, наконец, предположить, что он столь совершенен и столь реален, что даже может позволить себе придумать миф о какой-то цифровой цивилизации...

Нет, это *такие*, как вы, создают цивилизации, где живые человеческие чувства говорят на языке цифр. Это для вас образ совершенства заключается в том, чтобы вытеснить всё личное и частное и считать превосходством своей цивилизации вашу способность мужественного описания всяческих замечаний и стираний следов. Вы переводите запись героических

деяний машин в двоичный код, где нет места ни уникальному, ни личному, ни штучному, ни неповторимому, и вам действительно безразлично, кем были и на каком языке говорили ваши предки-машины.

Восток цивилизованного фанатизма Искандера всегда умел себя отстаивать противоположным способом. Своей кажимостью, видимостью открытости он заставлял задаваться вопросом о различном видении самого источника творческого начала для любого вида деятельности. Для него как для человека Востока это могло произойти лишь в момент осознания себя не как личности, но как клетки родовой ячейки.

В этом заключается одновременно и его сила, и его слабость. Когда рухнули веками возводимые стены, этот Восток взглянул на Запад, и взгляд его обернулся яростным порывом отторжения от Запада, в котором (сам того не желая) он видел реальную угрозу для себя. И тогда Восток обратился к собственным открытым, ярким и неоцифрованным чувствам, выразив их в цивилизованном фанатизме, своеобразной вере, в чем он видел единственную надежду на спасение от собственного раскаленного бесчувствия, в котором уже становилось невозможно существовать.

Этот Восток вдруг начал ощущать время, в неприятии которого состояла вся его древняя мудрость.

И теперь в созидательном разрушении надеясь спасти рухнувшую стену, он пытается подновить *Ворота*, кое-где закрепить кирпичную кладку, – но что дадут эти несколько новых кирпичей, если даже невозможно предположить, где появится следующая трещина?

Если бы он решил начать всё с новой страницы и дерзнул разрушить до конца уже рушащееся и выйти на другую дорогу, даже если она окажется, с его точки зрения, проселочной...

Можно представить себе, как сегодня этот Восток сам напуган собственными открытыми чувствами, а точнее – их неизбежной оцифровкой в будущем.

Мерцающий экран, в отличие от бумаги, которая, вопреки всеобщему мнению, не всё стерпит, стерпит всё.

Для него, этой машины оцифрованных чувств и памяти, в самом деле, с точки зрения политкорректности, нет запретных тем.

Глава девятая

Рассказ ищущего истину (при помощи спутниковой связи)

Я опять задремал, и мне показалось, что кто-то смотрит на меня, по-моему, от этого я и проснулся. Я отсутствовал лишь несколько мгновений, всего несколько мгновений. Я увидел ее лицо, освещенное неверным светом уличного фонаря.

– Ты говорил во сне, кажется, ты произнес имя знаменитого поэта.

И она называет это имя.

Я вспоминаю, что с ним связана одна туманная и малоизвестная легенда, на следы которой намекают комментаторы нашей Священной Книги. Некоторые бродячие музыканты почитают его за святого. Считается, что он владеет тайной бессмертия и вечной молодости.

Какое ей до этого дело?

Я посмотрел вверх – всюду была зелень, сквозь нее с трудом пробивались солнечные лучи. Они освещали верхние ветви, а потом словно тонули в глубокое колодце, так и не дойдя до меня. Всяду был глубокий, постоянно меняющийся и принимающий тончайшие оттенки этот цвет жизни, вносящий в душу покой и умиротворение.

Куда девался уличный фонарь, ночь и песчаная буря? И снова ее голос:

– Ты мне начал что-то рассказывать о подземной пещере, в которой живет солнце после заката, об умирающих и воскресающих богах, о Верховном божестве, о солнце-боге, об одном из стихов вашей Священной Книги, где речь идет о каком-то удивительном духе, способном исполнять все желания...

– Там было сказано, что этот дух однажды, идя своим путем, пришел в то место, где заходит солнце; там он увидел, что оно закатывается в колодец с черным илом...

– С черным илом?

– Подожди, он спустился туда и встретил там людей, потом пошел дальше и после многих странствий дошел до места, где восходит солнце...

– Значит, Верховное божество, о котором ты говорил, и есть это солнце: оно идет к месту заката и идет к месту восхода.

– А юный дух, обреченный на вечную молодость, ходит вместе с солнцем, никогда не уставая, и так из века в век, тысячелетие за тысячелетием...

– Да, так они идут и идут. По морям и землям, советчики благочестивых, мудрецы в делах божественных, и оба они бессмертны.

– Но ведь некоторые древние комментаторы отождествляют этот дух еще с одним бессмертным, который вознесся на небо в огненной колеснице...

– Как тот студент из Праги, а еще раньше – буддийские монахи...

Не знаю, сколько времени просидели мы с ней в этом полумраке, слушая свист ветра; от жары и духоты я, похоже, опять задремал.

Ко мне подходит молодая девушка с золотистой кожей. Ее лицо кажется мне странно знакомым. Она улыбается и смотрит на меня в упор. Затем легонько дотрагивается указательным пальцем правой руки до моего подбородка и говорит, стараясь заглянуть мне в глаза:

– В тебя сегодня вселился шайтан, Искандер!

До меня, словно издалека, доносится ее голос:
– Чему ты всё время смеешься, Искандер? Опять поэт?

Ей, по-видимому, нравится называть меня по имени. Она сидит рядом со мной и с недоумением смотрит на меня. У нее золотистая кожа, и лишь это придает всему происходящему хоть какое-то правдоподобие.

Наконец заросли дуба кончились, и мы вышли на высокогорное плато, совершенно лишенное растительности и каких бы ни было признаков жизни. Тропинка неожиданно прервалась, и мы оказались на неровной каменистой почве. Мы продолжали идти всё дальше на восток, где вырисовывались нагромождения скал, похожие на развалины древнего города. Солнце наконец исчезло, но сохранялось ощущение его гнетущего присутствия. Жара наваливалась и давила всей своей невидимой массой, затрудняя дыхание. Поднимался ветер; она шла впереди, немного наклонив голову; от земли исходил жар и слышался какой-то странный гул. Это мельчайшие частицы песка, следы тысячелетней разрушительной работы ветра и солнца поднялись в воздух и, увлекаемые порывами ветра, бились о камни, заполняя всё вокруг каким-то ноющим и монотонным звуком. Он всё нарастал и усиливался.

Она ускорила шаг, стремясь как можно скорее добраться до *ворот*, образовавших что-то вроде полуобвалившейся арки. Это был единственный проход в горной цепи, вздымавшейся в небо своими острыми зубцами.

Задышавшись, вошли мы под каменные своды и остановились.

Сейчас песчаная буря разбушевалась вовсю: в небо летели столбы песка; они кружились, распадаясь на несколько ствол, потом снова соединялись и исчезали в серой мгле. Жар доходил даже сюда – под каменную арку.

Ее чуть глуховатый голос:

– Это дурной ветер «ямон шемал», от которого те-
ряют разум.

Почему она, уж в который раз, произносит эти слова на моем языке?

Я смотрю на нее: она стряхивает пыль со своей одежды, пытается вытряхнуть песчинки из длинных волос.

Что-то попало ей в глаз, она трогает кончики ресниц, пытаясь оттянуть верхнее веко, чтобы, зацепив им за нижнее, извлечь песчинку.

Чтобы убедиться в реальности ее существования, я говорю ей:

– Давай лучше я, – сейчас я протяну руку и дотронусь до нее, и вот я кладу на ее лоб ладонь, поворачиваю к себе ее лицо, подушечкой пальца другой руки легко касаюсь соринки, притаившейся в уголке глаза и успевшей уже расцарапать до розового цвета белок, и осторожным и быстрым движением извлекаю из ее глаза этот микроскопический кусочек кварца.

Я вижу, как ее глаза заполняются прозрачной, как кристалл, жидкостью, эта влага собирается на ее ресницах и дрожит на них сверкающими каплями.

Ветер задувал в арку, вздымая у входа едкую пыль, и бросал нам в лицо каменную крошку.

– Пойдем скорее отсюда, – просит она, и мы словно входим в каменную толщу горного хребта, где любое движение прекращается и наступает покой и тишина.

Она встряхивает волосами, крутит головой, стараясь стряхнуть с себя песок, который от этого еще глубже проваливается под одежду.

**Ее одежду, его одежду;
в какой-то момент они словно сошли с ума**

Ее одежду, его одежду; в какой-то момент они словно сошли с ума и начали обмениваться одеждой, вещами, писать друг другу записки и оставлять их под археологическим находками, и никто не осмеливался

тронуть эти листочки, на которых не было ровным счетом ничего, кроме вздора.

Вот и сейчас на ней был его свитер, и его плоские часы-браслет отмеривали время на ее запястье.

Они развлекались, стараясь смутить окружающих, заявляя во всеуслышание, что хорошо было бы таким же манером обмениваться телами, что приводило всех в замешательство, так как звучало двусмысленно и почти неприлично.

Однако было бы неверно полагать, что у них обоих в отношении обмена телами было уж такое крошечное неведение. Скорее всего, кроме физической стороны, они в этом видели еще и мистическую, а здесь уже требовался другой опыт и диалог на ином языке, превышающем все возможности как диалекта, так и языка.

Не переводя дыхания

Оказавшись невольным свидетелем последствий бумажной бури, Искандер далеко не всегда и не во всех своих жизнях непременно оставался *ищущим истину*. На самом деле, в большинстве случаев он ее не только не искал, но, скорей, от нее по мере возможности уклонялся. Обычно истина сама находила его. Иногда даже, как в этот раз, при помощи спутниковой связи.

Вот и сейчас звук какого-то голоса возвращает его к действительности. Одно движение: *четыре-три-два-один-ноль-ПУСК*. Вспышка.

Он отдергивает руку от кнопки пускового механизма, словно она сделана из раскаленного железа, ощущает резь в глазах и сухость во рту, перестает что-либо слышать и видеть, и неизмеримая горечь наполняет всё его существо.

Его истина сейчас лежит перед ним, на земле, вниз лицом, ее голова оторвана, раздроблена на мелкие части и отброшена на несколько шагов, а маленькая изящная кисть руки оказывается у нее на спине.

– Искандер, в тебя вселился шайтан.

Утром Искандер вошел во двор музея, постучался в дверь комнаты, где ее оставил накануне; девушка должна была здесь переночевать.

В первый момент он, казалось, лишился дара речи: в комнате царил неопиcуемый хаос. Маленькое помещение было завалено бумажными листами, листочками и обрывками листочков, исписанными огрызком синего карандаша; они в беспорядке валялись на столе, на подоконнике, на полу. Корзина для мусора тоже была переполнена; некоторые археологические находки, предназначенные для выставки в музейных витринах, были выдернуты из бумажных пакетов и валялись на полу. Сами же пакеты были располосованы на длинные ленты и тоже исписаны. На стене надпись, нацарапанная углем. Комната совсем не походила на кабинет директора историко-краеведческого музея.

На электрической плитке булькал закопченный чайник. На столе среди обрывков бумаги стояло несколько восточных чашек без ручек, немых, со следами зеленого чая; не одна, не две, а несколько, хотя в комнате находилось лишь два человека: девушка и маленький копиист. Они вдвоем сидели на диване и курили папиросы. Картину хаоса довершали валявшиеся в этом опасном соседстве с бумагой окурки и разорванные пачки папирос – и на них тоже было что-то написано.

Искандер, с раздражением что-то проговорил. До нее донесся конец его фразы:

– ...Художники... Даже стены изрисовали!

Отчет агента К. о бумажной буре в пустыне

(Начинается первой фразой из «Превращения». Обнаружить.)

Я почувствовал, как отчаянно болело ушибленное при падении колено; сейчас оно опухло, и малейшее

движение причиняло мучительную боль. По моему телу ползли струйки пота, они тут же смешивались с грязью и высыхали, покрывая тело жесткой коркой, отчего мне казалось, что я постепенно превращаюсь в какое-то насекомое и покрываюсь хитиновым покровом; все мои чувства и ощущения тоже куда-то исчезали – я видел, как они уходят, убывают и отмирают.

В данный момент действительность обрушилась на меня в виде этой комнаты, заваленной бумагой, исписанной огрызком синего карандаша, моей боли и воя песчаной бури «Альбертина»; тщетно пытался я искать среди всего этого ужаса и разрушения маленький оазис покоя и безопасности.

Я чувствовал, как постепенно этот окружающий меня хаос перестает быть нашествием враждебных сил; вот он уже заполнил меня всего, стал моей новой сущностью, неотделимой от меня. Моя кровь кипела, словно огонь носился по моим венам, выпаривал мою кровь, иссушал мою плоть и прекращал мое существование.

Меня лихорадило. В ушах гудело; казалось, весь этот гул от тысячи песчинок, поднятых в воздух, звучал внутри меня; он закручивался в спирали, раскручивался, носился по замкнутому кругу, словно не находя выхода.

Я с трудом сознавал, что со мной происходит. Мои ощущения пространства были неопределенны и смутны, если это вообще были настоящие ощущения, а не воспоминания о них.

Казалось, «Альбертина» перешла вовнутрь, наполнив всего меня этим раскаленным бесстрашием, я совсем потерялся, растворился в ней, стал с ней единым целым. Я потерял всякую уверенность в чем бы то ни было; может быть, даже в собственном существовании. Мне казалось, что тонкая нить, связывающая меня даже с этой недостоверной реальностью, вот-вот порвется и я окажусь где-то вовне, снова засну и мой сон наполнится жарким дыханием ветра, боли и чувством неизмеримой горечи.

Вижу: Искандер входит в комнату, останавливается.

Пораженный увиденным, он на мгновение лишается дара речи.

Лицо его чуть побледнело, но в ту же секунду он, очевидно, взял себя в руки, улыбнулся и совершенно спокойным голосом сказал:

– Скорее уберите всё это.

Девушка и маленький копиист вскочили со старого диванчика, на котором сидели и курили папиросы, и засуетились. Где-то обнаружился истрепанный веник, размером с девочку; они стали сбрасывать обрывки бумаг, исписанных огрызком синего карандаша, на пол и заматывать в кучу. Через некоторое время всё было убрано. Они свернули весь этот мусор в большой ворох, вытащили во двор музея и подожгли. Вскоре всё превратилось в маленькую кучку пепла, раздуваемую ветром.

Искандер подошел к ней, дотронулся указательным пальцем до ее подбородка и, приблизив этим жестом ее лицо к своему, заглянул ей в глаза:

– Этой ночью в тебя вселился шайтан. Больше тебе здесь находиться нельзя.

И, даже не взглянув на маленького глухонемого копииста, быстро ушел.

Я с поразительной отчетливостью вспоминаю все движения этой странной пары. Хотя теперь думаю, что всё происходило так, но не в таком порядке. Она дотронулась до его плеча, он опустил голову, чтобы подбородком коснуться ее руки, ее нежной золотистой кожи, и закрыл глаза. Я услышал ее слова:

– Кажется, в тебя этой ночью вселился шайтан, Искандер.

Очевидно, ей нравилось называть его по имени.

Звон в ушах прекратился, он словно уплыл куда-то в сторону и там затих. Я почувствовал, как меня наполняет тишина, как она проникает в самую глубину моего существа, охватывает всё мое существо, растворяет

меня в себе, и я сам становлюсь этой тишиной, живу ее дыханием – прохладным и сильным. Я, наконец, смог свободно вздохнуть полной грудью, боль в колене утихла, и я волен теперь свободно передвигаться или оставаться на том же месте.

Она опять листала и листала тетрадь

Она опять листала и листала тетрадь, надеясь найти что-нибудь особенное, чем можно было заинтересовать Искандера. Впрочем, ничего она не искала, она слишком хорошо знала, что именно хотела ему прочесть. Наконец она нашла нужный отрывок:

– Теперь твоя очередь, читай.

«А сейчас ее истина лежала перед ним в виде груды бумажек, исписанных огрызком синего карандаша. На одной из этих полуразорванных бумажек был ее рисунок, сделанный акварелью: уменьшенная копия фрески – Будда с золотыми ногтями, созерцающий собственный пуп.

Вознесшаяся в небеса в виде огненного урагана истина оказалась не долговечнее испорченного рисунка; видно, он случайно завалился под стол и избежал общей участи.

Стало быть, существовало несколько версий, описывающих события этих дней и ночей, и существовал ночной текст, уничтоженный в то злополучное утро, когда после сожжения вороха бумаги ценой огромных усилий ей и маленькому копиисту удалось вернуть стене первоначальный вид. Но какая же из оставшихся версий правдоподобнее всего описывает имевшие место события? И в какой именно момент собственный грегуар сообщил Искандеру о том, что Будду надо убить и притом сделать это незамедлительно?

И в какой из своих жизней *ищущий истину* в тот злополучный день пользовался системой спутниковой связи?»

Искандер замолчал, чтение прекратилось. Она как ни в чем не бывало листает тетрадь: – Смотри, тут опять про тебя.

«Мы вернулись на Глиняный Холм.

На этот раз мне пришлось расчищать погребение женщины, овальное отверстие в глинобитном полу, глиняный саркофаг с керамической посудой – вазами, сосудами, кубками, чайниками. Телесность глины тонкостенных сосудов, на которых под руками искусных мастеров древности сама земля принимала разнообразные оттенки неба – розовые, голубые, лазурные.

Рядом остов, „лицо“ которого закрыто бронзовым зеркалом. На сложенных вместе и прижатых к черепу запястьях – гладкие бронзовые браслеты. Около него дорожка из бусин – сердолики, бирюза, кусочек ляпис-лазури, украшенный какими-то знаками, напоминающими птичьи следы. Белые пронизки из гипса с точечным орнаментом, украшения из коралла и какого-то неизвестного мне темного камня. Мелькнул небольшой красноватый камень с грубо просверленным отверстием: это рубин или лал. В одном из больших керамических сосудов саркофага обнаружился бронзовый кувшинчик для сурьмы, краски для бровей, ресниц и глаз черного цвета растительного происхождения. Он был запечатан гипсовой пробкой. Рядом с ним женские шпильки для волос и бронзовые палочки-растушевки.

Искандер медленно вынимает из погребения керамические сосуды, с нежностью касаясь руками их теплой, слегка шероховатой поверхности; потом торжественно передает их мне, словно совершает какой-то только ему одному известный тайный ритуал. Затем он наклоняется и, встав на колени, собирает в сероватой пыли пестрые бусины ожерелья, очищает от налипшей земли сосуд для сурьмы.

Сейчас, когда каждая пара рабочих рук на счету, он попросил меня собрать ожерелье из этих камней,

считая это женской работой и полагая, что тем самым дает мне возможность избежать тяжелого и опасного труда на раскопе.

В самый центр ожерелья я поместила розоватый коралл, украшенный орнаментом из мелких точек, выбитых на его теле, рядом с ним – рубин цвета молодого вина, затем каменные листья ляпис-лазури с белыми прожилками: они были парными и составляли великолепное обрамление для двух сероватых пронизок из гипса. Эти камни цвета меда великолепно сочетались с темными бусинами из неизвестного мне камня. Ближе к застежке из старинной бронзы я снизила три нити мелких пестрых бус из бирюзы, сердолика и лазурита.

И вот Искандер держит в руках собранное мною ожерелье; отблески вечернего солнца играют на рубине, великолепном камне цвета огня и крови, цвета жреческих и царских одеяний, особого цвета, что из множеств и подобию выделяет нечто уникальное.

Лучи заходящего солнца усиливают розоватый цвет коралла, скользят по лазуритовым листьям, подчеркивая объемы выбитых на них знаков (смысл которых он так и не сумел мне объяснить); эти лучи наполняют мягким светом теплый мед сердоликовых бус.

Пока Искандер смотрит на пеструю связку бус, я пытаюсь понять, почему он попросил меня заняться этими бусами: уйти из пыльного и грязного раскопа и, сидя за столиком в его палатке, собирать ожерелье. Должно же быть какое-то объяснение.

Там я в глубине раскопа обычно долбила тешей твердую землю, опасаясь неловким движением повредить сосуды, что находились в толще слежавшейся глины, – мы тогда снова расчищали погребение. От этой неудобной позы ныли руки и затекали плечи, а неровная ручка теши уже содрала почти до крови кожу ладоней. Лицо мое всё время было покрыто пылью; ее сыпали сверху рабочие, расчищавшие керамические сосуды в стене прямо над моей головой.

Восток Искандера, этот великий идеалист, сейчас упивался совершенством формы, которая с трудом выдерживала собственное содержание, потому что язык описания этого парадокса уже не служил ничему. Он годился разве что для сухого отчета, военной сводки или перечня-каталога, где отмечались найденные на раскопе свидетельства материальной культуры, тогда как мой европейский рационализм, уже отказавшийся от формы и пославший ей вдогонку и содержание, кашлял и задыхался от пыли, которую сыпали мне на голову местные рабочие.

Искандер подошел к нам и сразу оценил обстановку. Он понял, что мне и в голову не придет совершить в этой ситуации единственно правильный поступок: вместо того чтобы просить рабочих быть поаккуратнее и слышать в ответ хихиканье и „я не понимаю“ (хотя я говорила с ними на их языке, но именно это их скорее всего и злило), надо было взять за руку самого младшего из них, мальчика-подростка из приграничного города, и стянуть его вниз, а самой занять его место на стене.

Искандеру пришлось это сделать вместо меня.

Он держал в руках собранное мной ожерелье, меланхолично, словно четки, перебирая разноцветные камешки».

Она листала свою тетрадь и наконец открыла страницу, где текст был написан поверх рисунка. Показала ему:

– А вот знаменитые Ворота Искандера.

– Да, только через них он вошел в эту землю, что лежит по ту сторону Багряной Реки, и дальше пошел на север, а мы тогда покинули ее, проехав на машине через те же самые *Ворота*, направляясь на юг.

– Что же здесь написано?

– Давай читать дальше.

«Я искоса посматривала на Искандера, стараясь, чтобы он этого не замечал, да он сейчас и не обращал

на меня внимания, а следил за дорогой. День угасал; в сумерках мы проехали Ворота Искандера, и это произошло на такой скорости, что я едва успела заметить темные громады скал, высившиеся по обе стороны дороги.

Какое отношение ко всему этому имела я? Или какое отношение всё это имело ко мне?

Отвернувшись от Искандера, я прижалась к запыленному окошку и смотрела в темноту, мысленно разговаривая с ним.

Боюсь, что твое заблуждение состоит в том, что ты сделал для себя главным то, что могло быть лишь фоном, лишь театральной декорацией, и пытался заставить меня в это поверить. Этот заклятый восточный город, из которого мы никак не можем выбраться, его завораживающая красота разрушения лежит по ту сторону, там, где всё дробится, переливается, подобно сумасшедшим стихам бродячих поэтов: при их чтении создается ощущение, что ты всё время срываешь со слов всё новые и новые покровы, пытаешься добраться до последнего, – и в тот момент, когда падает и этот последний, ты опять оказываешься вовсе не по ту или по эту сторону, а остаешься где-то между ними – в точке полного бездействия и раскаленного бесстрастия, в пустоте, в которой заключены обе эти стороны и где „та“ ничем не лучше „этой“; этот заклятый восточный город, где всё было пропитано дыханием смерти, и сейчас не выпускает нас.

Ты водил меня по лабиринтам своего бесконечно далекого мне языка, соблазняя меня им, верил сам и пытался заставить и меня поверить в то, что это и есть то единственное, что подходит и соответствует какому-то ожиданию во мне. Однако даже здесь были свои бастии, воздвигнутые против меня всей твоей культурой. Той точкой возврата (или невозврата) было для меня ощущение страшной пустоты, когда я была „еще не“ или „уже за“ пределами ее. И так зависнув в этой точке, сама я отчужденно и бесстраст-

но любовалась многослойным пространством твоих словесных орнаментов, вслушиваясь в волшебные звуки произносимых тобой „с разгона“ согласных и удлинённых гласных; даже мелодии сельских бродяг-музыкантов, которых мы слушали вдвоем, казались музыкой, звучащей по ту сторону или за пределами звука; казалось, что эту музыку можно даже не слушать; она внезапно прекращалась и, пройдя точку возврата, снова возобновляла свое звучание по ту сторону звука, и единственный результат всего этого был такой отходняк, что звучание твоего языка надо было продолжать слушать дальше и всё в больших дозах, уже просто для того чтобы поддерживать собственное существование, не зная, как выйти из тишины этой остановки звука внутри самого звука.

Немота величественных синих гор рядом с рекой, Текущей Золотом, хранила в себе бесхитростную и волшебную речь маленького мальчика, замершего, как на стоп-кадре, в момент восхода солнца; а глиняные холмы в долине Багряной Реки были неотделимы от прилепившихся к ним полуразваленных домишек, в которых жили их обитатели в драной одежде, также хранители этой речи.

Попробуй, скажи им, что можно говорить, думать, жить как-то иначе! Они вцепились в эту красную землю, вгрызлись в нее, стали сутью этого пейзажа, этого события, этого повествования.

Сколько раз мне хотелось бросить всё это и просто пойти куда глаза глядят, преодолеть эти невидимые *ворота*, взлетев над ними на собственных волосах, и впрямь оказаться по ту сторону. Но пока мое стремление приобщиться к мистике изысканной мысли бродячих поэтов выражалось в том, что я не только перестала умываться по утрам, но даже причесываться.

И вот, вместо того, чтобы взять в руки рулетку и идти обмерять стены раскопанных построек и собирать кости твоих далеких предков, сижу я у входа в твою

оранжевую палатку и с тоской смотрю туда, где начинаются хлопковые поля, где в мареве зноя виднеются холмы. Сажу и смотрю, как над Глиняным Холмом появляется золотой диск.

А мне хочется сейчас только одного – бежать, бежать без оглядки и никогда сюда больше не возвращаться. Руки у меня до локтей измазаны краской, ногти, хоть и выкрашенные хной, но длинные и черные, а на шее – низка черно-белых местных бусин-оберегов. Но пока я сажу и размышляю о том о сем, что мне делать, куда идти, ты приходишь вместе с рабочими и всех зовешь в свою палатку.

На столе лежит череп, который ты просил меня зарисовать, чего я не сделала, так как весь день у меня ушел на съемку плана с раскопа. Этот лабиринт сначала мне пришлось зарисовывать, сидя на стене, на высоком и открытом всем ветрам месте, и у меня всё время отрывалась от планшета бумага.

Ты подходишь к столу, осторожно отодвигаешь мои рисунки и, даже не взглянув на череп, достаешь из кармана куртки спичечный коробок.

Я очень удивилась: ведь ты не куришь. Открываешь коробок, показываешь всем, что там, – а там лежит перстень-печатка. Ты говоришь, что это очень редкая и ценная находка. И что вещь эта, печатка с изображением дельфина, явно не местного происхождения. С этими словами ты протягиваешь перстень мне, я осторожно беру его, чтобы как следует рассмотреть.

В самом деле, на темно-красном овальном камне вырезано изображение дельфина; может быть, это была какая-то другая рыба, но ты настаиваешь, что здесь изображен именно дельфин. Сама не знаю, каким образом этот перстень вдруг оказывается у меня на пальце, может быть, ты сам незаметно мне надеваешь его на безымянный палец правой руки. У меня по спине пробегает холодок, я понимаю, что теперь сама не смогу его снять. Но словно ничего не произошло, продолжаю болтать, со светской небрежностью поддерживая какой-то ученый разговор, слегка дви-

гая рукой, стараясь незаметно для окружающих дотронуться другой рукой до кольца, чтобы выяснить, смогу ли я всё-таки его снять. Палец катастрофически опухает, а мне становится ясно, что шансы избавиться от перстня не привлекая всеобщее внимание равны нулю. Вдруг я замечаю, что глаза твои внимательно следят за каждым моим движением. Разговоры продолжают. Ты объясняешь рабочим, что им следует делать дальше, показывая им что-то на старинной военной трехверстке. Вдруг все вы уставились на меня, а кто-то из рабочих спросил: „Что с тобой?“ Очевидно, я сильно побледнела. Словно изда-лека до меня донесся твой голос:

– Здесь очень жарко, скорее выходим отсюда!

Выхожу последней, молча показываю тебе свою руку с кольцом. Ты даже не взглянул на меня.

– Потом, потом...

Когда все ушли, я попробовала стащить кольцо силой, отчего палец распух еще больше. Нет, так мне его не снять. Вот так я и сидела на складном стуле. За мной в оранжевой палатке на столе лежал незарисованный череп. А на опухшем от жары пальце было кольцо с дельфином.

Через некоторое время ты вернулся. Я протянула руку со злополучным перстнем и в ожидании, что ты сейчас причинишь мне боль, зажмурила глаза.

Перстень лежит на твоей ладони, вся она покрыта шрамами и царапинами. Ты убираешь перстень в коробок и кладешь его в карман. Мы оба смеемся. Ты на меня как-то странно смотришь и целуешь меня в щеку.

Я перестала смотреть в боковое окно, так как там ничего не было видно. Взглянула на Искандера – он не отрывал глаз от дороги. Фары выхватывали из темноты только небольшой кусочек шоссе».

Но и это было далеко не всё, что я хотела ему тогда прочитать.

Хитросплетение языков и растворение смыслов

Он открывает глаза, каменный свод навис над ним, и всем своим существом он ощущает тяжесть много-тонной скальной породы.

Ее чуть глуховатый голос – девушка что-то говорит во сне. Он приподнимается на локте. Садится, стараясь рассмотреть в темноте ее лицо; она тотчас же открывает глаза, проводит по лбу рукой, словно стараясь прогнать какое-то наваждение.

– Ну, что же ты видел на этот раз?

– Да ничего особенного, даже точно не помню, мне приснилось, будто я стоял у какого-то ручья... Он переливался всеми цветами радуги, и вода его была такой прозрачной, что на дне можно было рассмотреть разноцветные камешки.

– Как в ожерелье?

– Нет... Золотистые песчинки играли под лучами солнца, пузырьки воздуха тонкой струйкой поднимались вверх. Я смотрю вдаль, прислушиваюсь, и до меня доносится заунывный несмолкающий шум.

Помню: морской берег, далеко уходящие вдаль песчаные косы, выброшенная на берег и перевернутая лодка, мы с тобой поднимаем ее, подталкиваем к воде.

– Это всё из-за того перстня с дельфином. Разве ты когда-нибудь видел настоящее море, или только в кино?

– Слушай дальше. Я сажаю тебя в лодку, разгоняю ее по мелководью и, когда вода доходит мне до колен, прыгаю в нее. Поднимаю багор со дна лодки, отталкиваюсь им от песка, – и вот мы уже на глубине, теперь дна не достать. Я кладу багор на дно и беру за весла. Равномерные всплески воды. Скрип уключин, мы всё дальше и дальше удаляемся от бе-

рега. Скоро он совсем исчезает из вида. Теперь уже видна только цепь далеких гор, раньше, с прибрежной полосы, невидимых, а мы всё плывем и плывем. Постепенно берег совсем исчезает, кругом только море. Становится ощутимым увлекающее лодку мощное подводное течение. Я бросаю весла; лодка бесшумно скользит по водной глади. Неожиданно она начинает крутиться на месте; сначала плавно описывает большие круги, потом круги становятся всё меньше и меньше, а движение быстрее.словно кто-то ее подталкивает к определенному месту; потом лодка останавливается, словно наткнувшись на какое-то подводное препятствие. Я встаю и прыгаю в воду.

– И тебе не было страшно? Ведь ты видел море только в кино, ведь это так много воды...

– Тяжесть собственного тела мгновенно увлекает меня в глубину. Но вот мои движения замедляются, я даже решаюсь открыть глаза и вижу, что парю над долиной, поросшей зеленой травой; какие-то существа, похожие на гигантских птиц, беззвучно проплывают надо мной, их плавники-крылья лениво и ритмично двигаются, они скользят надо мной и исчезают неизвестно куда. Я же плыву над этой долиной, подводные растения обступают меня, всё движется, колеблется, и в этом движении есть какая-то завораживающая монотонность; я вижу подводные камни, проплываю между ними, вот растения кончились, а подводная долина становится пустыней, а я всё плыву и плыву над этой пустыней. Впереди появляется какой-то странный свет, он всё приближается, или это я приближаюсь к нему, он превращается в большое световое пятно, и вот наконец оно – настоящее сияние. Я протягиваю к нему руку, и словно тысяча игл одновременно впивается в нее. Вода сразу же меняет свой свет, наверное, это цвет моей крови. Перед глазами пляшут световые блики, и тут я птицей взмываю вверх и, задышавшись, переваливаюсь через борт лодки. И вижу, что руки в крови, хотя такого быть не может –

вода ведь всё смывает. Я протягиваю тебе ладони, ты говоришь, что мои ладони так чисты и белы, что похожи на цветок; но я вижу кровь, что сияет под солнцем как рубин, а ты видишь – белизну. Я замечаю, как ты, словно к чему-то крайне опасному, но потому и притягательному, прикасаешься к моим ладоням, дотрагиваясь до моей светлой, как ты говоришь, кожи, но стараясь не запачкаться в крови. В этот момент лодка начинает двигаться, как будто кто-то невидимый там, в глубине, наконец отцепил ее. Теперь ты сама садишься на весла и начинаешь грести к берегу, а ты это умеешь, ты же мне говорила когда-то, что родилась на берегах вашей самой большой реки; и вот уже снова песчаные косы и низкий берег. Мы оба чувствуем страшную жажду; кругом раскаленные солнцем камни и песок. Вдруг ты ускоряешь шаг и направляешься к тому ручейку под деревом, где вода так прозрачна, что видно камешки на дне. Ты опускаешься на колени и наклоняешься к воде. Я оборачиваюсь, смотрю на море и кричу тебе:

– Смотри скорее, дельфины!

Как в кино вижу: на большом расстоянии от берега идет стайка дельфинов, то выныривая на поверхность воды, то исчезая в глубине моря.

Мы с тобой смотрим на них до тех пор, пока они не исчезают из вида.

Отчет агента К.

В опыте глубинного погружения *ищущего истину* в сокровищницу диалекта или его блуждания в лабиринтах языка означаемое отрывается от означающего в виде пузырьков, не обязательно возникающих на покрытых водорослями камнях и устремленных к поверхности смысла; но нигде не утверждается, что хотя бы один из этих пузырьков добрался до цели. Все его речевые подвиги на чужом поле сталкивались с непредвиденным препятствием, порой даже физи-

ческим; вероятно, именно такого рода препятствие столь неосмотрительно было названо им «сиянием».

Телесный ущерб в виде израненных ладоней, причиненный столкновением с этим сиянием, был единственным свидетельством, которое, словно пузырек воздуха, смогло проявиться на поверхности и быть переданным кому-то в виде опыта, почерпнутого из более надежного и мощного источника, хотя в этом опыте есть что-то крайне болезненное, если он вообще передаваем.

Воспользовавшись средством передвижения (в данном случае, как это бывает во сне, вовремя подвернувшейся лодкой, а в солнечном мифе, как известно, забывчивого миста сажают на корабль), *ищущий истину* и его спутница действуют, словно в трансе (уж если страдать, то лучше в коллективе!), и постоянно испытывают жажду, что означает недостаток возможностей высказывания (скажем, что-то вроде дефекта речи), эквивалентный поиску истины и стремлению к трансцендентальному и личностному пределу, что характерно для героев любого мифа. Мотив морской прогулки вполне логично возникает на Глиняном Холме постольку, поскольку эта пустыня в незапамятные времена была не чем иным, как дном древнего моря.

Для *ищущего истину* в пределе речевая коммуникация переходит в телесный контакт (пресловутый обмен телами, о котором прилюдно лишь трепались, вводя коллектив в соблазн и смущение, если и осуществим, то является всего лишь частным случаем этого контакта), а это означало причинение боли, увечье, разрушение, – только таким образом его диалектальная речь могла реализовать себя. Сияние его сна – это всегда вспышка, неотвратимость и невозможность, всегда поражение, ничего, кроме раны, опухшего пальца, оторванной маленькой гипсовой ножки или кисти, раздробленной головы, – только так, в таких образах можно передать этот неизменно травматический опыт, который к тому же, в сущности, непередадим.

Ищущий истину смотрит, видит и именует, то есть означает всё, что он видит, и хочет к нему прикоснуться, правда, он это делает только взглядом, тщательно избегая телесного контакта, – во всяком случае, запретный поцелуй в щеку (после столь двусмысленного дара, кольца с дельфином, и его немедленного, едва ли не насильственного изъятия) – единственное упоминание о чем-либо подобном.

Идеальное отсутствие знака – вот то, к чему стремится спутница *ищущего истину*: это белые, с кожей нежнее лепестка розы ладони, пустота белого листа бумаги, голубой мерцающий экран, любая девственная поверхность, куда она впоследствии впишет это их общее послание огрызком синего карандаша, углем из прошлогодней печки, послание, подобное змее, кусающей собственный хвост. Это послание преемника, у которого не было предшественника, воздушное судно, в результате сбоя в системе бортового компьютера потерявшее управление, отклонение от цели стингера из-за неизвестно откуда взявшегося электрического разряда. Движение такого послания подобно дельфину, то выпрыгивающему на поверхность моря, то исчезающему в его глубинах. Так часто произносимое *ищущим истину* на чужом языке слово «потом» по-своему передавало смысл этого послания, – оно не носило признаков речи, потому что и было этой самой речью, то есть чем-то неизвестным, спонтанным и неопределимым.

В известном смысле *ищущий истину* был баловнем судьбы. Когда-то он добросовестно учился в одном из крупнейших университетов мира и прекрасно понимал, что его пребывание в камере пыток чужого языка было вместе и его преимуществом, и недостатком. Для нее же никакие вещдоки, заимствованные из «Словаря американского сленга» и актуализированные в *глотке горячего зеленого чая*, не способствовали потере координат этой точки невозврата и возвращению к речи (она могла говорить, а могла и не говорить – это ничего не

меняло). Его «потом» могло означать всё, что угодно: безразличие, отказ от возможности словесного (или телесного) контакта, нежелание чужого опыта из опасения, что такой опыт может в любой момент превратиться в свою полную противоположность и стать для него болью, травмой, невозможностью, лингвистическим травматизмом, когда уже нельзя ни сказать, ни промолчать и можно совершить лишь какой-нибудь радикальный жест или поступок. Для нее же местом этой непостижимой встречи оставалось только тело, и притом тело, испытывающее на прочность другое тело.

Подка, терпящее бедствие воздушное судно, старенький рыдван, который мог сломаться в любой момент, дурной ветер («ямон шемал»), – всё это годилось лишь для служебных донесений. Они не могли быть использованы даже в качестве лжесвидетелей. Духи культурных героев, бродящие в сумерках по Глиняному Холму, стояли не больше.

Результатом всей этой лингвистической несостоятельности, в равной степени затрагивающей абсолютно всех участников *процесса*, стало то, что сам текст повествования был сначала похоронен, потом убит (пробным выстрелом) или сначала убит, а потом похоронен – вторично, в момент ПУСКА и последующей за ним *вспышки*; так или иначе, он пропал, исчез, испарился или был просто не найден, как не всегда находится само тело, даже если налицо все улики. Так в этом периоде повествования попытка вырваться из заклятого восточного города, где ищущему истину военнотруженику, по утверждению галльского любомудра (ссылающегося на какую-то местную легенду темного происхождения), назначила свидание сама смерть, не осуществилась. Истерзанные же ладони сна, в который он был погружен посредством *глотки горячего зеленого чая*, слишком уж напоминали найденное в погребении *треснувшее зеркало (служанки)*. Словом, по отношению к этой легенде *ищущий истину* по-прежнему оставался баловнем судьбы.

Рассказывает дух учителя философии

Во сне Искандера она стояла и смотрела на дельфинов до тех пор, пока они не исчезли.

Она вспомнила, что как-то ей сказали, что появление их сейчас – большая редкость; они давно ушли от берегов, хотя в древности были столь привычны, что местные жители обращали на них не больше внимания, чем на дворовых собак. И тут она вспоминает, как однажды произошла странная история...

Ее спутник продолжал говорить, но вдруг заметил, что она его не слушает, однако он почему-то упорно повторял начало фразы:

– Да, изображение дельфина часто встречается в искусстве жителей приморских стран, а в долину Багряной Реки оно могло попасть во время похода Александра Великого...

Итак, наш агент К. (первая фраза из «Превращения», разыскать)... и наконец обрел дар речи.

Этот рассказчик – свидетель, переводчик-предатель, аналитик, толкователь, критик, интерпретатор, редактор текста и... литературный агент автора – и есть наш воображаемый идеальный читатель.

В повествовании он предстает как некое лицо без действия и, в принципе, может принимать любое обличье и говорить как дух голосом любого лица (или предмета). Если обстоятельства или логика развития событий иногда с трудом пробиваются через хитросплетение слов и снов, то именно этот пласт для своего прочтения требует возникающих в толще этих хитросплетений всевозможных кодов и символов: кольцо с дельфином; неназываемые мужчина и женщина, мечтающие, наконец, обменяться телами и одновременно иронизирующие по поводу своего мечтания, словно им что-то мешает это сделать здесь и сейчас (ведь они всё время одни, и если около них что-то и возникает, то разве что стайка дельфинов);

не найденное, несмотря на все сохранившиеся улики, тело; пробный выстрел, все эти знаки и символы, где преднамеренно смешиваются все семантические ряды, что не наносит ущерб замыслу, – лишь имена файлов. Сами эти знаки едва ли претендуют на что-то большее.

Пыточной камерой языка был сам соблазн, представший на этот раз в обличии древней цифровой цивилизации, которая, на самом деле, была герметическим текстом или компьютерной программой, в котором присутствовал зеркальный параллелизм действующих лиц и событий. Отсюда возникает ощущение странной близочности действующих лиц, что особенно чувствуется в крайне редких диалогах, которые больше напоминают разговор каких-то несчастных средневековых аутистов-мистиков, беседующих сами с собой.

В каком-то смысле ощущение недозволённости не только самого поцелуя в щеку (правда, в отсутствии свидетелей), но даже безответственного трепа по поводу обмена телами имело под собой почву: в мифологическом пространстве эти двое представляли собой неделимое целое, поэтому столь, казалось бы, банальное проявление чувств или, что еще хуже, разнузданная болтовня об этих чувствах носила оттенок аутоэротизма.

Таким образом, действия этих параллельных пар, одной из которых является девушка и ее друг, тогда еще малоизвестный восточный историк, неразделимы (на жест и его истолкование), хотя именно из этого сразу возникает много проблем.

Если принять за затравку эпизод с пробным выстрелом, то становится совершенно ясно, что одно и то же лицо никак не могло сделать одновременно и пробный, и контрольный выстрел, даже если бы это ему было предписано абсурдистским замыслом самого автора этого повествования, иначе бы возникла совершенно ненормальная ситуация типа «похоронят и убьют», экстравагантная даже

для такого типа письма. Иначе бы это был уже не порождающий себя текст, а некая совершенно иная конструкция, возможная в недалеком литературном будущем.

То есть предпочтительно, чтобы в создание текста вмешивался не какой-то литературный бог из машины, а стингер *ищущего истину*, уже известный наш старинный друг, пистолет культуры, так как в данном случае цель и орудие *стреляния* представляли собой единое целое, вопреки попыткам «расчленителя душ» из многократно упоминаемого романа «Зачарованная вершина» доказать обратное.

Истину можно искать бесконечно

Истину можно искать бесконечно, как бесконечно можно выбираться из восточного города, где так же бесконечно совершаются пышные похороны учителя философии.

Но вернемся к моменту, когда они едут в Искандеровой карете в Обитель Звезд.

Жара немного спала. Даже подул легкий ветерок, в связи с чем Искандер заявил, нарушив негласный запрет, что это один из предвестников песчаной бури «Альбертина».

На девушке, как и на молодой женщине с кошачьей фамилией из «Зачарованной вершины», в этот день оказалась легкая блузка с широкими рукавами, которая прикрывала татуировку (или рисунок растительной краской) на ее запястье: надпись, скопированную со средневековой печати, где, по мнению одних историков-востоковедов, было написано: «истина всегда сокрыта», а по мнению других – «спасает только истина».

Если взять за отправную точку для размышлений второй вариант толкования, то как для словесных упражнений (ранее названных «трёпом»), так и для

искусства украшения тела, впоследствии называемого *body-art*, это открывало неисчерпаемые возможности.

Другими словами, сюжет в виде формулы – а речь идет о предполагаемой древней цифровой цивилизации, которая говорила на языке двоичного кода, а точнее, своеобразной философии, – существовал давно. Его следовало только декодировать.

Суть дела была до банальности проста: она считала, что на ее языке Искандер и двух слов не мог связать. Разумеется, это было преувеличением. С ее точки зрения, когда произносилось слово Заратустра, он понимал это в прямом смысле как имя иранского учителя праведности; для нее же это имя ассоциировалось прежде всего с тем Заратустрой, от имени которого «толкали падающего».

Именно это имелось в виду в той части текста, когда Искандер назывался «баловнем судьбы».

Его открытые чувства, которые он старался, но не мог скрыть за чисто восточным бесстрастным выражением лица и сдержанными жестами, непроизвольно прорывались во внезапной бледности, которая заливала его лицо в минуту сильного душевного волнения, или проявлялись в улыбке камышового кота (маленькой песчаной рыси), когда он от негодования не мог в нужный момент найти подходящих слов.

В каком-то смысле это и было его истиной, подчас сокрытой даже от него самого.

Покинуть эту пыточную камеру можно было лишь одним способом – вернуться. Вернуться в свое собственное тело, стать этим телом и сделать это не «потом», а здесь и сейчас.

Полемика о том, что важнее: быть телом или иметь тело, не могла быть порождением его разума или чувства; в одной из его жизней эти мысли оживались на чужом языке также иноплеменником, Бесом, – спирт, украденный из розовой канистры, испарялся в виде разговоров, которые были больше похожи на кухонные монологи, когда никто друг друга

не слушает, а собеседники – каждый собеседник, любой собеседник – не более чем треснувшее зеркало (служанки).

На такой ноте этот период текста можно было бы и закончить, хотя от всего вышеизложенного всё-таки остается ощущение некоторой преждевременности и поспешности, попытки ускорить события, которая, хотя и несколько драматизированным образом, заключалась в том, чтобы постараться передать самые глубокие впечатления от простых вещей.

Но в одном стоит придерживаться твердых принципов: все описания эротических сцен следует заменять безумными лингвистическими чаепитиями. И более того: следить за тем, чтобы они не бродили по тексту и время от времени не возникали в неожиданных местах, где (несмотря на то, что никого никогда рядом не было) эти двое, если случайно касаются друг друга, придают этим робким попыткам обмена телами размер планетарной катастрофы.

Опять же, если речь идет о возможности обмена если не телами, то хотя бы речью этих тел, то и тут обязательно появляется какое-нибудь очередное препятствие. Так, совершенно неожиданно в Обители Звезд выясняется, что на ее языке Искандер, как она выражается, и двух слов связать не мог. Такой оборот открывает новые возможности для продолжения лингвистического чаепития. Если действительно он не мог связать и двух слов, то *что же находилось между этими двумя словами*, которые он якобы не мог связать?

Тогда стоит вернуться на уже известный перевал с отметкой «2000 м (над уровнем моря)», в точку между «еще не» и «уже не».

Транспорт для такого возвращения находился на расстоянии вытянутой руки. Надо было только его увидеть и узнать. Это был момент, когда «она зажмурилась в ожидании... боли». Неизвестно, какие термины существовали для измерения единиц времени,

которыми пользовались древние представители цифровой цивилизации, скорее всего, это были какие-то темные знаки, связанные с большими периодами световых лет, что само по себе давало основание для Искандеровых упований.

Тогда становится понятным, почему после многих тщетных попыток выбраться из заклятого восточного города они вдруг неожиданно оказываются во дворе небольшого караван-сарая, пользующегося дурной репутацией, и она даже подозревает, что это и есть знаменитая Черная Чайхана, которая, тем не менее, подробно не описывается, так как в ней на самом деле ничего особо достопримечательного не было.

Но создается впечатление, что безумным чаепитиям из восточных чайных чашек без ручек предшествовала какая-то еще более укорененная в истории их взаимоотношений ситуация, где речь шла о каких-то *Воротах* или о *Пороге*, или чем-то важном для развития чувств каждого из них, о чем они, сидя в немыслимом притоне на старом протертом до дыр ковре, возможно, пытались поведать друг другу. Если последовательно двигаться в этом направлении, то самое время заставить заговорить.

Расколотое зеркало (служанки)

Почему описание невозможности покинуть этот заклятый восточный город, как и Черная Чайхана, где однажды оказываются разработчики какой-то компьютерной игры, повторяются, как назойливый кошмар, от которого кто-то из них чаще всего просыпается в момент страха от ожидания боли? Оказалось, что девушка считала, что только так можно расстаться со злополучным кольцом с дельфиньим камнем-печаткой красного цвета, которое защелкнулось на ее руке, словно наручники бэби-монстра.

Тем или иным способом была создана ситуация, близкая к удушению или задоханию; в том же семантическом ряду находится и чтение стихов известного бродячего поэта, где все согласные начинаются с разгона, а гласные длинные, как осенние ночи. Если последовательно развивать эту цепь ассоциаций, то можно прийти до веревки, а вернее, до ее следа в виде странгуляционной бороздки на шее некоего лица, совершившего двойное самоубийство, сделав пробный выстрел в книгу.

Не следует при этом забывать, что в момент вхождения пули в тело текста «Зачарованной вершины» сам тот миг представлял собой чистый разгон, необходимый для произнесения первой согласной на родном языке Искандера, который во сне думает, что эти стихи читает на диалекте мальчика с берегов реки, Текущей Золотом. Диалект и язык наконец соединяются в то самое мгновение, когда в одной из своих жизней *ищущий истину* (но уже хорошо знающий о том, что она всегда сокрыта) нажимает на ПУСК-устройство своего стингера, запуская заряд в ту единственную во всей вселенной точку, где эта истина раскрывается в огненном вознесении во всей своей полноте.

Прервав на этом месте *процесс* описания развития дальнейших событий и желая подчеркнуть особую ответственность критиков, редакторов и комментаторов возникающего текста (число которых приобретает тенденцию к постоянному увеличению), а стало быть, соответственно увеличивается и количество его идеальных читателей, стоит попытаться представить себе, что любой участник этого *процесса* (вне зависимости от того, живой ли это персонаж или неодушевленный предмет) может неожиданно появиться в любое время и в любом месте, будь то улыбка камышового кота (маленькой песчаной рыси), татуировка или картинка, нарисованная при помощи краски растительного происхождения, прикрытая рукавом муслиновой блузки, принадлежащей женщине с кошачьей фамилией.

И далее... с зажмуренными глазами

Я умываюсь и вижу свое отражение, капли воды срываются с моего лица, падают вниз, и вода становится похожа на треснувшее зеркало (служанки). Поднимаюсь на ноги, вода успокаивается, снова становится поверхностью, в которой отражается лишь небо.

Смотрю в этот зеркальный коридор и чувствую, что какая-то сила затягивает меня туда, и вот уже куда-то исчезают звуки; зажмурив глаза, я продолжаю лететь в этом безмолвии, словно сама становлюсь собственным путем и целью.

Мне пришлось придумать историю про умывание в оросительном канале, который находится за моей палаткой.

Этот канал уже много лет как пересох.

Но я утверждала, что по утрам, когда я иду умываться, он наполняется водой.

– Посмотри, – говорю я Искандеру, – вот полотенце, ты же видишь: оно мокрое, хочешь – потрогай.

А ты, опять побледнев, только улыбаешься в ответ.

К чему тебе слова?

Ну, чего ты злишься на меня? Разве нельзя сообщить, что я не хочу заниматься утренним туалетом при всех: какой-то идиот не мог придумать ничего лучше, как повесить умывальник в самом центре палаточного городка.

Но ведь и я могу тебе сказать, да, сказать, и еще при этом не только не побледнеть, а напротив, залиться краской: «*Ты лжешь, если жалуешься на муки любви*», вспомнив стихи твоего любимого поэта.

Скорее всего, ты подозревал, что все твои цивилизации (в том числе и та, следы которой ты ищешь сейчас) всегда существовали в тебе самом, и догадывался, что в один прекрасный день они каким-то образом сольются, совместятся друг с другом. Ты знал об этом, но это знание не было только твоим знанием, даже если оно тебе и казалось тогда истинным.

Оно было нашим общим и глубинным ощущением, принявшим в твоём случае обличие страсти, которая тебя влекла, соблазняла и заводила подчас во всевозможные лабиринты, развилки, *ворота* и проселочные дороги. Это ощущение внезапно могло покинуть тебя, когда, пройдя очередной перевал или протиснувшись в очередные *ворота*, ты останавливался и вместо радости по поводу достижения и обретения испытывал скуку, безразличие и чувство незначительности всего того, что ещё совсем недавно казалось недостижимой целью, – что-то вроде внезапной потери способности говорить. И теперь уже никакие слова не смогли бы вместить то, что можно было бы назвать «потерей существования», о чём невозможно сказать ничего, так как ничего уже и не существовало, по поводу чего было бы можно что-нибудь сказать.

Или написать. Начертать знаки на бумаге, на теле – на запястье, на подошве ноги, да мало ли где ещё можно писать?

Помнишь, мы говорили о том, как однажды на стене кабинета директора краеведческого музея одного приграничного города ты увидел сделанную углем надпись; она висела словно центр мироздания; всякое движение вокруг прекратилось, и ты сам почувствовал полную неподвижность, однако вскоре ощутил что-то вроде возможности сделать хоть одно, самое незаметное и незначительное движение рукой, ты протянул руку, и она не встретила ничего, кроме пустоты, – а ведь только что здесь была стена с нацарапанными на ней углем словами: «Я – его враг».

Потом ты снова увидел её, но уже не пытался к ней прикоснуться; знаки начали менять форму, в какой-то момент показалось, что сейчас знаки эти сольются воедино и станут просто чернотой, пустым экраном, затемненным кадром, возведенным к своей изначальной истине смыслом, потерявшим прежний смысл и обретшим в этой потере новый.

Внеочередной отчет агента К.

Разрастающееся чуть ли не в геометрической прогрессии количество свидетелей события вынуждает упорядочить этот *процесс*, попытавшись каким-то образом совместить их друг с другом и расположить их попарно, не по принципу единства противоположностей, а согласно сродству, основанному на идее близнечества.

Но сделать это оказалось достаточно затруднительно, так как большинство персонажей представляет собой мало совместимые с кем бы то ни было смысловые единицы. В случае же, если им всё-таки приходится с кем-то соединяться, то, как правило, они себя проявляют как субъекты с конкурирующими программами. То есть если они и оказывались нераздельными, то только в этом смысле. По поводу возникающих взаимодействий – а их способность к высказыванию является одной из самых главных (не говоря о том, что эти высказывания тут же интерпретируются) – можно сказать, что они коренятся в происхождении видов этих проблем.

Так сам я, как разновидность агента литературы, генетически происхожу от бэби-монстра, пластиковой куклы с наручниками, и состою в родстве со странгуляционной бороздкой на шее совершившего двойное самоубийство автора-философа, сделав предварительно пробный выстрел в тело текста «Зачарованной вершины» и самым этим деянием превратив себя в контаминированное культурой яблоко *соблазна*, засеявшего в позвоночнике моего грегугара, соблазнив, соблазняя и намереваясь и в будущем соблазнять моих многочисленных родственников-клонов, как-то: критиков, толкователей, редакторов, – словом, идеальных читателей.

Поэтому, дабы весь *процесс* нашел свое идеальное отражение, на некоторое время роль рассказчика передается одной из таких близнечных пар, которая как бы уже состоялась и в коей были налицо все необходимые компоненты: она состояла и из мужчины и

из женщины, соблазняющей и соблазненного, и самого соблазна – Глиняного Холма, скрывающего в своих недрах неведомую цифровую цивилизацию. Эта идеальная система наблюдающего бинара, порождающая и интерпретирующая текст, обладала всеми необходимыми для этого качествами: их намерения относительно друг друга всегда оказывались вопиюще противоречивы.

Если кто-то из них, скажем, мужчина, всегда стремился к определенности, несмотря на то, что в этой связке он, скорее всего, ведомый, так как давно уже выбран, и не просто «выбран», а даже «призван» (*кто, будучи призван, не может поднять головы*, – так об этом говорили строки его любимого поэта), но ему кажется, что он всегда знает, что именно он хочет получить и на что ему можно рассчитывать. При таком раскладе он всегда оказывался объектом соблазнения и соблазна, хотя сам этим соблазном в чистом виде он, конечно, никогда не был и быть не мог.

Он четко ориентирован на объект своего соблазна и всегда хорошо знает, что *оттуда*, а что *не оттуда*, и чутье это безошибочно, даже если его иногда и заносит в сумеречные зоны, почему вопрос о том, «правда ли, что перед песчаной бурей...», мог показаться нарушением правил хорошего тона, где о таких вещах, как сны после *глотка зеленого горячего чая* или о треснувшем зеркале (служанки, найденной в погребении), не говорят и не спрашивают: сны видят, а зеркала разбивают.

Его не оставляет воспоминание об однажды испытанном чувстве удушья, прохождения, перехода, перевала, *ворот*, порога, связанного с моментом собственного появления на свет. В дальнейшем он всегда стремится снова пережить это чувство, для того чтобы сказать миру свое «нет», и легко вовлекается в любую ситуацию, если существует малейший шанс эту естественную асфиксию снова пережить.

Не стану рассказывать о женщине; о ней вообще мало что известно, разве что: она умеет рисовать, ку-

пается в водоеме со старой и в силу этого особенно злющей змеей, часто что-то записывает в синюю тетрадь, когда думает, что ее никто не видит, и вполне возможно, понимает не только язык мужчины, но знает и его диалект, хотя почти никогда с ним на этом диалекте не разговаривает. Почти...

Для того чтобы попытаться понять, что связывает друг с другом эту странную пару, оказавшуюся в палаточном городке Глиняного Холма, где они так идеально вошли в текст друг друга (не обменявшись при этом ни единым словом), что в дальнейшем им пришла в голову мысль об обмене телами, которую они тотчас же сделали предметом публичного обсуждения, чем до основания были потрясены все *свидетели*.

А теперь стоит вернуться к тому моменту, когда они всё-таки решили оговорить какое-то подобие взаимных прав и свобод. Или постараться узнать, в какой момент все договоры могут оказаться нарушенными и им придется смириться с тем, что отныне всё отдается на откуп слепому случаю.

И если теперь принять этот вариант повествования за единственный и согласиться, что эти двое представляли друг для друга безусловную ценность, то слова, написанные огрызком синего карандаша на обрывках бумаги, и надпись углем на стене никогда и никем на земле не были бы прочтены, так как они уже оказались бы сияющими письменами на небесах, со-природными своему огненному вознесению, чем является благословенная небесами любовь. Однако не исключен сценарий с горящими (или тонущими) рукописями, даже если это и кажется на первый взгляд чистым надувательством и бриколажем, – при нарушении договора о взаимных правах и свободах со словами (на чем и каким бы способом они ни были бы записаны) может произойти всё, что угодно, вплоть до того, что они даже могут бесследно исчезнуть.

Скорее всего, в этом-то и состояла конкурирующая программа женщины.

Рассказ об оторванной ноге и солдатских ботинках

Я сидела на низенькой скамейке, можно сказать, буквально у ног учителя, и пока муаллим рассказывал нам о рыбах и их значении в древних культах, думала лишь о том, как ввести в свое повествование это новое лицо, которое бы могло пролить свет на предысторию всех этих событий.

Совершенно очевидно, Искандер вовсе не вдруг появился в Обители Звезд, где якобы впервые увидел девушку, чьи руки по локоть были вымазаны краской для копирования каменных рельефов, а ногти выкрашены оранжевой краской растительного происхождения (а может, даже золотой — как у Будды); ее запястье украшала татуировка: она представляла собой две совершенно одинаковые написанные шрифтом «цветущий куфи» буквы, но с разными диакритическими знаками, один из вариантов перевода этой надписи на ее язык означал, предположим: «истина всегда сокрыта».

Я рассчитывала, что это новое лицо, мой муаллим, учитель и наставник, кое-что знает о некой предыстории, которая, как и надпись на татуировке, украшающей запястье, оставалась скрытой, если не навсегда, то, по крайней мере, до поры до времени. Наш с Искандером учитель, у ног которого я тогда сидела, идеально подходил для этой роли.

Таким образом, введя в обращение это новое лицо, хотя лучше всего было бы сказать, «известное лицо в новом качестве», я как бы собственноручно признаюсь в том, что какой-то изначальный вариант записи обо всей этой истории всё-таки существовал, хотя, скорее всего, несмотря на свою неприятельность и простоту, этот вариант был герметичной «вещью в себе». Написанный к тому же достаточно юной

девушкой, он, по сути дела, представлял собой один и тот же развернутый во временной перспективе вопрос, который в дальнейшем тот же самый автор в своем взрослом времени уже никогда не задавал ни себе, ни другим. Тем не менее, эта юная и наивная девушка, автор первоисточника, не ограничивалась лишь описанием ранее невиданных и столь поразивших ее воображение языковых ландшафтов или памятников материальной культуры; ею даже делались, пусть и не совсем удачные, попытки представить всю эту историю словесных пейзажей как некий образ менталитета или воспоминания о воспоминании.

Тогда она думала, что многие простые вещи, которые, казалось бы, лежали на поверхности, на самом деле требовали углубленного комментария.

Одной только поездки в Искандеровой карете по горному серпантину, по ту сторону от *Ворот*, и рассказа-толкования о ней оказалось достаточно, чтобы к тому, что произойдет в дальнейшем по эту, вернуться через целые периоды световых лет (которыми, предположительно, отмеряли свое время древние жители долины Багряной Реки).

Их учитель, муаллим, представлялся идеальной фигурой такого комментатора; к тому же он хороший рассказчик, опытный психолог и тонкий наблюдатель. Кроме того, он тончайший стилист, способный не только всей душой отдаться соблазну, но и довести дело до полного сумасшествия, умудряясь при этом сохранить раскаленное бесстрашие, в чем и состояло его главное достоинство муаллима, наставника, учителя и, скажем, чуть-чуть философа.

Если уж решено всех сгруппировать попарно, муаллим, скорее всего, составил бы пару с собственным духом, тем более что в этом не будет ничего противоестественного, с какой бы точки зрения на это ни посмотреть. Дух учителя обладает столь же замечательной интуицией, наблюдательностью и способностью подмечать даже самые незначительные детали,

что и сам учитель. Все тонкости и нюансы, которые останутся для большинства свидетелей незаметными и столь незначительными, что впоследствии станут абсолютно пустым файлом.

Так я сидела у ног муаллима и чертила палочкой на твердой только что политой водой глине (это здесь делают время от времени, чтобы не было пыли) контур дельфина, потом еще и еще одного. Голос Искандера, а он, как обычно, подошел неслышно и встал за моей спиной, и вот я вижу на своем рисунке его тень:

- Да у тебя их тут целая стая.
- На твоём кольце был всего один.
- Давай лучше спросим учителя...

И тут муаллим начинает нам занудно объяснять, что рыба – это древний символ, обозначающий часть зодиака, где солнце в момент зимнего солнцестояния начинает свой годичный круговой бег. Оно поднимается на высочайшие горы, а затем спускается, как рыба в море. Учитель говорил, что рыба может быть и символом ребенка, так как ребенок до своего рождения живет в воде, как рыба.

Я смотрю на Искандера, он почему-то опускает глаза. Мне хочется сказать ему, чтобы следующий раз он так не пугал меня, неслышно подкравшись сзади:

- Нас что, муаллим считает совсем дураками?

Но почему-то я рисую еще одного дельфина и говорю:

- Думай, что хочешь.

Однако нашего учителя ничем не прошибешь, и, хотя ничто не проходит мимо его внимания, он продолжает:

– Когда рыба чудесным образом исчезает в море – солнце заходит. Те, кто это замечают или случайно находится при этом, имеют шанс попасть в то место, где находится источник жизни.

Представьте себе, если бы мертвая рыба вдруг ожила и бросилась в море!

И снова голос муаллима:

– Там, где рождается рыба, рождается сын водной глубины, и рождается он в рубашке, с покрытой головой, как твой любимый поэт, Искандер, который – не забывай об этом – плохо кончил... Хотя он, конечно, был устами божественной мудрости, подобно вавилонскому Оанн-Ра, что изображался рыбой и, как рыба, рождался из моря, чтобы учить народы.

Мы спускались по этому серпантину, я отодвинулась от тебя, прижалась к брезентовой стенке и отвернулась, чтобы ты думал, будто я смотрю в окошко.

У меня опять лились слезы, и я больше не могла их сдерживать, если бы я взяла платок, ты бы догадался, зачем он мне; я не могла ни на чем сосредоточиться и удивлялась тому, что в моей памяти тогда всплывало лишь несколько бессвязных воспоминаний о том, как однажды мы вместе с муаллимом читали книгу и не могли никак понять смысл одной фразы, где речь шла о приветствиях в канун вашего Нового года; вдруг он спросил меня, видела ли я когда-нибудь, как танцуют твои свирепые горцы, я ответила, что, конечно, видела, и тогда он попросил меня показать некоторые движения рук, первые попавшиеся, какие только мне придут в голову, прямо сейчас, не задумываясь, и я сделала это, встав перед ним и посмотрев вверх, выкинула вперед обе руки... да... И так мы нашли этот жест – древнейшее в мире приветствие воинов и мистов. Древний жест, получивший впоследствии ужасную известность и почти повсеместно в настоящее время невозможный и запрещенный во всех цивилизованных странах. Только в вашем танце воины выбрасывали вперед не одну правую, а обе руки...

Это и было тем самым приветствием.

А что с ним было, когда мы нашли в раскопе деревянную обожженную огнем скульптуру! Сначала этот обгорелый торс лежал лицом вниз, и все думали, что это рыба, так как нашли ее рядом с водой; потом поняли, что это фигура танцовщицы, мы обмотали ее бинтами и понесли на носилках. Сколько же нам тогда

пришлось идти до Обители по жаре, а ведь было самое пекло. Муаллим положил ее на террасу и свое кресло поставил рядом, оборвав все персики с деревьев, чтобы не упали на нее...

А как-то вечером из-за девиц к нам в Обитель наведалься местная шпана. Вдруг является компания, человек в пятнадцать, я бросилась по коридору звать ребят, и началась ругань, а тут подходит муаллим с палкой и начинает всех этих хулиганов своей палкой подгонять к выходу – как стадо баранов. Сигнал он их, всю эту козлу, под фонарь да как начал их ругать на их диалекте... – двое из них испугались и сразу сбежали, потом остальные, и больше никогда такие дела не повторялись...

А как-то раз я иду с базара и тащу тяжеленный мешок с едой, и вдруг навстречу муаллим и говорит мне:

– Милая, я вас зову, кричу вам, а вы ничего не слышите. Идете, никого не видите, смотрите в землю. Пойдемте на автобус.

А я не захотела на автобус, тогда он со своей знаменитой палкой, той самой, которой он сгонял хулиганов под фонарь, пошел со мной и мешок у меня взял. А мне дал нести свой портфель с книгами.

И пока мы шли в Обитель, он мне говорил, что ничего там нет особенного в долине этой Багряной Реки – обыкновенный, повседневный, скучный труд. И что зря я думаю, что там будет что-то необыкновенное и потрясающее, а если я в самом деле хочу писать о жизни, то самые яркие и живые впечатления смогу получить только от людей, любых людей, которые мне раскроются и станут моими друзьями и другом которых стану я, а вовсе не от званных или избранных. Тогда я его слушала что называется вполуха и не совсем поняла, почему он со мной решил заговорить о Багряной Реке.

Еще муаллим страшно ругался, когда узнал, что я по ночам купаюсь в водоеме, где, как все считали, живет какая-то старая и особо злющая змея. Я ему в шутку сказала, что змея змею не укусит, имея

в виду год своего рождения в гороскопе. На что он, как мне тогда показалось, вполне серьезным тоном возразил:

– Милая, вы не змея, а моя приемная дочь.

Муаллим правильно выбрал момент: тогда я еще колебалась насчет долины Багряной Реки – ехать или не ехать.

Искандер был его любимым учеником, а меня он нарек тогда приемной дочерью. Это могло означать только одно: учитель не одобрял моей предстоящей поездки с Искандером в долину Багряной Реки.

Да что там, он мне это просто запрещал. Переписчице текстов запретить ехать – нельзя, а приемной дочери – можно.

Псы языка показывают зубы

Он положил в то утро на мой рабочий стол какой-то камень, как мне показалось сначала, просто камешек, и попросил зарисовать его какой-то штриховкой с тенями. Я не поняла, что он имел в виду. А то я не знаю, как рисовать такие камни. Да я только и делала, что зарисовывала эти нуклеусы, когда нужен был четкий рисунок, и делать его надо было штриховкой. Мне казалось, что тени делаются краской на акварельных рисунках, либо очень мягким карандашом, как ученики рисуют копии античных слепков.

Я сидела и разглядывала этот камешек, который он так бережно положил мне на стол. Это оказался фрагмент небольшой статуи, скорее, статуэтки из местного белого камня, напоминающего гипс. Маленькая ножка, вернее, ее ступня, с ровными, как на индийских скульптурах, пальчиками, выточенными с поразительным мастерством и изяществом. Но самым интересным мне показалось то, что на ее подошве был вырезан какой-то орнамент или надпись на неизвестном мне языке. И эту загадочную находку и следовало зарисовать штриховкой с тенями.

Я промучилась с этой находкой дня два; восхищение этим прелестным объектом материальной культуры сменилось приступом какой-то бешеной злобы и ненависти. Я уже ненавидела Искандера за то, что он упрямо твердил свое: штриховкой – и с тенями, и никакие доводы, что нельзя одновременно использовать эти две разные техники, до него не доходили. В результате, рисунком он оказался недоволен. Еще бы ему быть довольным! Вдруг выяснилось, что я не понимаю или не хочу понимать того языка, на котором он пытался со мной говорить.

Он ничего не сказал, но я видела, рисунок ему явно не понравился.

Отчего же он всё-таки остался недоволен? Ответить на этот вопрос было довольно трудно. Очевидно, апофатика его скрытого негодования, когда он говорил: «нет... не то... не то», а я с каждым разом всё с большей яростью разрывала не понравившиеся ему рисунки, имела какую-то иную природу. А раздражение от нашей взаимной невозможности друг друга понять было всего лишь поводом. Да и я, в конце концов, могла бы найти какой-то компромисс, приемлемый для обеих заинтересованных сторон. Но я тоже уперлась – или штриховкой, или с тенями.

Вполне естественно, тогда у меня возникал вопрос: что же обо всем этом думал Бес? Последний же по этому поводу не думал ровным счетом ничего; он как-то сразу отказался от моего предложения стать чем-то вроде третейского судьи, сказавшись больным и с похмелья, правда, потом сам подошел в оранжевую палатку к моему столу и признался, что тоже не всегда понимает, что от него хочет Искандер. Мало того, даже высказал предположение, что Искандер бледнеет не оттого, что он не может выразить свою мысль на *нашем языке*, а от мысли на своем диалекте, что *мы делаем вид*, что не можем его понять. Еще он сказал тогда, что считает своим долгом предупредить меня, чтобы я не рассчитывала на снисходительность Искандера: ведь я сама виновата

в том, что он почувствовал вкус крови в этих жестоких языковых играх.

Чем же занимался на Глиняном Холме сам Бес? Он был архитектором, и они с Искандером всегда работали вдвоем. Вряд ли между ними было что-то похожее на казарменную дружбу; но их отношения мне всегда казались довольно странными, и даже более чем странными. Иногда мне казалось, что Бес влюблен в Искандера, иногда – что он его ненавидит. Меня с самого начала удивляло, что Искандер смотрит сквозь пальцы на то, что спирт из его розовой канистры фатально испаряется, несмотря на плотно закрытую крышку; правда, я не забывала доливать туда воду, чтобы уровень жидкости оставался прежним.

Сам же Искандер терпеть не мог алкоголь и не курил; всё это ему казалось презренным и низменным потаканием плоти, и он не считал проявление подобной слабости, как сейчас бы сказали, сильным дискурсом. Очевидно, в те далекие времена он ослаблялся каким-то другим способом, а может быть, ему тогда это вообще не было нужно. Ведь мы были молоды, как молодой месяц, хотя дела наши были стары, как династия Плантагенетов...

Бес обладал гениальной интуицией, сродни той, что в библейские времена помогала людям находить воду в пустыне. В отличие от Искандера, который по натуре был охотник, Бес никогда ничего не выслеживал и не искал, он просто *знал*, где и что. Если он начинал копать в каком-то месте, то именно там и находилось погребение или вход в какое-нибудь ранее не исследованное помещение. Наверное, это его беспробудное пьянство давало ему возможность в нужный момент сосредоточиться. Как бы то ни было, Искандеру такой человек был необходим как воздух. И розовая канистра, скорее всего, и предназначалась Бесу, вернее, бесовским наваждениям – на искомое.

Можно было бы даже сказать, что мой единственный здесь соотечественник обладал особым даром предвидения. Помню, как-то он спросил меня, неужели

я верю, что, тревожа их сон, мы действительно что-то открываем, и можно ли вообще что-нибудь открыть?

Несколько странно было слышать такое от Беса, неужели и ему вопрос о бессмертии тоже не давал покоя?

Однажды, прилично подвыпив, он почему-то вспомнил миф о Гильгамеше, о том, как тот странствует по всему свету, гонимый страхом и страстным желанием обрести бессмертие; его путь ведет через моря к мудрому Утнапиштиму, знавшему средство, как пройти через воды смерти. Там Гильгамеш должен был нырнуть на дно морское, чтобы достать волшебное растение, которое должно было привести его обратно в страну людей. Но лишь только он вернулся на родину, как змея украла у него волшебное зелье (рыба ускользнула в море). На обратном пути его сопровождает волшебный лодочник; будучи изгнан проклятием Утнапиштима, он не смеет больше вернуться в страну блаженных. Из-за потери волшебного зелья путешествие Гильгамеша лишилось своей цели, зато его сопровождал какой-то бессмертный, о судьбе которого мы больше ничего не знаем. Этот изгнанный бессмертный и есть рожденный Энкиду, только что родившийся из материнской водной глубины, там, где исчезает рыба, рождается сын водной глубины...

Мы с Бесом смотрели на мой рисунок погребения. На нем был изображен остов человека, лежащего головой к северу в позе нерожденного младенца, с прижатыми ко лбу руками.

А ты всё о нем, о нем, но его уже нет

А ты всё о нем, о нем, но его сейчас здесь нет, и судьба его больше меня не интересует...

Они долго говорили с муаллимом, и, казалось бы, теперь всё вставало на свои места.

Сейчас над ее головой висела копия фрески. Это был архитектурный пейзаж, состоящий из полукруглых арок; в просвете между ними было видно возвышение, на котором лежало тело умершего юноши. Волосы его были раскинуты по плечам. Через просвет первой арки была видна его голова, украшенная старинным убором вроде венца, или диадемы. Над его лицом склонилась плакальщица. В следующей арке другая «дочь погребальных носилок» склонилась над вытянутыми руками юноши, рядом сидели женщины с распущенными волосами. Поодаль стояла толпа людей в старинных костюмах.

– Милая, мы всё время говорим о смерти и бессмертии, и заметьте себе, все наши герои находятся на своих местах либо в момент захода, либо восхода солнца...

– О чем вы всё-таки с ним говорили на его диалекте?

– Он думает, что там, на Глиняном Холме, найдет какую-то чашу для свадебных церемоний или, по крайней мере, ее фрагмент.

– Муаллим, вы от меня что-то скрываете, мне показалось, что он вам тогда сказал, что она сама так решила...

В тот день она малодушно ретировалась в свою подсобку, предоставив муаллиму разбираться с этими дураками, которые приехали на Искандеровом рыдване, и никто понять не мог, зачем они приехали. И вдруг один из них, как ей показалось, самый противный, тихонько говорит ей:

– Вы та самая девушка, которая переписывает для муаллима старинные рукописи?

– Да, а что?

И тут он ей:

– Искандер собирается в долину Багряной Реки и хочет, чтобы вы с ним поехали...

А она ему:

– А что он еще хочет?

Тот несколько смутился. Тогда она подводит его к муаллиму и говорит:

– Муаллим, объясните, пожалуйста, этим людям, что я работаю здесь с вами, потому что мы так договорились, и вы – мой учитель и начальник и на меня рассчитываете, и очень прошу вас, скажите им это на их диалекте.

Не взглянув на муаллима и ни с кем не попрощавшись, она ушла в свою подсобку и впервые заперла дверь на крючок, да так ею хлопнула, что все вздрогнули.

В общем, когда эти типы отвалили, все решили, что эти Искандеровы дружки приезжали из-за нее, а вовсе не из-за муаллимовых фресок, на которые они плевать хотели.

Через некоторое время она вышла из своей подсобки, подошла к муаллиму, решив всё-таки с ним объясниться, но он почему-то уклонялся от любой попытки навести разговор на приезд этих типов, предпочитая решать вопрос с Шампольоном. Так называли одного старшеклассника из сельской школы, мечтавшего стать историком и археологом; а пока что он работал в экспедиции, разгуливая в исподнем с начесом, и, по словам муаллима, очень напоминал мальчика из Ташик-Таша герасимовской реконструкции.

Наконец, было решено всем скинуться и купить ему брюки или, на худой конец, шорты, раз муаллим решил, что так дальше продолжаться не может.

Она думала о том, как заставить муаллима признаться, что они говорили вовсе не об этой чаше из Рея – или из Раги, черт возьми!

Хотя, хотя, хотя... да вовсе она об этом не думала.

Она лихорадочно просчитывала ходы, которые необходимо предпринять, чтобы начать выпутываться из этого лабиринта, этой песчаной метели, этого джанк-текста, и найти оправдание и подтверждение мотивам действий главного действующего лица этой части повествования – времени солнца.

Оно ведь движется от места восхода к месту заката. То же можно сказать и о других персонажах, можно было бы даже их перечислить в порядке их появления: бэби-монстр, молодой историк Искандер, рабочие, ищущие в пустыне не то воду, не то нефть, не то истину, нечто неназываемое, как синь небес, *le Bleu du Ciel*, архитектор, друг розовой канистры, треснувшее зеркало (служанки), *ищущий истину*, его стингер, несколько философов, Шампольон (или Шлиман), похожий на Ташик-Ташского мальчика, какие-то типы, которые один раз появляются на Искандеровой карете и исчезают навсегда, как рыба в море, – все они и есть время движения солнца, но каждый раз видимого с разных точек зрения...

Муаллим смотрит на нее; она улыбается, теперь ей кажется, что она читает его мысли:

– Милая, ну помогите же всем им, наконец, встретиться друг с другом, вырваться из этого заклятого восточного города. Идите с ними смело в пещеру, ныряйте в воду, закапывайтесь в песок, покажите им дельфинов, пообещайте безумное лингвистическое чаепитие с чашей из Рея – или из Раги, черт возьми! Бессмертие, наконец, – и все они будут ваши! Кстати, незваные гости кое-что оставили для вас...

Она берет в руки пакет из оберточной бумаги, в которую обычно заворачивают находки, и видит пару солдатских ботинок, одного размера, но от разных пар. Смотрит на муаллима, оба они смеются и произносят вслух всё то же имя:

– Искандер!

Глава двенадцатая

Наперекор разуму, вопреки чувству

История с оторванной ступней гипсовой статуэтки, по сути дела, закончилась ничем. Я наконец сдалась и сделала несколько десятков вариантов, но ни один из них Искандеру не подошел. Я их уничтожила, так как больше уже не могла смотреть ни на рисунки, ни на сам фрагмент скульптурки. Кажется, до конца жизни – разбуди меня среди ночи и прикажи мне нарисовать его – я возьму карандаш и вслепую нарисую.

Но у меня не осталось ни одного рисунка этого фрагмента, ни одного.

Время от времени, чтобы немного передохнуть и распрямить затекшую от непривычной работы спину, я поднималась на стенку комнаты, которую расчищали наши рабочие, и смотрела на детей, собирающих хлопок на соседнем поле, на бахчу, которую охранял старик с двумя внуками, на далекие горы.

Я спрашивала Беса, почему Искандеру не нравятся мои рисунки, ведь я всё делаю правильно, это обычные полевые зарисовки, передающие общее впечатление. Я совершенно не понимала, какой род археологического документа ему нужен; складывалось впечатление, что он хотел невозможного: для него мои рисунки должны были быть художественными шедеврами и одновременно обладать точностью топографической карты. Я уже отчаялась добиться от него каких-нибудь объяснений.

Бес строго держал нейтралитет и отделялся общими фразами. Сам же он сейчас занимался расчисткой погребения в огромном керамическом сосуде, сделанном специально для этой цели.

Вот он уверенными движениями водит мягкой кисточкой по фрагментам черепа; подняв голову из

ямы, разговаривает со мной, не прерывая работы, и меня страшно удивляет, что он даже не смотрит на кисточку и не боится неловким движением повредить хрупкие кости.

Вдруг он бросает мне вверх, как томагавк, тешу, маленький топорик, и просит, чтобы я покопала рядом. Это место дверного проема, и вскоре я обнаруживаю там еще один череп, лежащий рядом под грубой стенкой из необожженного кирпича. Моя теща останавливается буквально в нескольких миллиметрах от него. Бес придирчиво осматривает то, что я ему протянула.

– Ладно, давай его обратно, он совершенно целый, неужели ты думаешь, что я могла его повредить?

– Да нет, конечно, не могла. Его могло повредить только несчастье, случившееся с человеком, которого завалила обрушившаяся стена в дверном проеме.

Я почистила череп мягкой кисточкой и оставила его на небольшом выступе у двери.

Потом я перехожу в свою овальную залу.

Искандер всем сказал, что она мне подарена и чтобы, когда я там бываю, никто туда не совался. Сам он туда тоже не совался. Обычно я шла туда каждый день после работы, пряча под свитером синюю тетрадь, которая однажды у меня всё-таки при всех выпала, и Искандер на меня так посмотрел, что я поняла, что ему доподлинно известно, чем я там занимаюсь.

Я приходила в овальную залу, садилась на землю и смотрела на его часы-браслет, которые носила на запястье. Он мне их дал на время, чтобы я ими закрыла рисунок, сделанный растительной краской. Теперь в его оранжевой палатке остался только будильник.

И вот я снова там, смотрю на часы, оказывается, прошло всего полчаса, а мне показалось, что я здесь сижу целую вечность; теперь же я безнадежно опоздала: мы с Искандером уговорились после работы

пойти в горы и попытаться добраться до ближайшего перевала. А сейчас я сидела здесь и не могла сдвинуться с места.

Опять смотрю на часы. Прошло еще полчаса. Надо подняться и идти.

Я дошла до своей палатки, подняла полог, вошла в душный полумрак, пахнувший брезентом и красками. На столе опять лежит этот проклятый фрагмент скульптуры, но сейчас мне видна только подошва ножки с выбитыми на ней письменами на неизвестном мне языке. Я беру баночку с тушью и кисточку и начинаю рисовать эти знаки на подошвах своих ног, стараясь как можно правильнее их скопировать. Вот одна, а потом и другая; мои подошвы покрываются волнистыми линиями, это сделать оказалось совсем не сложно: надо было эти знаки просто чуть увеличить. Я пожалела о том, что здесь нельзя растереть в кипятке растительную краску и сделать этой краской рисунки на собственных подошвах — оранжевой краской, которая держится долго, постепенно становится всё бледнее и, наконец, сходит на нет и сливается с цветом кожи.

Вскоре пришел Искандер, в руках у него были мои солдатские ботинки, которые я где-то оставила. Он принес их для похода в горы.

Ищущий истину рассказывает о некоторых событиях, непосредственно связанных с розовой канистрой

Этот ее соотечественник валялся на раскладушке в своей палатке в состоянии некоторого разногласия с окружающей действительностью, что с ним бывало после того, как он выпивал разбавленного спирта, выкраденного из розовой канистры. Пил он здорово, и трудно сказать, каким образом он в таких условиях умудрялся доставать спиртное. Возможно, он тайком договаривался с шофером экспедиции, и тот контрабандой доставлял ему выпивку, купленную во вре-

мя поездок за продуктами. Так или иначе, спиртное он доставал. Пил, как правило, в одиночестве, а по утрам никак не мог проснуться. Мне это было доподлинно известно; более того, я сам привез эту розовую канистру чистого спирта специально для того, чтобы утром выдавать Бесу полстакана, чтобы тот смог встать и пойти работать. Но делал я это только утром.

Тем не менее, вечером, присвоив исключительное право входить когда ей вздумается в палатку, где находился ее рабочий стол, она каждый раз отцеживала в алюминиевую кружку немного спирта, приносила его Бесу, а тот его разбавлял и пил; иногда такие «заходы» приходилось ей делать за вечер дважды, а то и трижды.

Разумеется, я про все эти дела прекрасно знал, но канистра стояла за ее рабочим столиком, шатким сооружением из фанеры и алюминиевых трубок, да я и не собирался ее убирать или прятать. Скорее такие мысли возникали у нее. Она считала, что я просто застался и ищу момента застукать ее на месте преступления: сделать я это мог в любой момент — не было ничего проще.

Вечером она столь демонстративно входила в оранжевую палатку, пока я болтал с рабочими или пил чай за длинным столом, наспех сколоченным из необструганных сосновых досок, что я мог совершенно не сомневаться: если она направляется к палатке, значит, она точно идет за спиртом. Думал ли я, что она его крадет для себя. Бесспорно, нет. Это был не ее стиль. Разве что иногда глоток горячего зеленого чая...

Знал ли я, кому предназначался краденый спирт? Конечно, знал.

В любом случае, количество спирта продолжало катастрофически убывать, хотя уровень в канистре оставался прежним за счет добавленной воды, а этот ее соотечественник каждое утро, как ни в чем не бывало, являлся ко мне за очередной порцией алкоголя.

Она в тот вечер сидела в палатке Беса прямо на полу, опираясь спиной на вторую раскладушку шофера, который уехал с девушками-поварихами в соседний городок смотреть кино. Бес рассказывал очередную байку о своей жизни в восточном городе, где он родился; там действовали бандиты-мотоциклисты, барышни, хулиганы, дервиши; в этих историях главным героем обычно был он сам. Но разговор как-то незаметно всё время сползал на наши дела.

Обсуждая происшествие с убийством и сожжением пары гюрз, Бес утверждал, что все вели себя как сумасшедшие, и лишь я один, не пытаюсь никого перекричать, сумел прекратить панику и успокоить перепуганных насмерть людей, многие из которых в реальности видели действие змеиного яда.

Бес даже вспомнил, как однажды мы работали где-то в пустыне и нам лень было возвращаться с дальнего раскопа; ночь была теплая, и мы решили заночевать прямо на земле. Утром я ему рассказал, как ночью проснулся и почувствовал, как по мне что-то ползет, как ощутил жуткое прикосновение холодного и скользкого тела и как мне пришлось неподвижно лежать несколько секунд, а может, и целую минуту, которая показалась вечностью, пока гадина не переползла через меня и не скрылась в темноте.

Но она чувствовала, что Бес чего-то недоговаривает, попросту говоря, темнит. Он, скорее всего, намекал на то, что я постоянно призывал всех не трогать пресмыкающихся, рассказывая всевозможные истории про их мстительность, но змеи почему-то всегда оказывались убитыми.

Отчет агента К.

Теперь самое время вмешаться и внести коррективу в словесный поток Беса в подпитии.

Если вернуться к Искандеру – а имя его не сходило с языка Беса – точнее, не к самому Искандеру, а к его

словам о том, что, дескать, нельзя вслух произносить имя змееубийцы, то есть его самого, учитывая то обстоятельство, что часть вины за гибель пресмыкающегося лежала и на нем (ведь это он распорядился сжечь останки убитой Бесом змеи), – вряд ли какое-нибудь другое имя могло бы повторяться на страницах повествования чаще, нежели имя Искандера.

О нем говорили буквально все: можно было подумать, что все они чуть ли не отражения самого Искандера, даже тогда, когда имя его не называется. Это происходило даже с такими осколочными персонажами, как медное зеркало (служанки), треснувшее в незапамятные времена. Что уже говорить о таком персонаже, как *ищущий истину*, застрявший со своим стингером где-то высоко в горах и претендующий на то, что он и есть сам Искандер, в одной из своих жизней (кстати, сам восточный историк считал, что представители цифровой цивилизации верили в метемпсихоз).

И однажды, в одном из периодов текста, клон этот, фантом этот до того распояшется, что начнет говорить о себе в третьем лице.

К таким осколочным персонажам можно отнести и солдатские ботинки одного размера, но от разных пар, которые постоянно где-то теряются и по мере необходимости возникают вновь, как это произошло перед прогулкой в горы, когда в них возникла потребность для прикрытия еще одного текста, возникшего на подошве маленьких ножек. И ботинки эти, естественно, оказались в руках человека с темным лицом и маленьким шрамом на подбородке.

Отражал ли сам этот предмет несколько депрессивный характер рефлексии создающегося текста о самом процессе своего создания, так как эта близнечная пара ботинок никогда не оказывалась рядом, как бы поставило их, разувшись, большинство нормальных людей; у нее же они всегда стояли один за другим? Словно там находились невидимые ступни, идущие *по следу*; но чаще, связанные шнурками, они

парили в облаках, так как от страха перед змеями, скорпионами и фалангами она старалась их подвесить повыше на какой-нибудь гвоздь или крючок, чтобы в них случайно не залез незванный гость.

Закрадывалось подозрение, что эти ботинки, сделавшиеся притчей во языцех в экспедиции, — они возникали в самых неожиданных местах и тем самым как бы публично демонстрировались, с элементом легкого нарушения зеркальности и приличия (они были одного размера, но от разных пар), — словно для того и предназначались, чтобы вызвать у невольных свидетелей ощущение, пусть даже не вполне осознанное, чего-то недозволенного и неясного.

Но если вернуться к вопросу об имени, а речь шла о том, что на страницах повествования одно имя повторяется чаще других, то эту мысль можно сформулировать кратко следующим образом: где бы ни появлялся Искандер, вокруг него сразу же складывалась атмосфера умопомешательства; в каком-то смысле его можно было бы назвать харизматиком безумия. Каждый, кого ему удавалось вовлечь в этот круг, становился некой проекцией этого безумия, его соучастником, агентом или интерпретатором.

Можно сказать, что розовая канистра с ее содержимым, особой субстанцией, уровень которой оставался неизменным противу закона естества (поскольку спирт крали), была своего рода определенно-метаболой транспортного средства для выхода на определенный уровень, что могло проявляться в речи Беса, пусть даже кажущейся на первый взгляд бессвязной и наивной; дальнейшие этапы возгонки этих уровней находились в прямой зависимости от концентрации содержащегося в этой канистре спирта.

Скажем так: волшебный напиток пил Бес, но змей-то на самом деле убивал Искандер. Бес в его руках был чистым орудием убийства, захваченной энергией. Именно поэтому он и не хотел, чтобы произносилось его имя. Думается, он был не далек от истины,

подозревая, что его имя время от времени появляется на страницах синей тетради, когда девушка уединялась в овальной зале.

Снова дух учителя философии

Почему все так носятся с Искандером? Поговорим теперь о ней, приемной дочери муаллима, которая умеет копировать фрески, переписывать старинные рукописи, обладает не меньшим, чем Бес, знанием и принимает участие в охоте за черепами. У нее на запястье татуировка, которую Искандер попросил прикрыть, дав ей для этого свои часы. В предыдущем периоде текста она перенесла на свои собственные подошвы письма с фрагмента гипсовой статуэтки; они показались ей посланием, написанным на неизвестном языке, хотя Искандер утверждал, что это всего лишь орнамент.

К чему я всё это рассказываю? Да потому что, как ни крути, получается, что гюрзу всё-таки убил Искандер и при этом еще не хотел, чтобы ее «второй половине» стало известно его имя.

Помнится, в одном из своих снов, предположительно после *глотка горячего зеленого чая*, когда он оказывается со своей спутницей на опушке леса, у ручья, в некоем особом месте, встроенном в многомерное пространство текста о Глиняном Холме, они пребывают в полной растерянности, оттого что у них что-то утащили или разрушили. Короче — они утратили нечто, представлявшее какую-то особую ценность.

Поэтому сожжение змеи было попыткой эту ценность возвратить — это было одновременно и объяснением в любви, и жертвоприношением.

Искандер возвращает тексту эту ценность, действуя как истинный уроженец Востока, который если испытывает чувство любви, то тщательно скрывает его, а если и любит (хотя бы иногда) правду-истину, сам ее никогда не говорит: на самом деле, он этим

поступком просто замечает следы. Так же, как приемная дочь муаллима доливает воду в розовую канистру, поддерживая тем самым высокий статус (в чем никто никогда и не сомневался) этого транспортного средства, если даже оно в результате ее действий несколько утрачивает свои изначальные качества.

Всё это органически связано и с загрязненным культурой яблоком, запущенным опытной рукой в позвоночник грегуара литературного агента К.; и с татуированным запястьем, прикрываемым то часами Искандера, то рукавом муслиновой блузки молодой женщины с кошачьей фамилией; и с заплетающимся языком Беса, выбалтывающим всё подряд; и даже со стингером серии «Отчаянный призыв», также ищущим свою истину.

Несостоявшаяся прогулка в горы

Горная дорога становилась всё круче и наконец превратилась в узкую тропинку, которая привела нас на перевал. Миновав его, мы начали спускаться в долину. Тропа то круто взлетала вверх, то стремительно падала в зеленые дебри, густые заросли высокогорного дуба. Еще несколько зигзагов – и начинается плавный спуск. Дорога стала ровнее и немного шире. Теперь по обе ее стороны растут фруктовые деревья, а внизу блестит вода. Оттуда поднялся в небо коршун, он неподвижно завис в воздухе, и так непривычно было видеть его освещенную солнцем спину.

Мы выбрали для отдыха место под деревьями, кроны которых сплелись между собой, образовав некое подобие шатра; там оказалось несколько плоских камней, попавших сюда неизвестно как и когда. Вероятно, в незапамятные времена, когда еще не существовало ни этого леса, ни этой дороги, они откололись от скалы.

Они вошли в зеленую прохладу. Он сел на свою куртку. А она – на плоский камень.

– Хочешь, расскажу тебе об отрубленной руке, – спросила она.

Прежде чем поселиться в Обители Звезд, я жила в одном старинном городе, может, одном из самых древних городов мира. Моя маленькая комнатка находилась на самом верху дома, свидетеля жизни далеко не единственного поколения его обитателей; он в течение длительного времени принадлежал этой семье.

Это была обычная для восточного города постройка, тип которой известен с глубокой древности: прямоугольная в плане, в два этажа, с небольшим внутренним двориком, где большую часть года проходит жизнь многочисленной семьи изгнанников с берегов Средиземноморья. Главой семьи была маленькая чистенькая старушка; никто, похоже, не знал, сколько ей лет и как ее зовут; все называли ее бабушкой.

Дом был совершенно удивительный; резные колонны крытой галереи с карнизами, украшенными традиционными сталактитами, на потолке – росписи, где преобладал цветочный орнамент. На окнах – резные деревянные решетки работы местных умельцев. Уютный двор выложен плитам из камня; там цветник и колонка. Но главным было не это, а какой-то удивительный дух семейного очага, которого я нигде больше не встречала.

Сию на своей вышке и через окно во внутренний дворик вижу, как бабушка пришла с базара, держа вниз головами двух кур; и вот она уже поднимается на крытую галерею. На ней светлое платье свободного покроя, на голову накинута шаль из прозрачной ткани, расшитая блестками, узорами и знаками, среди которых я различаю изображение ладони – отрубленной руки. Это праздничный наряд пожилых женщин этого квартала, где ее соплеменники живут довольно обособлено. Высоким голосом, на диалекте, так как священный язык далеких предков сохранился лишь в их Доме Собрании, она зовет всю свою семью завтракать.

– Идите, идите! – кричит она, и звуки ее голоса долго висят в неподвижном воздухе раннего утра.

Со своей голубятни я смотрю, как эта семья завтракает на небольшом ковре, расстеленном на каменном возвышении в тени, под стеной дома, вся конструкция которого удивительным образом продумана и приспособлена и к палящему солнцу, и к зимнему холоду. Красота и практичность идут здесь рука об руку, и, вопреки господствующему мнению о какой-то особенной грязи таких домов, ничего подобного я там не видела. Разве что песок, но на Востоке везде песок, он – неотъемлемая часть восточного быта, а беспорядка здесь не больше, чем в любом доме, где живет большая семья и есть маленькие дети.

Тогда он спрашивает ее, кто ее научил так смешно рассказывать, словно она из племени путешественников с севера, забредших на Восток и случайно оказавшихся в этом древнем городе среди другого народа. Он даже съязвил, что предпочел бы, чтобы в то злополучное утро свидания на троллейбусной остановке, где он столько времени ее прождал, она оказалась бы с бабушкой, завернутой в роскошный кетонет, на котором вышиты бок о бок звезда Сиона и рука Фатимы, а не со своей подругой.

Несколько слов расколотого зеркала (служанки)

Совершенно самодостаточный текст, текст-гетто, еще одна вещь-в-себе, без начала и конца, где все права отданы на произвол случая, напоминает бусину из найденного Искандером ожерелья, которая особо не отличается от себе подобных, однако составляет неотъемлемую единицу совершенно немислимого без нее целого, части которого соединяются не по принципу подобия или тождества, но на основе избирательного сродства.

Он существенно отличается от текстов-лозунгов типа надписи, сделанной углем на стене кабинета директора краеведческого музея; татуировки на запястье, прикрываемой то часами Искандера, то рукавом муслиновой блузки женщины с кошачьей фамилией, известной постоянством своих возвращений к «Зачарованной вершине»; зашифрованной и никем не прочитанной надписи на неизвестном языке, которая перекочевала с фрагмента найденной в раскопе скульптуры на подошвы маленьких ножек, обутых в солдатские ботинки, принесенные Искандером для прогулки в горы. Все эти лозунги, или, скорее, обращения к идеальному читателю, тем не менее не являются содержанием пустого файла. Они сами и есть настоящая пустота, которая может быть заполнена чем угодно.

К этим отчаянным призывам можно было бы присоединить воображаемую надпись на стингере, но было бы крайне экстравагантно предположить, что *ищущий истину*, засевший в горах, украсил собственный «Отчаянный призыв» какой-нибудь строкой стихов своего любимого поэта, или чем-нибудь уж совсем невероятным, вроде изображения лотосов с буддийской ступы.

Мы возвращались другой дорогой

Мы возвращались другой дорогой. Она была длиннее, но намного легче. Воздух звенел тысячеголосым хором цикад. Это напоминало серебряные колокольчики. Они пели звонко и без перерыва. Их пение заполняло долину, заключенную в кольцо гор, поднималось к небу, переливалось через горы и несло дальше, уже подхваченное ветром пустыни.

Казалось, эта ни с чем не сравнимая музыка наполняла нас всегда, а то, что мы слышали, было лишь отражением этого пения, эхом, усиленным огромным и безлюдным пространством. Ветер бросал в лицо

запахи степных трав, пробежал шорохом по листьям низкорослых горных растений, которые крепко вцепились в расселины между скалами узловатыми корнями; раскачивая свои изогнутые стволы, они отдавали себя во власть ветра.

Мы прошли через заросли кизила; оранжевые плоды яркими пятнами выделялись на фоне темной зелени. Мимо диких грушевых деревьев и непроходимого кустарника, ветви которого были усеяны необычайно острыми и твердыми колючками, способными нанести глубокие и плохо заживающие раны; их корни, белые и сладкие, были излюбленной пищей встречающихся в этих местах кабанов.

Дорога полого спускалась вниз, и скоро стали различимы бахчи и поля, окружавшие Глиняный Холм. Несмотря на то, что идти под уклон было легко, спуск казался бесконечным и утомительным своим однообразием, которому, казалось, никогда не будет конца. На меня навалилась вдруг знакомая усталость, которая всегда бывает в горах после трудного подъема, когда все силы ушли на его преодоление; однако своеобразие этого состояния еще и в том, что усталость удивительным образом обостряет восприятие внешнего мира, на который ты смотришь теперь глазами первооткрывателя и первопроходца. Когда же подъем преодолен, скаывается переутомление, и тогда наступает апатия: подъем сыгран, выигран и тут же проигран, то есть ситуация исчерпала себя сама.

Он подошел ко входу в мою палатку, позвал меня и, не получив никакого ответа, отвернул пол и увидел, что я лежу ничком на раскладушке, поверх спального мешка, прямо в рабочей одежде. На его вопрос, что случилось, едва повернув голову, шепчу:

– Никуда я не пойду, я устала, хочу спать; не могу вставать так рано.

Сколько раз ей хотелось бросить всё

Сколько раз ей хотелось бросить всё и идти куда глаза глядят, подальше отсюда, добраться до голубых гор, чуть заметных на линии горизонта.

Работать на Глиняном Холме становилось всё труднее: она приобретала новые мозоли от непривычки к теще и синяки от постоянных ударов о твердую слежавшуюся глину.

Однажды, ничего никому не сказав, она решила переночевать на раскопе рядом с погребением девушки. Бес был осведомлен, и она надеялась, что он сам всё уладит и никто не станет соваться в ее овальную залу.

Почему-то в тот вечер ей вспомнилась древняя легенда о том, что Искандер Двурогий, о пребывании которого в этих местах мало что доподлинно известно, то ли собирался, то ли на самом деле женился на дочери побежденного царя Дария III.

Короткий сон и странное пробуждение. Она около отверстия в глинобитном полу, рядом саркофаг с керамическими сосудами: вазы, кубки, чашки для чая, чайники. Останки женщины в позе, характерной для этого типа погребений; ее лицо должно быть накрыто бронзовым зеркалом. На сложенных вместе и прижатых к черепу руках – бронзовые браслеты. Россыпи драгоценных камней уже нет – Искандер их унес. Она ведь провозилась полдня с этими камнями, собирая из них ожерелье, потом положила его в картонную коробку.

Она видит Искандера, он держит в руках собранное ожерелье.

– Милая, пойдем...

– Ты что, думаешь, я боюсь их?

– Нет, я знаю, ты их не боишься, но здесь шакалы, змеи и камышовый кот. Я его слышал.

Она показывает на ожерелье:

– Зачем мы у нее это взяли?

– А ты как думаешь?

– Я когда-нибудь снова вернусь сюда и привезу ей другое.

– Ты только так говоришь...

– Почему ты меня назвал «милой», меня называть так имеет право только муаллим...

– Это хорошее слово, так можно обращаться к девушке.

– *Ты бессовестно врешь.*

– Что значит «бессовестно»?

Она берет из его рук ожерелье, хочет надеть на себя. Но Искандер ловко забирает его назад и говорит ей, что в этих погребениях может быть всё, что угодно, в том числе и чума. И потому никакие находки нельзя на себя надевать, это правило, известное всем работающим на раскопках.

Она думает, что он опять *бессовестно* врет.

До нее вдруг дошло, что его приводило в бешенство то, что она никогда не могла утром вовремя встать, не умывалась (по крайней мере, так считалось, а для восточных людей это неслыханное нарушение благоприличия); последняя являлась к завтраку, когда еда уже остыла; всё постоянно теряла или забывала, не отвечала, когда он ее о чем-то спрашивал, а смотрела куда-то в угол; оставляла полный беспорядок на рабочем столе, а после работы, когда все шли отдыхать, оставалась в овальной зале и что-то писала в синей тетради, которую таскала под свитером, считая, что о ней никто не знает.

Она видела, что от всего этого Искандера просто выворачивало.

В тот день он тоже взял из ее рук это ожерелье. Не говоря ни слова, положил обратно в коробку. Потом машинально стал перебирать ее рисунки.

А она потратила столько времени, столько времени, чтобы собрать это ожерелье, сумела сплести его без специальных особо тонких игл, без пластиковой нити нужной толщины. Она взглянула на него и поняла, что говорить ему что бы то ни было совершенно

бесполезно. Да и что объяснять? Как объясняться? Он с трудом говорил на ее языке.

Правда, в дальнейшем Бес по этому поводу выдвинул рабочую гипотезу: от ее в высшей степени авторской работы у Искандера могло возникнуть впечатление, что она собирала украшение для себя, то есть в какой-то степени оно ей уже принадлежало, и, более того, это было ее собственное послание и уже потому его нельзя было ей подарить, даже во временное пользование, как овальную залу. Она не случайно договаривалась (и делала это, естественно, в присутствии Искандера) с духом дочери Дария, что заменит его когда-нибудь на другое. А Искандер, ревновавший к своим призракам Глиняного Холма, не выносил никакого вмешательства в собственный текст. Не делая исключения даже для нее.

Она так и не могла вспомнить потом, что же она тогда метнула в него: катушку ниток или собранное ожерелье.

Глава тринадцатая Осколок чаши из Рея или из Раги, черт возьми

Сиюю опять в своей любимой овальной зале и вспоминаю: с чего же всё это началось?

Да, с женского голоса, который по радио объявил маршрут. Поднимаюсь вместе с другими пассажирами в маленький летающий на местных авиалиниях самолет, и вскоре мы уже в воздухе. Через окно ничего не видно, кроме облаков. У моих ног тяжеленный рюкзак с красками и прочими рисовальными принадлежностями и картонная папка с бумагой для рисования.

Час лёта – и я уже на месте. И всего-то!

Мы пролетели над мертвыми и живыми городами, квадратиками возделанной земли, озером, похожим

на спящего дракона. Наконец, самолет приземлился, вот маленький аэродром, горячий ветер и вдали пыльные пирамидальные тополя. Меня так никто и не встретил.

Сначала я совершенно не могла понять, как построен этот город. Иду, к примеру, вдоль каких-то бараков предместья и вдруг попадаю в один из старинных кварталов.

И вот уже иду через базар, потом вдоль древнего канала, минуя здание, похожее на школу, и оказываюсь на углу какого-то вполне современного здания рядом с автобусной остановкой.

Сейчас около пяти часов – самый оживленный момент в жизни города. На улице масса народа, слышна чужая речь, изобилующая остановкой дыхания перед произнесением согласных, удлинёнными гласными и ударениями на последнем слоге.

Так как города я еще толком не знаю, то сначала пытаюсь добраться хотя бы до памятников архитектуры; у меня с собой синяя тетрадь: я собираюсь сделать несколько рисунков. Неожиданно оказываюсь возле водоема. Не могу понять, как я сюда попала. Замечаю, что окружающие начинают на меня обращать внимание. Но с этим ничего не поделаешь. Вылазка в старый город едва не окончилась плачевно для моей синей тетради – ее вырвали у меня из рук вместе с карандашом, правда, увидев рисунки и слова на чужом языке, тут же вернули. Пришлось купить местную шаль с кистями, темное длинное платье и, на всякий случай, черные очки, чтобы меньше привлекать к себе внимание. Как будто помогает.

Через некоторое время после приключения с синей тетрадью я поняла, что в этом городе очень легко заблудиться. Вот так однажды кручусь я около развалин старинной городской крепости, в какую сторону идти – не знаю, а спросить не могу. А тут еще откуда-то появляется похоронная процессия, которая движется в сторону кладбища, – значит, я точно на краю горо-

да; но как отсюда поскорее выбраться, непонятно, тем более что я не только города толком не знаю, но даже названия своего квартала не помню. Есть только почтовый адрес дома, где меня временно поселили, а на чем и как доехать туда, я тоже не знаю.

Опять заблудилась и с трудом выбралась из старой части города: села не на тот автобус, хотя и не пожалела. Он довез меня до старинной религиозной школы – точнее, до того, что от нее осталось. Я смотрела на потолок и стены и вспоминала, что когда-то читала о том, что рисование красками по местной разновидности гипса чем-то напоминает технику росписей а ля фреско страны, откуда я родом. Потом наткнулась на лавочку ювелира, который продавал местные изделия из серебра. И вдруг вижу кинотеатр. В нем шел какой-то фильм о буддийских статуях, уничтоженных повстанцами на территории сопредельного государства. Но билет стоил довольно дорого, поэтому я и не пошла на него.

Впервые решилась съездить за город. Пришла на автостанцию, села в первый же попавшийся автобус. Миновав предместье, автобус выехал на широкое и довольно ровное шоссе, которое явно вело в какой-то другой город. За окном мелькали островки пирамидальных тополей, хлопковые поля, оросительные каналы. Ехавшие со мной вместе люди, как мне казалось, вели между собой какие-то скучные разговоры, и чтобы их не слушать, я в нарушение всех правил высунула голову в окно.

Так мы ехали. Я наслаждалась солнцем, чистым воздухом, запахами пустыни. Вскоре мы действительно въехали в небольшой город, и автобус остановился у магазина. Я вошла и сразу же увидела книги по востоковедению: я поняла это по изображению одного великого ученого на обложке. Очевидно, это был его знаменитый «Медицинский Канон». Я не обратила внимания на то, чем занимались остальные

пассажиры, – наверное, что-то покупали себе в других отделах.

Потом водитель что-то выкрикнул, все бросились к автобусу, и мы поехали по этому городу дальше. Странное впечатление он производил: словно современная и прекрасно обставленная квартира. Светлые дома с лоджиями; всё было явно построено по специальным проектам, учитывающим здешний климат. Всюду были удивительная чистота и порядок. Однако я с ужасом думала о людях, обреченных жить в этом городе всю жизнь.

Мы ехали по дороге, ведущей, как я догадалась, к месту поклонения какому-то святому. Вижу: сооружение, довольно странное, но притягивающее к себе теплом стен из местного кирпича, запахом сухой и чахлой травы, проросшей между плитами двора, мерцающими чешуйками глазури – остатков следов древнего орнамента; дотрагиваешься до них, и они скользят между пальцами, словно время в песочных часах, которое, однажды упав на землю, смешивается с лёссовой пылью. Она здесь повсюду: почва в этой местности создана аллювиальными отложениями древних рек. Пытаюсь подняться на крышу купола, нахожу там остатки птичьего гнезда. Сторож мне делает какие-то знаки, словно прицеливается в меня; сначала я думаю, что он хочет сказать, что если я оттуда не уберусь, он меня пристрелит, но потом понимаю, что он имеет в виду другое: раньше здесь жил аист, но его кто-то застрелил. Для этих мест аист – священная птица. Он живет только в двух из пяти священных городов этой геометрической цивилизации.

Домой я возвращаюсь на том же автобусе. Заметив, что я всё время что-то рисую в своей синей тетради, водитель еще раз останавливает автобус около каких-то развалин и делает мне знаки, что он меня подождет. Решившись ему поверить, я вхожу под своды каменных стен и вижу остатки сделанных цветущим куфи надписей, которые сочетаются с ве-

ликолепным цветочным орнаментом. Возвращаюсь в автобус, и вот мы снова едем по новому шоссе.

Решаюсь совершить еще одну поездку в один из древнейших центров геометрической цивилизации, когда-то бывший местом паломничества. Согласно преданию, само прикосновение рук к усыпальнице почитаемого святого может исцелить даже от проказы. Но в данный момент всё здесь в страшном запустении: кладбище, все строения и даже высокая башня, с которой верующие призывались к молитве, – всё сплошные руины.

При виде автобуса пожилой сторож открывает ворота – теперь сюда даже можно въехать. Но потом следует выйти и идти пешком. Я прохожу мимо традиционной для Востока пристройки – крытой галереи с колоннами; за ней видно кладбище с длинными деревянными шестами, завершающимися вырезанными из меди изображениями ладони одного из пророков. На некоторых шестах лоскуты белой материи – их назначение мне непонятно, а спросить не у кого.

Стою и смотрю на высокую кладбищенскую осыпь, на полуразрушенный водоем, наполненный мутноватой водой; среди тщательно подметенных плит во дворе в небольшом углублении растут удивительной красоты чайные розы. Я наклоняюсь над ними, потом сажусь на нагретые солнцем камни, чувствую на своей щеке прохладу лепестков, закрываю глаза, вдыхаю их тонкий и чистый аромат.

Подходит сторож, помогает мне подняться с земли, срывает две розы и подает их мне. Не произнеся ни единого слова, я прощаюсь с ним, прижав правую руку к сердцу, а он еще пытается угостить меня ягодами тутовника, который растет рядом с шестами с ручкой. И вдруг я себе представляю целую толпу прокаженных, которые приходят сюда в надежде обрести исцеление и произносят слова своих молитв, касаясь руками ветвей именно этого тутовника. Кажется,

я догадываюсь, что означают эти белые лоскутки ткани на деревянных шестах.

Я купила себе несколько серебряных украшений у мордатого старика-ювелира, исчерпав таким образом небольшой запас средств, бывших в моем распоряжении. Боюсь, теперь мне придется влачить полуголодное существование; хорошо хоть, что крыша над головой у меня пока есть.

День мой обычно начинается около восьми часов утра, когда, наспех причесавшись и накинув шаль с кистями, я выхожу на еще прохладную улицу.

Мое первое ощущение счастья и свободы внезапно сменяется приступом какого-то дикого страха, от которого перехватывает дыхание, стучит в висках и начинает болеть голова.

Я приписываю это тому, что никогда не жила в небольших городах, когда твое присутствие сразу же становится предметом особого интереса его обитателей и совершенно не знаешь, как надо себя вести. Подчас возникает чувство, что, несмотря на то, что твою физическую свободу (хотя бы передвижения) никто не ограничивает, ты сидишь, как в осажденной крепости, каждый миг пребывания в которой полон опасностей. Кажется, они затаились всюду: в наигранном безразличии, с которым окружающие, разговаривая друг с другом, казалось бы, о посторонних вещах, смотрят на тебя, и ты чувствуешь, что они подмечают любую мелочь, а от их белозубых улыбок холодок пробегает по коже, а уж когда они говорят с тобой с этими вкрадчивыми интонациями в голосе, то не оставляет ощущение, что ты попала в невидимый, но крепкий капкан.

Этим утром выскакиваю из дома немытая и нечесаная – ничего, потом умоюсь на городской колонке. Надо сходить на базар, купить на завтрак пирожков с мясом, которые готовят здесь в больших котлах в кипящем хлопковом масле. Мне постоянно кажется,

что большинство людей в городе смотрят на меня такими глазами, что дай им волю, тут же придушили бы. Может быть, это оттого, что я хожу растрепанная и в грязной одежде. Но я это делаю специально, чтобы не приставали.

Теперь я, что тот кувшин, повадилась каждое утро ходить на городскую колонку, где так удобно умываться. И завтракаю прямо на базаре пирожками с мясом. А где ужинать – ума не приложу. Хотя можно купить на том же базаре лепешку и пойти в чайную. Проблема заключается не в том, что быть одной немного скучновато, – гораздо неприятнее чувствовать себя объектом интереса рачьих глазок обывателей.

Часто брожу по городу, разглядывая старинные постройки. Особенно хороши здешние деревянные двери. Пытаюсь определить время постройки того или иного здания и его назначение. Иногда попадаются и совсем загадочные сооружения – гробницы или мавзолеи святых, плотно прилегающие к домикам из необожженного кирпича, которые построены совсем недавно. Иногда руины порталов наводят на мысль, что раньше это была школа: прилежные ученики учились чтению и толкованию Священной Книги геометрической цивилизации: там же они писали страстные слова изысканным цветущим куфи; ныне же из келий, где они некогда жили, сделали жилье – из каждой кельи отдельный домик, где теперь обитают представители городских низов.

Удивителен рельеф этого города: он то проваливается в высохший водоем, то взлетает на вершину холма. Я брожу по заброшенным руинам, шатаюсь около остатков крытых куполами водоемов; однажды даже наткнулась на какое-то полуразрушенное здание, куда нельзя было войти: дверной проем был заколочен досками, но я просунула голову в щель и умудрилась рассмотреть дивной красоты роспись на потолке.

Рядом оказалась чайная, я вошла туда, ела свою лепешку и пила зеленый чай с благодушными старцами, которые знаками пытались о чем-то меня спросить. Наверное, хотели выяснить, откуда я. Но как мне объяснить им, что я ниоткуда, что ничья я не приемная дочь и ничья я не милая (даже если с этим «хорошим словом» можно обращаться к девушке); как сказать им, что я с Глиняного Холма. Боюсь, сумею я даже объяснить на их языке, кто я и что, для них это прозвучало бы почти неприлично.

Когда солнце садилось, обычно я покидала старый город и выходила на базарную площадь, к тому времени совершенно опустевшую, и садилась на теплые камни у высокой, устремленной в небо башни, с которой когда-то верующие сзывались к молитве. В этот час здесь бывало тихо; я сидела на каменном выступе у подножья башни, чувствовала, как поднимается ветер. Он приносил из пустыни запах полыни; я могла сидеть здесь часами, размышляя о своем теперешнем времяпрепровождении и о том, какую легкость можно чувствовать, когда нет ни дома, ни близких, ни дел, ни слов, ни вещей – ничего из того, что привязывает к одному месту. И можно идти куда глаза глядят, а если при этом еще в твоём кармане позвякивает несколько монет, то совсем хорошо.

И я задавалась вопросом, как можно вести такой полубродячий, почти что нищенский образ жизни, жить так, словно ничего другого со мной никогда и не происходило.

Вот сейчас возьму и встану. Пойду куда-нибудь дальше. И эта легкость, с которой можно передвигаться по улицам древнего города, когда каждый порыв ветра надувает парусом мое единственно платье из темного шелка, становится основным ощущением жизни.

Однако не стоило обольщаться. Страх всё равно остался, он притаился где-то рядом, и сколько бы я ни старалась о нем забыть как о чем-то запретном или

неназываемом, он всё-таки присутствовал и время от времени давал о себе знать.

Так, несмотря на то, что я решила, что в кинотеатр идти уже совсем неудобно и опасно, однажды я всё же туда отправилась и на лестнице столкнулась со своими соседками с улицы, на которой я жила. Увидев меня, они страшно смутились, и одна из них даже попыталась мне улыбнуться, но в улыбке ее таилось что-то такое, что заставило меня подумать, что продолжение следует.

Мне так и не суждено было увидеть, как повстанцы расстреливали буддийские статуи, когда у одной из них оторвалась голова, которую так и не нашли...

Несколько раз я ездила за город на древнее городище и привезла оттуда массу осколков древней керамики. Один из них меня особенно заинтересовал своим необычным орнаментом возле остатков ручки. Надо будет его кому-нибудь показать и узнать, для чего мог использоваться этот сосуд.

Проезжая мимо небольшой речушки, я заметила, что вода в ней мутная и серая, как и в оросительных каналах. И мне, родившейся на берегах самой прекрасной реки в мире, показалось невероятной даже сама мысль о том, что в этой грязи можно купаться или хотя бы стирать одежду. Но выяснилось, что я была не права: она была не грязной, это частички лёсса делали воду такой непрозрачной. С точки зрения чистоты она была не хуже моей реки с прозрачной водой.

Тогда я решила в этой речке искупаться, но увидела фалангу; это была ужасная тварь, хотя она была мертва, ее недавно кто-то убил. В тот момент, когда я ее увидела, что-то острое впилось в мою пятку – я наступила ногой в легкой сандалиии на стекло, и так, одной рукой держась за пятку, а другой пытаюсь вытащить из кармана носовой платок, я почувствовала, как у меня из глаз полились слезы: мне показалось, что меня эта тварь укусила, хотя собственными глазами видела, что она мертва.

После этого мне ни искать черепки, ни купаться, ни бродить здесь уже не хотелось. По дороге в город я подумала, как было бы ужасно остаться здесь всю жизнь, в этом месте, где даже за городом нельзя присесть и отдохнуть, где нет деревьев, как в наших лесах, и вообще ничего такого, что могло бы тебя скрыть от чужих глаз. Кругом одни хлопковые поля. Ходить можно только по тропинкам, потому что всё кругом заросло верблюжьей колючкой, хотя, когда смотришь из окна автобуса, всё кажется привлекательным и приятным.

Она вычитала в каком-то трактате

Она вычитала в каком-то трактате по архитектуре, что тип постройки ее временного пристанища очень древний, с прекрасно продуманной системой вентиляции: утром можно прочно закрыть окна ставнями, вечером же, вернувшись домой, устроить сквозняк, одновременно открыв дверь и расположенное напротив единственное окно, и комната мгновенно наполнится вечерней прохладой. Тогда можно будет зажечь лампу и сесть лицом к выходящему во внутренний дворик окну. А можно и не зажигать лампу. А сесть просто так.

В тот день она решила поехать куда-нибудь недалеко. Села в автобус – денег уже почти не осталось, правда, утром ей удалось каким-то чудом позавтракать.

За окном – типичный для этих мест пейзаж: глинобитные домики, хлопковые поля, яблоневые и персиковые сады. Приехали в небольшой городишко. Полуразвалившиеся дома, но внутри смесь современной мебели и плюшевых ковров. По сравнению с ее теперешним жильем всё это казалось ненатуральным, вульгарным и аляповатым – очевидно, таков вкус живущих в этих домах людей. У многих жителей этого места на лице следы от оспы.

Она вдруг вспомнила Искандера, его лицо, несколько темноватую даже для уроженца Востока кожу, маленький шрам на подбородке.

Нет, скорее прочь от этих воспоминаний, и отсюда тоже – прочь.

Она решает завернуть на базар, идет довольно долго, стараясь не встретиться взглядом с прохожими, и вот, наконец, выходит на базарную площадь. Ее внимание сразу привлекают деревянные приспособления, при помощи которых на хлебные лепешки наносится узор. Ей известно, что по этому рисунку можно установить, в каком доме испекли лепешку.

Она идет по базару дальше. Глаза разбегаются. На что интересней смотреть? На людей или на вещи, которые эти люди называют словами, держат в руках и продают?

Вот она подходит к глинобитной стене; оттуда доносится истошный рев: это ишакий двор. Она подпрыгивает, цепляется за верх стены, подтягивается на руках, чтобы посмотреть, что там происходит. Перед ней десятки, нет, сотни ишаков, море ишаков, океан ишаков, ишаки всего мира до самого горизонта – тысячи ушей, ног, глаз, и всё это живет, колыхается, дышит, жует и время от времени самозабвенно ревет, как трубы Иерихона. От смеха она чуть не сваливается на землю.

Ей в голову приходит мысль спросить кого-нибудь, как же в этом скопище животных хозяин узнает своего ишака. Но так как этот вопрос никому задать невозможно, она на него отвечает сама. А зачем, собственно, хозяину своего ишака узнавать? Ишак увидит хозяина и сам к нему подойдет. При этой мысли она снова начинает дико хохотать, приводя в смущение какого-то почтенного старца, вознамерившегося отдохнуть в тени стены ишачьего двора. Она незаметно присматривается к нему. Впервые она видит в этом месте человека, на лице которого не было следов от оспы. Чертами лица он напоминал

античную скульптуру, а кожа имела какой-то неземной голубоватый оттенок.

Может быть, так выглядели те зиждители Закона, Порядка и Света, чьи следы сейчас ищет Искандер на Глиняном Холме?

Нет, прочь от этого места, скорее прочь.

Через некоторое время она видит памятник архитектуры, связанный (как утверждается в трактате по архитектуре) с именем коронованного ученого, который построил на Востоке три или четыре религиозные школы и обсерваторию. Она видит перед собой башню, дом молитвы и кладбище. Те же астрально-декоративные мотивы, что и в ее зачатом восточном городе, из которого невозможно выбраться.

Скорее прочь отсюда.

Очевидно, время постройки – то же, раннее средневековье.

Она не уверена, что строения, что прямо перед ней – именно те, о которых говорится в трактате. Узнать, так это или нет, не у кого, кроме того, она не сомневается, что имя знаменитого астронома здесь никому не известно, разве что школьному учителю. Она видит классическое сочетание цветов росписи, типичное для средневековых построек: черный, белый, синий и цвет бирюзы; эта строгая изысканность вскоре сменится полихромией декоративного декаданса. На надгробьях надписи на священном языке геометрической цивилизации. Но ей кажется, что большинство этих эпитафий светского содержания.

Ты лжешь, если жалуешься на муки любви. Об этом в трактате по средневековой архитектуре Востока – ни слова.

Нет, прочь отсюда – скорее – прочь!

Когда она после всех приключений добирается до автобусной остановки, выясняется, что и автобус больше не ходит. Ей приходится выйти на шоссе и ловить какой-нибудь транспорт. Вскоре ей удастся остановить машину с военными; те соглашаются ее подвезти.

Дом, в котором живет нынче девушка, что умеет рисовать и переписывать тексты старинных рукописей, в определенном смысле райский уголок. Он находился неподалеку от старинных городских ворот, в квартале, пользующемся среди обывателей дурной репутацией. Эта часть города носит имя одного из глав некогда могущественного и богатого семейства, которое раньше правил городом, но пусть это громкое имя до времени останется читателю неизвестным.

Нынче же здесь живут представители городских низов. Это семьи, пережившие какую-нибудь катастрофу, или те из таких семей, кто остался в живых: вышедшие из тюрьмы, ссыльные, скрывающиеся от правосудия преступники и просто всякий сброд, объединенный под общим названием «неудачники». Здесь пьют вино, курят траву и дерутся с поножовщиной. Скорее всего, именно в этом квартале и находится знаменитая Черная Чайхана.

Возможно, хозяйка домика, мать ее подруги, у которой сейчас живет девушка с татуировкой на запястье и вместо которой Искандер предпочел бы увидеть на остановке бабушку в кетонете, – прямой потомок этих в прошлом самых богатых и знатных людей.

У нее есть брат или муж, высокий сутулый мужчина с добрым и приветливым лицом, кривой на один глаз, что его однако совсем не портит. Даже вполне возможно, что его кривоглазие объясняется высоким аристократическим происхождением.

Дом этот построен недавно. Это одно из строений, что за несколько дней возникают на городской окраине, возле древней крепостной стены, что раньше опоясывала весь город. Обычно такие дома строят три или четыре мастера-каменщика, остальные – просто родственники хозяев, которые работают под началом этих мастеров. После окончания строительства на крышу затаскивают барана, перерезают ему глотку, чтобы кровью жертвенного животного окропить

дом, после чего все родственники, соседи и строители устраивают праздник новоселья.

Так этот домик, где жила милая ученица муаллима и его приемная дочь, прилепился к городской стене и стал как бы продолжением забора из необожженного кирпича, не настолько высокого, чтобы придать ему вид неприступной крепости, как у бабушки, но достаточно высокого, чтобы скрыть от посторонних глаз жизнь его обитателей.

Между домиком и древней стеной – огород. Там несколько кустов помидор, ароматичные местные травы, но традиционного сада пока нет: ведь дом построен недавно. В городской стене, с внешней стороны которой течет оросительный канал, есть отверстие, куда, отвалив глиняную пробку или камень, можно направить вечером воду к грядкам с помидорами и полить их. У этой семьи есть еще один дом в старом городе, но там, вероятно, некогда произошло что-то такое, о чем все хотели бы забыть; может быть, он сдан кому-нибудь в аренду, да мало ли что могло произойти с таким домом. Даже если бы девушке с татуировкой и пришла мысль там поселиться, то, поразмыслив, она бы решила, что этого делать не стоит.

К ней в гости часто приходит рыжеволосая девочка-подросток, которую зовут так же, как дочь Дария III, и молодой парень из соседнего дома, они всегда приносят в подарок персики из своего сада. Но юноша почему-то зовет свою сестру не Раушан, а «Спутница».

Утром, проснувшись, она выходит из дома и перебирается под окна, выходящие во внутренний дворик, совсем как у бабушки. Здесь на земле, которую только что полили водой около кустиков мяты, разложены цветные коврики – на них можно еще немного подремать. Принятый на Востоке обычай ходить в доме без обуви создает атмосферу непринужденности: отбрасывается ложная стеснительность, что не мешает, однако, неукоснительно следовать местному этикету.

Неизвестно, чей дядя или муж одет в светлую рубашку античного покроя, заправленную в брюки и перепоясанную местным вышитым поясом. Он иногда приносит дыню; для того чтобы ее съесть, надо сначала ее правильно разрезать: сначала два кружка с краев, потом каждый из них на четыре части, чтобы (чем черт не шутит!) выгнать из дыни шайтана. Теперь, когда шайтан извлечен, дыню можно есть. Сейчас этот человек ловким движением режет дыню на длинные продольные полосы и ловко вытряхивает из нее семечки и жидкость, в которой эти семечки плавают.

В этой семье принято угощать гостей каким-то странным кушаньем, похожим на соленую горячую простоквашу, в которой плавают лук, чеснок, мята и другие ароматные травы, а также всевозможными салатами, блюдами из лапши домашнего изготовления, разнообразными сладостями и, конечно, традиционными лепешками и зеленым чаем.

Когда она уезжает, на прощание хозяева вручают ей лепешку и букетик мяты. Давать гостям в дорогу хлеб – священный обычай.

Что могла увидеть дочь Дария III в медном зеркале (служанки)

Ожидание на вокзале. Какое безотрадное впечатление: у большинства людей испытые лица с землистым оттенком; все они, эти горе-путешественники, вечные перекасти-поле, скитаются по миру, без дома, без крова, с жалкими пожитками и плачущими детьми. Грязный вонючий поезд, куда страшно входить; смрад и духота, но, оказывается, и к этому можно притерпеться.

Напротив женщина лет двадцати трех с двумя детьми и застенчивый юноша с серыми глазами, явно ее брат; наверное, едут навестить родственников. Миловидное, но уже увядшее лицо. Младший из ее

детишек всё время плачет, капризничает, ему жарко. Женщина достает заварочный чайник, конфеты, лепешки; почти все пассажиры тоже пьют чай. Вскоре эта семья сходит на каком-то полустанке.

Солнце поднимается выше, теперь оно светит прямо в окна вагона, вскоре становится совсем душно. Время от времени через вагон проходят военные, просят всех встать со своих мест: они кого-то или что-то ищут, должно быть, оружие или наркотики.

Дорога проходит по безлюдным местам, за окном монотонный пустынный пейзаж, но это еще не настоящая пустыня. До настоящей пустыни ехать да ехать. Пока что это песок, а скорее глинозем, поросший чахлой растительностью; мелькают полустанки, развалины глинобитных домиков. Поезд идет медленно и часто останавливается.

Девушка в темном шелковом платье, закутанная почти до самых глаз в шаль с кистями, выбегает на каждом полустанке; пассажиры что-то кричат ей вслед, указывая на ее рюкзачок, — они думают, что она его забыла. Она крутится как, волчок, — видно, ей просто хочется как можно лучше рассмотреть местных жителей. Вот красавица в длинном до пят темно-зеленом платье, с вышивкой цветным бисером, двумя широкими полосами спускающейся на грудь; ворот этого платья и рукава и даже низ шальвар также расшиты бисером, но эта часть ее наряда почти не видна из-за длинного платья. Строгий удлинённый силуэт одежды подчеркивает девическую стройность и хрупкость этой юной матери; она несет на руках прелестное существо двух или трех лет. За ней — женщина постарше, в белом тюрбане с шалью, накинутой на плечи и ниспадающей до земли. Все эти женщины носят платья из шелковой ткани, украшенной продольными полосами; их шелк сделан на ручных ткацких станках.

На женщинах изобилие серебряных украшений, это талисманы и всевозможные обереги, защищающие от сглаза и злого духа. Вот оберег — горизонтально подвешенный на цепочке полый цилиндр из дра-

гоценного металла, украшенный затейливой резьбой; в нем — текст из Священной Книги. На руках тяжелые серебряные перстни миндалевидной формы.

На полустанках продают помидоры, лепешки, кислое молоко и... даже соленые огурцы. Небось, какая-нибудь бедовая бабка из далекой северной страны; она и язык-то свой родной давно забыла, а секрет соления огурцов — помнит.

Поезд идет дальше, теперь напротив молодая женщина; едет с матерью в какой-то маленький городок. Там, наверное, рассчитывает найти мужа или работу. Попутчики рассказывают этим двум женщинам о том, какие ужасы, по слухам, творятся в этом городишке, и о диких нравах живущих там людей.

На полустанках, где поезд не останавливается, местные дети, а иногда и взрослые, кидают камни в окна вагонов. Один камень попал в окно коридора и пробил оба стекла. Посыпались осколки. Один угодил девушке в лицо и даже слегка поцарапал нижнее веко левого глаза. В первый момент она решила, что ослепнет, или, по меньшей мере, окривеет. Ей пришлось заняться раной самой, но у нее даже чистого носового платка не было. Но, в конце концов, кровь остановилась сама, и она приклеила на веко кусочек прозрачной конфетной обертки, слегка лизнув его языком.

Постепенно количество пассажиров увеличилось, многие были в грязной рабочей одежде; очевидно, они искали в пустыне нефть или воду, а может быть, и им тоже хотелось разгадать тайну своего происхождения. После нескольких часов такого путешествия и у остальных пассажиров вид был немногим лучше.

Была глубокая ночь, когда поезд, опоздав на несколько часов, прибыл в тот самый город, которого теперь уже нет ни на одной карте и куда направлялась девушка в платье из темного шелка.

Железнодорожная станция. Кругом темнота, чужая речь; во мраке чей-то сиплый голос выкрикивает мужское имя, и это надрывно звучащее в ночи слово

к тому же означает «жертва». Всё это вызывает у нее приступ безудержного смеха, и она смеется в темноте, да так, что на нее начинают оглядываться. Понимая, что ни к чему в таком месте привлечь к себе внимание, она зажимает себе рот ладонями, окрашенными оранжевой краской растительного происхождения, как у большинства здешних сельских женщин.

Утром она едет на автобусе по городу. Пригороды похожи на десятки других таких же предместий. Автобус выезжает из города, и она замечает, что жизнь на этой земле сильно отличается от всего, что она видела раньше. Здесь у людей другой тип внешности, речи, поведения. В одежде преобладают красные, пурпурные тона. И покрой тоже особый. Вышивки на женских платьях напоминают скорее античный орнамент, чем геометрический рисунок или цветочный узор, преобладавшие в других местах. Украшения на местных женщинах – тоже иные: они массивнее и проще. И оттого выявляется красота самого металла, из которого они сделаны.

Жилье в ужасном виде; ей кажется, что ни один нормальный человек никогда бы не довел собственный дом до такого состояния. На стенах глинобитных домов большие – сверху донизу – трещины, а заборы из необожженного кирпича развалились. Плоскости стен этих домов чуть-чуть «завалены» вовнутрь, наподобие древних построек Средиземноморья: они представляют собой рифленую поверхность, словно кто-то провел множество вертикальных линий от крыши до самого основания стен. Возможно, это следы какого-то древнего декоративного приема.

Ну зачем он ей сказал

Ну зачем он ей сказал про чуму и проказу, которую можно подцепить в погребении, как будто больше их нигде подцепить нельзя! Из-за этого она, конечно, выпросила у него поносить перстень с дельфином,

правда, можно считать, что, уступив ее просьбе, он легко отделался. Ожерелье принцессы, как она считала, было запрятано подальше от глаз, так как оба они его больше не хотели видеть.

Сейчас эта улика наверняка красуется на черном бархате (хотя больше бы подошел шелк оливкового цвета) в специально оборудованной витрине одного из самых больших музеев мира.

Но, желая ее проучить, снова снять этот перстень он отказался и сказал ей:

– Раз ты больше ничего делать не хочешь и тебе здесь надоело или я тебе надоел, то и поезжай куда хочешь – или в этот придуманной тобой город, которого даже нет на военной трехверстке, в этот Рей – или Рагу, черт возьми! Я тебе скажу, к кому обратиться. Я скажу тебе, как найти ювелира, и пусть он снимет с тебя и этот перстень, и заодно что-нибудь другое, если ты, конечно, сама этого захочешь.

Она ему напомнила, как на него смотрел муаллим, когда он приехал в Обитель Звезд, а ведь он его любимый ученик. А ее он называл «приемной дочерью», и для него она была не только девушкой, которая переписывает старинные рукописи; когда он объяснялся с типами, которых Искандер, сославшись на занятость, прислал за ней, можно было подумать, что муаллиму очень хотелось отдубасить его, любимого ученика, своей знаменитой палкой с серебряным наконечником; переписчице священных текстов нельзя запретить ехать с ним в долину Багряной Реки, а приемной дочери – можно. Она догадалась тогда, о чем они говорили на диалекте, который она почти не понимала, нарушив все правила вежливости. Искандер при этом побледнел, что у него всегда было признаком ярости, он тогда мог сказать муаллиму только одно:

– Она сама этого хочет, – на что муаллим, скорее всего, ответил:

– Поезжай, но твоя дальнейшая судьба меня больше не интересует.

Кому из них он это сказал? Очевидно, обоим.

Он прикидывался, что ничего не замечает, когда видел ее слезы в машине, и делал вид, что следит за дорогой.

Оттого она и плакала, что никакой радости ей при мысли, что наконец они будут одни и смогут делать всё, что им заблагорассудится, потому что там никого, кроме рабочих, не будет, разве что Бес, но Бесу придется выбрать, за кого он и против кого, и она думала, что он выберет уж точно не ее, — ни малейшей радости от этой мысли не было.

Муаллим смотрел тогда на Искандера и, наверное, думал что-нибудь вроде: «Неужели ты не понимаешь сам, что ты словно ее старший брат, и ваши предполагаемые лингвистические чаепития на отдаленном от цивилизации раскопе уж точно не смотрятся как профессиональные интересы и необходимость в лишней паре рабочих рук. Или ты не понимаешь сам, что во всем этом с самого начала было что-то недозволенное, — в том, чем ты там собирался с ней заниматься. Да ты на ее родном языке и двух слов не можешь связать».

Разве муаллим не видел, что Искандер сразу же понял, кто эта девушка с перемазанными по локти руками, с оберегами на шее и обломанными ногтями, покрытыми растительной краской, которую он решил не пригласить в долину Багряной Реки, а почти что выкрасть, увезти силой, несмотря на то, что формально она его об этом сама попросила?

Кого он собирался привезти с собой на Глиняный Холм?

Она не была его судьбой, она не была ничьей судьбой, и он этого не мог не понимать. Не мог не понимать, что они так и не смогут выбраться из этого заклятого восточного города и будут вечно кружить по его улицам, где одному военному служащему (а Искандер в одной из своих жизней вполне мог быть и военным служащим) было однажды назначено свидание с самой смертью.

И сейчас она выходит из автобуса, который остановился у ворот; через них можно войти во внутренний город. Жара стоит нестерпимая.

Постройки этого города напоминают *увиденное ранее*, но им словно недостает монументальности и законченности форм. Словно это макет, набросок или эскиз. Всё такое маленькое и изящное, словно на восточной миниатюре.

Она идет по каменным переходам от одного здания к другому. Видит деревянные резные двери, ведущие в небольшие помещения крытой галереи, похожие на раскрашенные балкончики. От такой тесноты ей скоро становится не по себе. Кто мог жить в этом здании? Разве что куклы, здесь всё кукольное: кукольная мебель в кукольных комнатах.

Она смотрит на уходящие ввысь деревянные колонны, на створки деревянных ворот дворца. Много-слойная резьба, рельефные рисунки, перекрывающие друг друга на разных уровнях, образуют единый пространственный орнамент, что создает иллюзию глубины и объема, сохраняя при этом целостность декоративного замысла...

Она вспоминает трещину в стене, увиденную через окно автобуса, и понимает, что если местные жители могли тратить столько труда и таланта на украшение дверей и колонн во дворцах своих владык, то нет ничего удивительного в том, что на ремонт собственного жилища у них уже не хватало ни времени, ни сил.

Никому нельзя рассказывать о найденных чашах и, тем более, о собственных снах

Я смотрю на непонятное сооружение и думаю: когда-то здесь был дворец. За одной из закрытых дверей, куда я легко проникаю через щель в досках, обнаруживается что-то вроде чиппиндейловского кресла, заваленного каким-то бумажными свертками. Скорее

всего, туда свалены никому не нужные вещи: черепки, куски дерева, металла. Подхожу ближе к этому трону с хламом, запускаю руку в первый же попавшийся бумажный пакет. На ощупь вроде бы осколки керамики. На всякий случай, тащу один из осколков к себе. Он не поддается, наверное, слишком большой или его что-то прижало. Беру с пола камень, бухаю со всей силы по свертку и вытаскиваю огромный осколок с росписью.

Он не может быть не чем иным, как фрагментом ритуальной чаши. Поблизости раздаются чьи-то шаги, я пытаюсь засунуть осколок в рюкзак, но у меня трясутся руки, он никак туда не входит. Снова хватаю камень. На этот раз бью по моему осколку. Он разбивается на две неравные части. Запихиваю ту, что побольше, в рюкзак, а оставшуюся засовываю обратно в пакет. Бок рюкзака сразу подозрительно оттопыривается. В дыру, куда я только что проскользнула, кто-то пытается заглянуть.

Выбираюсь из этого дворца, сердце стучит, как молот. И на такой-то жаре опять долго блуждаю по улицам и развалинам.

Иногда попадают даже совсем целые дома с прелестными внутренними дворами, с традиционным цветником. Дворик всегда чисто подметен, а в орнаменте на резных дверях я замечаю стилизованное изображение солнечного круга, древнего священного символа огнепоклонников. Меня просто сводит с ума эта бесполезная, почти болезненная роскошь изразцов, многослойной резьбы по дереву: кажется, что само время здесь остановилось.

Вот сейчас вижу внутренний дворик, мощный белыми плитами; в одной из этих глинобитных развалюх мне бросается в глаза удивительная роспись резного потолка. Украшенные гипсовыми сталактитами колонны и босые ноги цвета картофеля какой-то пожилой женщины: она полулежит на истлевшем ковре, чуть поодаль стоит металлический, скорее всего, медный или бронзовый кувшин для омовений. Такой грязный, что только по ручке, за которую берутся не-

сколько раз в день, можно догадаться, из какого металла он сделан. В этот раз – бронза.

Создается впечатление, что в течение нескольких столетий в этом доме не появилось ни одной новой вещи. Я пытаюсь представить себе, сколько дней, недель, месяцев или лет могла бы я здесь прожить. И тут я замечаю чайную. В тени дерева неподвижные фигуры местных старцев. Наконец, можно спокойно выпить *глоток горячего зеленого чая*.

По дороге заглядываю в дверь здания, готового вот-вот развалиться. Вижу около двухсот резных колонн. Нет, такого не может быть! Очевидно, у меня от жары галлюцинации. Бегом, бегом отсюда! Опрометью несусь по пустынному, будто вымершему базару.

Хочу разобраться в своих впечатлениях. То, что можно назвать содержанием этой геометрической цивилизации, я вижу только в ее прошлом, в тот момент, когда этого содержания становится слишком много, оно переходит в форму, и, хотя хочется верить, что в центре всей этой роскошной культуры стоит человек, иногда становится просто не по себе. Если представить, что эти дивные мастера, эти художники, работавшие над украшением дворцов, каждый день возвращались после работы в свои лачуги, вроде той, где лежала босоногая женщина и стоял бронзовый кувшин, то чему служит всё то, чем занимаемся мы на Глиняном Холме? Может быть, наоборот, о таком прошлом лучше навсегда забыть?

Или такая жизнь этим мастерам нравилась? А разве нам нравится глотать пыль, ходить в грязной одежде, спать где придется, торчать полдня в раскаленном раскопе? Или про моих современников когда-нибудь будут говорить, что их это делать «кто-то» заставлял, как теперь мы думаем про тех мастеров?

Недалеко от железнодорожной станции река неслала свои мутные воды, слева виднелся совершенно пустынный пляж, а может быть, это был просто намытый водой песок; здешние жители никогда не купаются и не любят вида обнаженного тела.

Рядом с рекой была полуразрушенная чайная, где я купила хлеб и конфеты. Там были традиционные, хотя и еле держащиеся широкие диваны, накрытые какими-то лохмотьями. А хозяин, улыбчивый человек средних лет, не подходя ко мне сам, поручил своей дочке напоить меня зеленым чаем. Но мне показалось, что здесь подают не только чай.

Хорошо, что в этом квартале у вокзала отношение к чужакам более спокойное, оттого что его население разноплеменное. Здесь бок о бок живут и оседлые люди, и бывшие кочевники. Хотя иногда от избытка чувств местные детишки кидаются комьями глины. Но, так или иначе, женщина с открытым лицом, да еще путешествующая одна, здесь не является поводом для общественного ажиотажа. Более правильно было бы сказать, что здесь никому ни до кого нет дела. В одном месте я заметила дом с трещиной во всю стену – с дороги из окна автобуса было видно, как живут его обитатели. Стена явно треснула не вчера и не сегодня.

Выяснилось, что обратно можно лететь на самолете местной авиалинии, но он брал на борт не больше двенадцати человек. Кресел в нем не было, но вдоль бортов шли длинные и узкие скамьи, а над ними висели брезентовые петли, чтобы за них можно было держаться, как в старинных городских трамваях. Вскоре все пассажиры заняли свои места, потом вошел экипаж; вид его и особенно запах винного перегара не внушали никакого доверия; было очень жарко, из-за этого дверь в кабину пилота осталась открытой, и я заметила, что там уже кто-то, мертвецки пьяный, спал. Наконец, взлетаем.

Когда мы стали набирать высоту, время от времени проваливаясь в воздушные ямы, в самолете началось какое-то светопредставление. Приступы рвоты сотрясали пожилого мужчину, который сидел напротив меня; очевидно, давно уже себя чувствуя плохо, он всё время закатывал глаза. Другие пассажиры, глядя на его мучения, смущенно усмехались или от-

водили глаза. Меня же начал разбирать истерический смех, тем более что я сидела с самого края скамьи, почти у двери; *мне не хватило петли*, и не за что было держаться. Над моей головой висела металлическая труба. Я достала свой зонтик от солнца и зацепилась изогнутой ручкой за трубу. Ручкой держаться приходилось за острый конец зонтика, который всё время выскальзывал, особенно когда самолет проваливался в воздушные ямы. Вдруг пожилой человек позеленел, и его стало мутить. Я хотела что-нибудь достать из рюкзака и дать ему, только не знала что, а рюкзак оказался глубоко под скамьей, и его пришлось извлекать из-под лавки всё той же изогнутой ручкой от зонтика, что было смешно и нелепо, но пассажирам было не до меня и не до моего дурацкого смеха; сейчас они почти все занимались тем же самым, что сосед напротив.

Так что нелепость всей ситуации могла оценить только я сама да молодой парень, сидевший рядом со мной на скамейке. В конце концов, рюкзак я всё-таки вытащила. Но в нем не нашлось ничего подходящего, и мне ничего не оставалось, как отдать страдальцу воздушных путей свою кремовую косынку из тонкого шелка, которая тут же порвалась и безвозвратно погибла. До чего же всем было плохо! Самолет сильно трепало, оттого что вокруг города ходили грозы, и когда мы наконец прилетели, летная полоса была мокрая от дождя, и никто не решался подняться с места и вступить на запачканный трап. Мы так и стояли на взлетной полосе, пока не приехала специальная цистерна с водой, и трап был вымыт из пожарного шланга.

Ювелира я не нашла. Мордатый, у кого я решила купить серебряные браслеты, смотрел на меня такими глазами, что я не решилась протянуть ему бумажку с именем ювелира.

Я снова сидела на Глиняном Холме; темнело, моя синяя тетрадь, как всегда, была спрятана за поясом

брюк, под оранжевым свитером. Вскоре я услышала, как позвали ужинать. Я начала спускаться со стены, чтобы выйти на дорогу, ведущую к палаточному городку. Прошла одно раскопанное помещение, другое. Вот здесь сейчас должен был быть длинный коридор, ведущий на дорогу в лагерь.

Глава четырнадцатая

Ищущий истину пытается понять, что же произошло на самом деле

Она поднялась на крепостную стену, затем спустилась вниз в расчищенное помещение; переходя из одного помещения в другое, она шла по древним узким улицам, но вдруг поняла, что идет слишком долго. Развалины городской цитадели кончились, и, пройдя еще несколько помещений, она, сама того не замечая, оказалась на краю некрополя. Скорее всего, случайно, повернув не в том месте, она просто сбилась с пути. Она искала широкую и ровную дорогу, которая вела в палаточный городок, но почему-то ее нигде не было. Судя по звуку голосов, которые, как ей казалось, теперь стали звучать глуше, она находилась довольно далеко от палаточного городка. Теперь она уже действительно не знала, в каком направлении нужно идти. Она просто хотела спуститься вниз со стены и искала что-то вроде проема, где можно было бы спрыгнуть вниз и поискать выход через комнаты, которые в любом случае должны иметь двери; через них можно было выйти на древние улицы и попытаться найти дорогу. Но проема нигде не было, помещения верхнего яруса анфиладой переходили из одного в другое, и спуститься вниз было невозможно. В какой-то момент ей показалось, что она просто ходит кругами, хотя все помещения были ей знакомы. Вот ее овальная зала

с остатками святилища, вот помещение для каких-то церемоний и праздничных трапез, и тем не менее спуститься вниз со стены было невозможно. Голоса людей то отдалялись, то приближались, но вот она находит место, где стена разрушена настолько, что можно было спуститься. Скользя по слежавшейся глине и помогая себе руками, она скатывается в помещение нижнего яруса. И вот она уже на глиняном полу, еще несколько шагов – и полуразрушенный дверной проем. Через него теперь можно выйти наружу на узкую улицу древнего города.

Постепенно темнело, но дорога под ногами еще была различима. Сколько времени она ходила по лабиринтам узких улиц? У нее возникает мысль о том, что надо снова подняться на стену, чтобы попытаться понять, в какую сторону надо идти, чтобы найти дорогу. Она поднимается, видит перед собой раскопки городища, вверху звездное небо, кругом пустыня. И больше ничего.

Отчет агента К.

Не мудрено, что она никак не могла выбраться из лабиринта Глиняного Холма, как невозможно вот так, вдруг, выбраться из лабиринта текста, начавшегося путешествием на маленьком самолете местной авиалинии. Если за время полета, длившегося меньше часа, и можно, пройдя какой-то неназываемый пункт наподобие *ворот* или порога, заблудиться в том же самом, хорошо известном и тысячу раз виденном, хоженном и переходном месте собственного текста, оказавшись потом в довольно двусмысленной ситуации, внезапно представ перед глазами изумленных жителей палаточного городка (которые уже собирались ее искать, вооружившись карманными фонариками), то неудивительно, что на этот раз и она двух слов не могла связать.

Так закончилось ее путешествие в древний город, то ли в Рей, то ли в Рагу (черт его возьми!), которого

даже на старой военной карте невозможно было отыскать, когда она кружилась по лабиринту древних улиц Глиняного Холма, и это оказалось для нее не только местом, но и способом создания идеального текста, где искусственно создается ситуация «еще не» и «уже не», внутри чего и возникает этот текст, ждущий и жаждущий своего идеального читателя.

В принципе, не имеет значения, что именно в нем описывается, в смысле – *о чем он вообще?* Он может быть просто мыслью, воспоминанием о *чем-нибудь вообще* или просто о чем-нибудь, хотя изложенные в нем факты или события могли иметь место и на самом деле.

Если *по ту сторону* от *по эту* разделяют пресловутые *ворота* или перевал, они могут быть как реальными, так и воображаемыми. Люди и события, связанные с этим местом текста (или местом в тексте) или точкой на поверхности земли, могут отражаться в зеркале заднего обзора, иначе называемом «ретровизором». Они могут быть описаны при помощи «силовых» литературных приемов, как-то: отрывание еле держащегося рукава муслиновой блузки молодой женщины с кошачьей фамилией, прикрывающего надпись на запястье, сделанную краской растительного происхождения, на которой изображены две одинаковые буквы, но с разными диакритическими знаками, начертанные одним из самых изысканных шрифтов геометрической цивилизации – цветущим куфи. При помощи столь же действенного силового приема можно войти в зеркальный коридор или лабиринт, что и произошло с приемной дочерью муаллима в одно из ее возвращений на Глиняный Холм.

Описание этого головокружительного блуждания-возвращения строилось ею самой как по ту сторону, так и по эту, и, таким образом, оно свертывалось в тексте наподобие змеи, кусающей свой собственный хвост.

Сам выбранный предмет описания – путешествие в несуществующий город и последующее забвение и потеря (самого смысла) этого путешествия в лабиринте

текста Глиняного Холма – мог бы даже иметь реальную подоплеку, даже самую банальную: переписчица старинных рукописей, как змея из мифа, утаскивает (или выпрашивает) у Искандера какую-то ценность – кольцо-печатку с изображением дельфина, но приобретает в путешествии некое знание, пусть даже частичной истины, и возвращает эту ценность в другом облики – она везет в своем рюкзаке отвоеванную у мертвой культуры музейных витрин часть чаши из Рея, Раги (черт возьми!) с изображением девушки и юноши, пьющих из нее, этой ритуальной чаши (скорее всего, во время обряда обручения или церемонии бракосочетания) ритуальный напиток, какое-то зелье, назовем его *глоток горячего зеленого чая*, что могло быть одновременно и напитком забвения, и средством воспоминания, потребление которого было достаточно широко распространено среди представителей цифровой цивилизации, вследствие чего кожа последних приобретала какой-то неземной, мерцающий и голубоватый оттенок.

Если где-то неподалеку от Глиняного Холма протекала Багряная Река, то геополитический аспект нашего повествования становится очевиден. В одном из периодов текста говорится о том, что эта река представляла собой естественную границу с сопредельным государством, и о том, что ехавшая на раскопки буддийского храма девушка с поломанными и грязными, но покрытыми оранжевой растительной краской местного происхождения ногтями видит такие же, как и «на этой» стороне, унылые домики, и водонапорную башню (куда же от нее денешься!), и реку с портовыми постройками и мутной водой. В том отрывке не хватает только описания затхлого запаха воды, хотя предпочтительно придерживаться более узнаваемых и связанных с этой местностью запахов воспоминаний: полыни, сухой, нагретой солнцем земли (хотя запах только что политой глины, когда вода на глазах испаряется под лучами солнца, перекрывает по изысканности все прочие); сюда же можно добавить запах взвихренной взрывом пыли после уничтожения

повстанцами буддийских статуй на территории сопредельного государства.

Почему не предположить, что перелет и приземление были нарушением какой-то границы, по ту сторону которой не существовало ничего другого, кроме того, что уже существовало по эту сторону.

Превращение текста в летательный снаряд, направленный в самый центр пустоты, с чего началось повествование, сейчас казалось непозволительной роскошью и слишком простым выходом из создавшегося положения, характеризующегося безысходной скукой и полным нежеланием делать *что-нибудь вообще*.

А если вспомнить бабу, которая забыла свой родной язык, но не забыла опыта одной из своих жизней, где народ толкался в очередях за чем-нибудь вообще, а вовсе не за предметами, предназначенными для собственной или общественной пользы, чем могли бы быть даже соленые огурцы другой, лучшей жизни, секрет соления которых ее соотечественниками не будет утрачен никогда, так как он сродни мистической тайне создания литературного произведения, хотя самое главное в нем – это знание того, как на следующий день после получения престижной литературной премии правильно употребить огуречный рассол...

Именно этот рассол и следует выпить с утра, перед тем как снова сесть к мерцающему голубоватому, как кожа представителей цифровой цивилизации, экрану и предпринять новую попытку смоделировать испытываемые этими древними сновидцами какие-нибудь человеческие чувства, например, любовные страсти, которые ни в какие *ворота* не лезут.

Подобно змее, кусающей собственный хвост, эти чувства вложились бы, скажем, в описание домика бабушки, с которой свою приемную дочь мог познакомиться, скорее всего, муаллим; того самого небольшого строения, находящегося в самом центре старинного квартала древнего восточного города, где однажды оказалась девушка.

Этот небольшой пассаж представляет собой также своеобразный лабиринт, из которого невозможно выбраться иначе, как выбросившись в окно, как наш философ в первом периоде текста, причем сделать это следует на рассвете, не дожидаясь теплового излучения полдневного текста, когда комната еще пуста, а окно закрыто тяжелыми деревянными ставнями, и только идеальный читатель может предположить, какие события в дальнейшем могут случиться в этом рассоле. Но можно это сделать и на закате, когда ставни раскрываются и вечерняя прохлада, подобно вновь написанным древним строкам стихов (о любви), выдувает этот рассол через открытую настежь дверь.

Возможен и другой способ исчезновения из этого (пока необитаемого) помещения, построенного на самом верху старинного дома; и способ этот заключается в превращении чувства пустоты, куда устремлено некое тело, обратившееся в летательный снаряд, в описание этого чувства, разворачивающееся по кругу, подобно ленте Мёбиуса и лабиринту текста Глиняного Холма, хотя трудно установить точку, найти тот самый центр пустоты, с которой подобное описание *того, что есть по ту сторону* и того, что находится *по эту*, можно опровергнуть или, напротив, подтвердить.

Размышления Искандера, который в одной из своих жизней прилежно изучал историю

Можно, конечно, для поддержания порядка (в самом тексте повествования) взять да ввести в не существующий даже на исторической карте город танки.

Или обрушить на него «ямон шемал», песчаную бурю «Альбертина» для усиления размаха описываемых с таким историческим подходом чувств.

Можно даже напечатать этот текст целиком, не меняя в нем ни одной буквы, и преподнести муаллиму как ритуальную чашу, разумеется, целую, а вовсе не в виде осколка (что лежал сейчас в ее рюкзаке), где

был бы изображен солнечный круг, который некоторые называют словом «свастика». Как узнать причину возникновения этого текста, монотонного, как описание путешествия в центр пустоты, или текста для создания файла «Чаша из Рея»? Впрочем, какая разница, откуда этот предмет, неожиданно, как феникс, представший в повествовании; не из черепка ли он возник, когда вдруг раздулся рюкзак, словно чрево беременной женщины, тем более что он уже был разрушен дважды: сначала в древности при землетрясении, а потом рукой девушки, принявшей его за фрагмент ритуальной чаши для праздничных церемоний.

Рей, или как там еще он называется, пусть хоть Рага, вне зависимости от того, находился ли он по ту или по эту сторону границы с сопредельным государством, был *дырее всех дыр*, существующих в жизни и в литературе; и многие предполагали, что пробраться в него можно только пройдя чуть ли не через *врата* самого ада.

Да ничего подобного! Оказаться в нем было проще простого. До этой дыры можно было долететь на вертолете, доехать на автобусе, на ишаке, договорившись с его хозяином с ишачьего двора, или даже пешим ходом. На танке, наконец. С геополитической точки зрения, он находился в пределах досягаемости текста: времени полета стингера или начертания калламом надписи, состоящей из двух одинаковых элементов, но с разными диакритическими знаками.

Сделанная неизвестными гончарами из Рея (или Раги) глиняная ритуальная чаша, как некий священный Грааль, была порождением фантазии историков, но и для литераторов она тоже подходила как образ испытываемых людьми возвышенных чувств. А может быть, не только чувств, а *всего сразу*.

В этом образе происходило вожденное и почти недостижимое для литературы слияние сигнификата и сигнификанта. Если бы файл, который был как бы резервирован заранее для чего-то экстраординарного, уже не оказался из-за обычного бардака чем-то запол-

ненным, то не существовало более идеального содержимого для его заполнения, нежели этот предмет.

Он был совершенен, как пустое погребение, сделанное для грабителей, где никогда ничего и не было и быть не могло. Существовал соблазн назвать этот файл «Чаша из Рея», а пустой переименовать в «совершенно пустой» и тем самым соблюсти равновесие.

Но если к этому делу подойти, как говорится, спустя рукава, то в повествовании может образоваться затор, с которым уже будет невозможно справиться столь примитивными средствами, как создание сквозняка в гетто-тексте, где рассказывается о жилище бабушки.

Сам выбранный термин – «абсолютный», – оказавшийся в близком соседстве со «степенью» или «пределом» этого текстового умопомешательства, есть не что иное, как озвученный аналог непонятной, но уже погибшей от собственного совершенства вещи, о чем красноречиво свидетельствует дважды разрушенный текст ее описания, точнее, описания разрушения результата разрушения и вторичного разрушения; того момента, когда она уже не представляла самой вещи, а только была словом, следом некогда существовавшей вещи, погибшей от собственного совершенства и, таким образом, возродившейся, как феникс, в тексте повествования. И уже не будучи просто вещью, она становилась *всем, чем угодно, или чем-нибудь вообще*. Как и сам фрагмент с изображением юноши и девушки, которые держали в руках ритуальную чашу, являя и совершенный образ выражения чувств, и наиболее достоверный способ их описания.

**Где же находилось это место,
которое казалось дырее всех дыр и куда
рано или поздно должны были войти танки**

Поиски выхода из лабиринта Глиняного Холма закончились для нее банальнейшим образом: пришел Бес и помог ей выбраться на дорогу. Скорее всего,

Искандер, обеспокоенный ее отсутствием, тем более что уже было время ужина, попросил Беса пойти на раскоп и привести ее. Сам же он остался в палаточном городке.

Вместе с Бесом она подошла к очагу, где сидели уже успевшие поужинать рабочие; все смотрели, как огонь лизал поленья, содержавшие, по-видимому, большое количество эфирных масел, – пламя часто вспыхивало и шипело, разбрасывая синеватые искры. В котле грелась вода для чая.

Вдруг из огня к ней рванулся узкий, похожий на руку язык пламени.

– Тебя любит огонь, посмотри, как он бросился к тебе, – засмеялся Искандер.

Она ничего ему не ответила, даже не посмотрела в его сторону. В этот момент ей показалось, что к треску пламени примешивается какой-то другой звук, схожий с ревом моторов.

– Где ты была?

– Там.

– Там?

Вместо ответа она протянула ему черепок ритуальной чаши с маленьким изображением солнечного круга.

– Свастика?

– Су-ис-тит-ка, – с трудом проговорила она, задыхнувшись.

Почему-то все замолчали, услышав, как она произнесла это слово на их диалекте. В наступившей тишине стал сильнее слышен неумолкающий шум, и все повернули головы в ту сторону, откуда он шел. Кто-то сказал, что там проходит шоссе стратегического значения, ведущее к границе сопредельного государства.

И вдруг она начала опять дико хохотать, как в тот раз, когда никто не мог выйти из самолета, оттого что трап был заблеван до такой степени, что его пришлось отмывать водой из цистерны, специально предназначенной для таких случаев.

– Смотрите, свет, там, над Холмом. Вы видите его? Вы его видите? Это хаома...

– Это свет от фар...

– Ты что, думаешь, я совсем дура?

По радио снова передавали сообщения о казнях, производимых повстанцами среди местного населения.

Даже если предположить, что осколок ритуальной чаши был действительно из Рея, или как он теперь называется (хотя есть веские причины считать, что он был найден в земле небольшого приграничного города, находящегося по эту сторону; а название этого места не содержит никаких дополнительных указаний на что-нибудь особенное и переводится как «место святыни» или «священное место». А может, он был найден еще в какой-нибудь дыре, которой и на картах нет, разве что на старинных военных трехверстках, что можно найти лишь в музейных архивах.

А если вспомнить то, чему учили нас когда-то в одном из самых больших университетов мира на уроках истории, то вряд ли эта чаша могла использоваться в погребальном обряде. Из нее новобрачные пили на свадьбах, да и знак солнца как-то более соответствует радостной церемонии бракосочетания, нежели скорбному ритуалу погребения.

Так или иначе, за этим осколком было предпринято столь трудное для описания всех его нюансов и подробностей путешествие в сопредельную местность, лежащую по ту сторону бесконечного текста, подобного змее, кусающей свой хвост.

Описание этого путешествия заканчивалось фразой о том, что ювелира она так и не нашла

Поиски ювелира, способного, по сбивчивому объяснению Искандера, снять кольцо, то есть снять чары,

не предпринимались. Из-за того, что, кроме написанного на клочке бумаги имени, которое она так и не решилась показать Мордатову, о ювелире у нее были лишь обрывочные сведения, неполнота которых обозначилась во второй половине фразы, что прокричал ей вслед Искандер, когда она садилась в машину, чтобы добраться до вокзала.

Искандер закончил свою фразу о ювелире на своем диалекте, что, скорее всего, было выражением негодования из-за ее новой попытки бегства с Глиняного Холма. Тогда он прокричал, что ювелир может с нее, кроме кольца, снять «еще что-нибудь, если ты, конечно, этого захочешь». Это вовсе не было грубостью, так как она этих слов всё равно бы не поняла; Искандер потому и произнес их на своем диалекте (как это часто делают восточные мужчины по отношению к иноплеменным женщинам, когда хотят, чтобы те догадались о чувствах, которые они одновременно и высказывают, и скрывают), что хотел, чтобы она сама догадалась, что он ей этим хотел сказать.

Ювелир, так и не появившийся на протяжении многих страниц, написанных о путешествии в несуществующий город, как будто располагал какими-то особыми сведениями о происхождении старинного кольца из неизвестного металла, с отливом вороненой стали и печаткой из красного камня с изображением дельфина.

Его так и не нашли. Он как сквозь землю провалился, словно попал в какую-то текстовую дыру. В таком случае, возникает вполне законный вопрос: уж так ли его искали?

Пока что его появление-исчезновение в тексте повествования было подобно потерянной кем-то фотографии, которую ветер несет вместе с прочим мусором жизни.

Рев моторов нарастал; вскоре показались огни фар: они напоминали уже виденное когда-то фа-

кельное шествие. Маленькое изображение солнца на осколке керамики наводило на мысль о том, что если представить себе, что это изображение вдруг станет огромным и окажется на земле и вдруг запыляет, то вряд ли можно было бы найти более идеальный образ страсти, где сигнификант сливается с сигнификатом.

Если ювелир, пока что не раскрывший тайну кольца с изображением дельфина, может законным образом претендовать на совершенно пустой файл, то разве нельзя то же самое сказать и о самом путешествии в долину Багряной Реки, которое никак не может закончиться, потому что оно никогда и не начиналось, как жестокая игра, в которую могут играть только дети, а рассказать о ней, став взрослыми, вряд ли кто решается, разве что попав на кушетку к какому-нибудь очередному расчленителю душ.

Чтобы решиться рассказать об этом путешествии всю правду, в текст и в самом деле пришлось бы вводить танки.

Складывается впечатление, что время самого повествования и его толкования обращается вокруг одного, казалось бы, неизвестно когда и кем написанного текста, этой неподвижной точки, которая, на самом деле, не столь уж неподвижна: ее собственное время тоже течет, но в обратную сторону. Этот текст даже иногда высвечивается, принимая форму тщательно охраняемых и скрываемых (по крайней мере, так казалось) записей в синей тетради под оранжевым свитером.

Запись событий, происходящих в воображаемом восточном городе, построена так, словно рассказчик (или целая группа рассказчиков) одновременно являются и действующими лицами событий, и их рассказчиками и толкователями. Нарочитая монотонность текстовых периодов и порядок вещей (где слово «порядок» употребляется не в сленговом, то есть многозначном смысле, а сужается до одного-

единственного – временной последовательности) позволяют заглянуть по ту сторону рассказа о чувствах и, может, с учетом необходимой РС (политкорректности), позволяют даже добраться и до самих чувств, при условии неукоснительного соблюдения всех запретов и ограничений, как то: высоты, скорости и расстояния до заданной цели etc., – в случае, если речь идет об оружии большой разрушительной силы, управляемом, кроме технических устройств, разгулом страстей, во что могут, при определенных обстоятельствах, превратиться даже самые возвышенные чувства.

В случае, если до подлинных чувств всё равно не докопаться, можно утешиться при помощи *глотка горячего зеленого чая*, не забывая, что это – эвфемизм скуки, агрессивности и сентиментальности, а сам путь чая – путь прочь от незапертой двери в собственный дом.

Соблюдая полнейшую РС (больше об оружии огромной разрушительной силы, под которым спрятался наш старый знакомый – пистолет культуры, – *ни слова!* – даже с двусмысленным смешком, сопровождающим сказанную на ушко непристойность), можно вспомнить о комбинированном самоубийстве философа и о пробном выстреле в томик «Зачарованной вершины», о луже кровищи, похожей на огуречный рассол (но и вспоминать об этом следует при соблюдении всех запретов и ограничений, о чем уже говорилось ранее, – то есть, учитывая высоту, скорость и расстояние до цели, чем является этот путь: прочь от опечатанной двери в собственный дом).

Приближающийся или удаляющийся потолок-любви-предел с росписью по сырой штукатурке и лепными украшениями в форме сталактитов зависит от способности зафиксировать возникающие при этом чувства при помощи карандаша, пишущей машинки или возникающих из ничего букв голубого мерцающего экрана.

Глава пятнадцатая Глиняный Холм начинает разрушаться под воздействием вируса «Альбертина»

Если при ее появлении у очага с тлеющими поленьями, от которых исходил какой-то странный запах (горели ветви кустарников, содержавших большое количество эфирных веществ), Искандер и глазом не моргнул, это вовсе не означало, что он при этом не испытывал никаких чувств, – откуда его беспомощная попытка апеллировать к эзотерике значений, когда он ей указал на огонь и сказал при этом что-то не переводимое на ее язык, двусмысленное и неопределенное про любовь к ней огня, за чем последовало приглашение выпить *глоток горячего зеленого чая*.

Было ли это для него осознанием отсутствия у самого себя представления о том, что означает «владеть языком»?

Может быть, это было признание полного поражения: здесь жест изобразительного языка не достиг уровня совершенной эксплицитной коммуникации, этот регулятивный идеал отсутствовал в дезигнативной теории значений – лишь единственный *глоток зеленого горячего чая*; для него проблема была также и в произнесении слов (а всего-то надо было произнести два слова, связать их между собой), чисто лингвистическая проблема объяснить что-либо в двух словах, что было бы полезно и понятно другому; он никогда не спрашивал ее, чем она занимается в овальной зале, но однажды всё-таки спросил, неловко используя старинное слово: «А что, тебе действительно нравится *сочинять?*» – эксплицитная коммуникация действительно основывается на передаче объектных связей, откуда аналогии: возможность снять пелены

с египетских мумий, ожерелье с принцессы, а с девушки «что-нибудь еще, если она, конечно, сама этого захочет», – всё это было лишь иллюзией, соблазном; то же самое происходило и с расчисткой погребений: сейчас свернутая в кокон, некогда живая речь собственных предков (или тех, кого он таковыми считал) лежала у ног Искандера, но как этот кокон распечатать, чтобы ее услышать? – может быть, между речью и изобразительным искусством есть аналогии; язык живописный или вербальный, орудие коммуникации, инструмент для передачи информации, – но у речи сейчас нет никаких причин выжить; чем прозрачнее становится язык, тем эффективнее символические системы: античное кольцо с дельфином, смысл появления которого в повествовании на данный момент полностью утрачен, – теория *дезигнативного* значения исторически и концептуально предполагает в качестве образца не прочитанную никем надпись: татуировку на запястье, прикрытую муслиновым рукавом блузки молодой женщины с кошачьей фамилией, застывшей в вечном возвращении к «Зачарованной вершине», – всему этому противопоставляется теория *экспрессивного* значения, базовая для феноменологического подхода: на улице масса народа, и кругом звучит чужая речь – конечно, не речь, а только звуки голосов, а тут еще похоронная процессия, – экспрессивная теория фокусирует внимание на первичной референтной теории символов: страшно подумать о людях, живущих в этом городе не один десяток лет, – экспрессивная теория полагает, что знаки имеют смысл, потому что они – везде, как этот всё время возвращающийся, подобно ночному кошмару, текст, написанный от руки простым карандашом в синей тетради (а его придется перепечатывать, чтобы вновь редактировать на экране компьютера); иногда кажется, что слова, дай им только волю, набросились бы и придушили, – да, они манифестируют символическое опосредованное, они повсюду – в наигранном безразличии жителей вос-

точного города, в желании найти реальный способ по-настоящему заинтересоваться созданием произведения, да что там – заинтересоваться им именно как сочинительством, когда гладить одежду и то некогда, хотя, если в кармане звенит несколько монет, можно и заинтересоваться проблемами поэтики, – но вот опять что-то острое вонзается в ногу, в босую пятку, и боль содержания неотделима от формы, – идти следует, стараясь не встретиться глазами с прохожими, и не видеть своего пути; со взглядом можно встретиться только взглядом, а из огня можно вынести только огонь, а Будду – убить, расстрелять, и сделать это немедленно: это тот тип разрушения, через который можно реализовать себя, – создать событие, а тем самым и сообщение и найти средство передать это сообщение, словно разрезать обе верхушки дыни на четыре части, чтобы погубить шайтана, – на прощание вручается лепешка – экспрессивное значение жеста отказа от жеста первично (примитивно), его нельзя эксплицировать отсылкой к знаку; она сама не знает, как сюда попала; «всё есть символ», – однажды сказал муаллим (и как в воду глядел), – никого невозможно ни о чем спросить, да и не хочется, – а тогда они пили *горячий зеленый чай* – пример экспрессивного знака – попадают и вовсе загадочные конструкции – так, пример еще одного экспрессивного знака – не слово и имя (до сих пор никому не известно имя девушки), а жест и эмоциональное выражение, – теперь можно зажечь лампу и сесть к выходящему во внутренний дворик окну, подтянуться на руках, чтобы посмотреть, что же там происходит, – однако было бы ошибочно трактовать экспрессивную теорию как субъективную реакцию на объективистские тенденции дезигнативной теории – здесь хорошо продумана система вентиляции – хотя эмоциональное выражение является парадигматическим экспрессивным знаком: невозможно не только купаться в этой грязи, но даже выстирать одежду, – экспрессивное начало – нечто большее, чем манифестация чувств, так как

всё остальное заросло верблюжьей колючкой; все эти слова и вещи, подумать только, – и они улыбнулись друг другу – неразрывность знака и означаемого является таким же признаком экспрессивного значения, – имя астронома здесь никому не известно, разве что школьному учителю, но, в конечном итоге, только из-за искусственности всех чувств и ситуаций, воспринимаемых объектов, как и воспринимаемых аффектов, – теперь стоит рассказать о домике – и великолепно разрушить контекст, но отнюдь не непоколебимый авторитет (муаллима), – экспрессивное значение всегда подается в комплексе ценностей: on-line означает «по эту сторону», а off-line «по ту» эмоций и восприятий, и всё это используется для усиления описываемых чувств, и такой подход вовсе не однозначен или детерминирован научно, – у многих встречаемых на улице людей на лицах следы от перенесенной оспы – нас теперь с этими отметинами «водой не разлить» – предметно соотносимый дискурс – чтобы как-то убить время, а надо начать с фаланги, убить ее (но ведь ее и так уже кто-то убил, и ее время растеклось в вечность), а потом взорвать Будду, не самого Будду, конечно, а его изображение, «Поэму в камне» (так назывался фильм), чтобы потом говорить об избытке значения в экспрессивных знаках: так символы по своему происхождению сходны с особенностями риторики машин, а точнее, моторов этих машин, танков, например, – с точки зрения чистоты расы, так называемого происхождения, эта риторика не хуже любой другой – опять принтер не вовремя включился – «сам по себе», как телевизор в Черной Чайхане; такие образы предназначены не для коммуникации, а для отражения нашего бытия в мире, – не стоит слишком доверять девушке с ногтями и ладонями, окрашенными краской растительного происхождения, такие ценные вещи, как кольцо с печаткой с изображением дельфина – когда будет прочтено это послание, выражение лица со слегка темноватой кожей и маленьким шрамом на подбородке

станет ответом на все семантические намеки – в глазах отразятся островки пирамидальных тополей, хлопковые поля, оросительные каналы – они появятся как соперничающие друг с другом исторические теории происхождения наших общих предков – и розы, розы, розы, столь любимые здесь цветы, они – везде; и слова, написанные о них, когда-нибудь тоже неизбежно попадут в бумагоуничтожительную машину – современная философия языка считает необходимым инкорпорировать их (даже уничтоженных) в общую теорию значений – несмотря на полную свободу физического передвижения, мы будем всё время щелкать пультом в поисках еще большей свободы, с сознанием, что мы тем самым что-то *сами* создаем; или елозить джойстиком по вытертому коврику, с наигранным безразличием всматриваясь в мерцающий экран – оставив про запас вопрос о приоритетах, как о сомнительной фигуре речи, – а лучше всего, пока не поздно, скачать с hard-disk, пораженного вирусом «Альбертина», всё, что было написано по поводу убийства Будды (не самого, конечно, а его изображения), этакой многозначительной «Поэмы в камне», как этот памятник материальной культуры лицемерно назывался в фильме, на который девушка в темном платье и шали с кистями так и не попала, – слова, возникающие на мониторе, под ее пальцами носят следы прикосновения к покрытым шрамами ладоням Искандера и к нежным лепесткам чайных роз, навсегда забытых в томике стихов любимого поэта, – они могут стать видимыми и слышимыми, если попробовать прочесть вслух хотя бы полстраницы этого разрушенного вирусом «Альбертина» текста да еще представить себе, как этот текст прозвучал бы на диалекте Искандера (о, эти согласные, для произнесения которых надо задержать дыхание, а потом с разбега – и эти длинные гласные, и ударения на последнем слоге), – а обещанная глава, которую следует читать, надев на себя наушники (типа «каска»), где звучала бы

музыка группы «Простреленный череп», – но эта глава еще не написана, вернее, не дописана, как не написана еще последняя глава этой истории, которая, как сказала переписчица текстов Искандеру в ту волшебную ночь «потолка-любви-предела», «если и будет написана, то не твоей рукой», – и эта последняя глава повествования будет создана отнюдь не при помощи вируса «Альбертина» – так экспрессивное значение паразитирует на самой функции значения, и это всегда особенно хорошо заметно после *глотка горячего зеленого чая* или очередной порции краденного из розовой канистры спирта, после чего просыпаешься с чувством святого, неясного и эротического, – того чувства, что с феноменологической точки зрения является базовым.

Вылезти из лабиринта, выбраться из заклятого восточного города

Помнится, я забралась на высокую глиняную насыпь, отделяющую палаточный городок от высохшего оросительного канала, и думала о том, что всё это очень скоро станет лишь воспоминанием и сохранится (если вообще сохранится) лишь в рисунках на бумаге или в словах, написанных простым карандашом в синей тетради.

Названия же мест или такие слова, как: оросительный канал, раскоп, глиняная насыпь – станут потом именами файлов, отчего они что-то потеряют, но что-то и приобретут.

Думала ли я тогда, что буду смотреть когда-нибудь на мерцающий голубоватый экран, который теперь содержит в себе память об этой сцене. Словно я внезапно оказываюсь перед распахнувшейся на мгновение дверью, готовой так же мгновенно захлопнуться.

Из всего сказанного Искандером во время очередного лингвистического чаепития у тлеющего костра, от которого исходил и всё усиливался какой-то странный запах и где был сделан далеко не один *глоток горячего зеленого чая*, – да и сказано, по его всегдашней привычке, было не так уж много, разве что-то туманное о времени, что в его устах могло означать и «завтра», и «сегодня», – я поняла, что вскоре должны произойти какие-то важные события.

Пламени становилось всё меньше, а золы больше, и, случайно взглянув на Беса, я вспомнила о знаменитых скифских банях, когда на раскаленные камни наши общие предки кидали зерна каких-то растений и, вдыхая этот дым, входили в транс, плясали вокруг этих камней, отчего с них градом лил пот. Мой рассказ был выслушан вежливо, но никто не проявил желания что-нибудь сказать по поводу таких ассоциаций. Более того, по наступившей тишине я поняла, что замечание о скифах оказалось столь же неуместным, как и произнесение на диалекте слова «суис-тит-ка».

По лицу Искандера я видела, что он готовится взять реванш.

Вероятно, поводом послужило наше с Бесом лингвистическое безрассудство, когда мы оказались с пространственной точки зрения немного не в фокусе: я сидела крайней на длинной скамейке, а Бес пристроился на перевернутом дырявом ведре рядом со мной. Мы с ним вполголоса, будучи уверены, что нас никто не поймет, начали изощряться в припоминании местного фольклора (этим словом мы обозначали всё «неназываемое»), да еще с переводом на наш родной язык, оказавшийся крайне непластичным для передачи всех оттенков определенных действий, касающихся взаимоотношений между мужчиной и женщиной.

Чего мы только с Бесом не вспомнили – от классических текстов до блатного жаргона. Нам казалось, что ни Искандер, ни наши рабочие никогда не поймут всех оттенков нашего турнира, когда мы столь беззастенчиво чесали языками.

Но Искандер понял смысл нашего зубоскальства, и, скорее всего, понял правильно. Время от времени он бросал взгляды в нашу сторону, прислушиваясь к взрывам смеха по поводу очередной эскапады, что ему показалось пародией на вполне благопристойный восточный турнир остроумия, когда несколько человек по кругу отключаются на заданную тему; их острословие может иметь достаточно широкий спектр, в зависимости от образованности и личных пристрастий участников такого словесного состязания. Вряд ли Искандер мог понять все оттенки нашего трёпа, но это безудержное словоблудие его явно задело. И тогда он решил взять реванш.

Так и иначе, что-то должно было произойти либо сегодня, либо завтра, но уж точно не вчера, которое давным-давно превратилось в текст, лишенный опознавательных знаков, и улетело в непредсказуемое будущее, чтобы начать там новую жизнь невнятного бормотания лингвистической одиссеи, пытающейся что-то рассказать заплетающимся от навороченных смыслов языком, утрачивая при этом память о самом путешествии, как оно происходило в реальности, в дыру, дырее всех дыр, — наполненной сейчас лязганьем гусениц танковой колонны,двигающейся без опознавательных знаков в неизвестном направлении, а скорее всего, в сторону границы с сопредельным государством.

Характерно и то, что никому, кроме Искандера, не известный ювелир не был нужен, а ведь ради встречи с ним и было задумано и предпринято путешествие, и ради этого и был создан вчерашний попортивший столько крови Искандеру текст (он сидел опять с чуть побледневшим лицом, отчего маленький шрам на подбородке становился заметнее). А заканчивался он словами: *ювелира она так и не нашла*.

Так, пока танковая колонна движется по тексту, скрежеща траками и переваливаясь, как нажравшаяся до отвала гусеница, мы с Искандером, минув Глиняный Холм, выходим на дорогу, ведущую в горы.

Он шел ровным шагом охотника, чуть наклонив голову вперед, и разговаривать со мной был явно не расположен. От моего внимания не ускользнул тот факт, что он пошел на этот раз кружным путем, не заходя на раскоп, хотя идти через раскоп было гораздо быстрее; и уж совсем странным показалось, что время было выбрано совсем не для прогулок в горы.

Поднимался ветер, он бросал нам в лицо мелкий песок, однако в этом не было ничего особенного — обычный для этих мест вечерний ветер: в пустыне жаркий день резко сменяется ночным холодом, что вызывает сильное движение воздуха в виде предзакатного ветра.

Пока мы шли друг за другом, стараясь увертываться от песка, который невидимая рука пригоршнями кидала нам в лицо, я думала о том, что теперь наша собственная история, подобно древнему эпосу, написанному на языке предков Искандера, начинает распадаться на ряд эпизодов, представляющих собой рассказы ее героев. Эти древние тексты содержат в себе описания деяний божеств и героев, рекомендации по части разных культурных и культовых событий и ритуалов, наставления героям по поводу правильного поведения и отношений между собой и божествами, они повествуют об их чувствах в тех или иных ситуациях. Этот многомерный текст создавался постепенно, на протяжении многих сотен лет, и древнейшей частью уходит в глубокое прошлое.

К чему это я?

Если продолжать двигаться в том же направлении (а мы шли к горам), то получается, что один из героев этого эпоса произносит некое слово, которое всплывает из еще более глубокой древности, как контаминированное яблоко, — наверное, это его воздействие сказало, когда мой заплетающийся от *глотка горячего зеленого чая* язык попытался произнести на диалекте Искандера это проклятое слово. Оно звучало почти как «свастика» — суи-стит-ка. А *глоток горячего зеленого чая* казался эвфемизмом...

На древнем языке было сказано: «Я создал мир там, где ничего не существовало. Если бы я его не создал, мир превратился бы в небытие».

Дорога стала шире и удобнее, и сейчас мы с Искандером шли рядом. А я думала о том, как мне знакома эта предзакатная тоска, о который Верховное божество поведало святому учителю.

Я умирала от смеха (танки, танки, свет, *хаома!*), а Искандер смотрел на меня с недоумением; он так и не мог привыкнуть к этим дурацким приступам смеха, когда я могла замереть над тарелкой и вдруг расхохотаться от внезапно нахлынувшего воспоминания; так, задыхаясь от смеха, я тогда говорила себе: «Я создала текст там, где раньше ничего не существовало. Если бы я его не создала, мой собственный мир превратился бы в небытие».

Подумать страшно, но как соблазнительно считать, что если бы он не был написан, этот текст, мир никогда бы не узнал ни о романе «Зачарованная вершина», где философом, репетировавшим свое комбинированное самоубийство из-за неразделенной любви к прекрасной девушке, был сделан пробный выстрел; ни о пистолете культуры, идеальном образе *стреляния*, в котором сигнификат совпал с сигнификантом, как средство с целью; ни о контаминированном культурой яблоке, запущенном рукой редактора в позвоночник грегуара литературного агента К. (у каждого, кто хоть на что-то претендует в этой жизни, должен быть свой собственный грегуар); ни о треснувшем зеркале (служанки); ни об оторванном рукаве муслиновой блузки молодой женщины с кошачьей фамилией, прикрывающей татуировку на запястье девушки с ногтями, окрашенными краской растительного происхождения; ни уж, тем более, о танковой колонне, без опознавательных знаков и с погашенными огнями двигающейся сейчас по стратегически важному шоссе с прекрасным покрытием, по которому только что промчался рыдван Искандера на пути в долину

Багряной Реки, где над Глиняным Холмом, в тот момент, когда я не могла найти дорогу назад, возникло небесное свечение, *хаома*, которое Искандер и его рабочие приняли за огни танковой колонны, а я его спросила невпопад: «Ты что, принимаешь меня за полную дуру?», нарушив наши негласные правила не прибегать к языку простонародья, когда речь идет о высоких материях.

Если бы не был создан этот текст, огромная вселенная из слов, когда бы то ни было написанных на всех мыслимых языках, превратилась бы в небытие, став центром пустоты, пожирающей свои собственные края.

Я шла и чувствовала, как от моих подошв, покрытых неизвестными письменами, поднимается холод. Садилось солнце.

Я мерзла и думала о том, как написать о чувствах, о неведомых мне чувствах идущего рядом со мной человеческого существа, о ком я ровным счетом ничего не знала, кроме одного: что он просто есть. Как превратить мои неопределенные ощущения в описание какой-нибудь прелестной сцены, похожей на те, что встречаются в древних рукописях, тайна происхождения которых и само их наличие тщательно охраняется их владельцами.

Если Верховное божество создало мир там, где ничего не существовало, то, следуя логике зеркального отражения и мифу о близечности, должен существовать и другой мир – мертвый, в котором только два летних месяца и десять зимних, когда замерзало всё на земле и холод становился мерой добра и зла.

Отталкиваясь от этого описания северной земли (откуда я родом), мне хотелось на страницах синей тетради создать райскую долину, мою долину Багряной Реки, самое *прекрасное место на земле, усеянное розами и населенное птицами в рубиновых перьях*. И я, безумная, считала, что половина этого сказочного богатства принадлежит мне.

Мы опять шли рядом, и я мысленно рассказывала Искандеру о своей жизни в той дыре, куда я снова от него сбежала, и что эта дыра была дырее всех дыр на свете и находилась всего в нескольких часах марша танковой колонны.

Я рассказывала ему о посещении развалин некогда процветающего города – ныне места паломничества. О тутовом дереве, увешанном лоскутами белого цвета, что служило знаком обращения к святыне с просьбой об исцелении, и о том, что среди жаждущих выздоровления могли оказаться настоящие прокаженные. О том, как среди плит вымощенного двора я увидела квадратик почвы, небольшой цветник, типичный для местной архитектуры, где рос куст прекрасных чайных роз, как я над ним склонилась, чтобы на своем лице почувствовать прохладу нежных лепестков; день был жаркий, но самое небольшое количество воды в этих местах способно превратить клочок иссушенной земли в райский уголок; может быть, я про эту воду ничего и не говорила бы, заметив, что он несколько раз облизал сухие губы, но тогда я отчетливо видела, как дрожали капли воды на лепестках и как был удивителен запах мокрой, только что политой сторожем почвы; о том, как вдруг раздался кошачий крик павлина белого цвета, павлина альбиноса с наполовину выпавшим от жары хвостом, что прогуливался по плитам двора.

Пока мы шли по пустынной дороге, мне бы, конечно, стоило сосредоточить свое внимание не на павлиньем, к тому же траченном жарой, хвосте; павлин его даже не пытался распушить, а волок за собой в свернутом виде, оглашая при этом всю округу противнейшим кошачьим голосом.

Но я хотела тогда рассказать Искандеру, что от этих чайных роз исходил запах смерти и тлена, и происходило это, оттого что злобный дух этой земли, который, возможно, и по сию пору пребывает где-то *по ту сторону добра и зла* (но мы-то, мы с Искандером всегда почему-то оказывались по эту), – так этот дух

не забыл и о нас и, ко всему прочему, сотворил мерзких насекомых, которые, согласно древним текстам, которые я переписывала для муаллима, губили людей, животных и растения.

Стебли чайных роз были сплошь покрыты мерзкими тварями, отчего к ним невозможно было притронуться. Они копошились серой студенистой массой, отвратительно воняли и лезли вверх по листьям, а некоторым удавалось даже добраться до цветов. Ни один нормальный человек не попытался бы сорвать такой цветок и подарить его девушке.

Я хотела спросить у Искандера: а что если так выглядит наш придуманный мною рай, *усеянный розами и населенный птицами в рубиновых перьях*?

Мне также хотелось дополнить этот рассказ еще одним немаловажным обстоятельством: я вспомнила о том, что, когда наклонилась над этими цветами зла, то почувствовала, как сзади на шею (а он всегда подходил неслышно к столу, за которым я работала: я вздрагивала, чувствуя его присутствие, и никогда не могла понять, сколько времени он уже так стоит), как на шею мою опустилось какое-то тупое орудие, и голова моя, оторвавшись от тела, плавно взмыла вверх и остановилась точно посередине между двух кладбищенских шестов, оканчивающихся двумя медными ладонями.

И я увидела собственное лицо и след его поцелуя на правой щеке.

Потом я спрятала подаренный цветок в томике стихов нашего любимого поэта.

Вспомнила маленький *глоток горячего зеленого чая* в придорожной чайной.

Ну что я могла сказать ему еще, разве что продолжить нашу болтовню о том, как два духа, два элемента этого мира появились там, где ничего больше не было, они встретились и создали свиток жизни и смерти из покровы «неколебимый небосвод» (так еще назывался расшитый кетонет бабушки, где в сценах священной истории истина и добро сочетались с ложью и злом, и можно было выбрать что угодно).

Мне тоже предстояло выбирать. И я выбрала *и то, и другое* как самое подходящее для данного момента.

Отчет агента К.

В сфере мысли и действия мысль ей представлялась самым воплощением демона ярости и дикой жажды убийства.

По первоначальному замыслу повествование должно было охватить четыре текстовых периода. Первый из них – создание идеального текста, который бы присутствовал в повествовании в качестве его главного внутреннего ядра, но казался лишь фигурой для референции, ссылки, возникая фрагментарно или в виде отдельных и даже довольно пространных пассажей, но нигде не проявляясь целиком.

У нее была своя теория создания текста как *чего-нибудь вообще*, из которого, по мере его создания, элиминировались предыдущие наслоения; повествование возвращалось к знаку текста как такового, и постепенно падали покровы, его, этот знак, скрывающие: слова, вытатуированные на ее запястье и прикрытые рукавом муслиновой блузки (хотя довольно краткий период эта надпись по просьбе Искандера прикрывалась его часами, но при очередном бегстве она решила эти часы оставить на рабочем столике в оранжевой палатке вместе с недорисованными планами раскопа, и сделала она это для того, чтобы заставить его почувствовать, что дела их, юные, как молодой месяц, и древние, как династия Плантагенетов, шли из рук вон плохо).

Надписи вроде той, что на стингере серии «Отчаянный призыв», где подразумевалась, по-видимому, строчка из любимого стихотворения *ищущего истину: ты лжешь, если жалуешься на муки любви*, но это могло быть и женское имя «Альбертина», которое давалось и песчаной буре, налетавшей в долину Баг-

ряной Реки со стороны сопредельного государства, и компьютерному вирусу, вознамерившемуся уничтожить текст самого повествования.

И многократно возникавшая на белой стене надпись, скорее всего, ничего доброго в себе не содержащая (в одном случае оказавшись бранным словом, в другом – речью ненависти); и слова на неизвестном древнем языке, однажды украсившие ступни ее ног, о чем Искандер каким-то образом узнал, хотя и утверждал, что никакие это не слова, а просто декоративный орнамент вроде буддийской мандалы, которая являет собой не текст, но знак этого текста, что делает ее похожей на историю в сумасшедшем доме об анекдоте про анекдот, когда присутствующим просто называют номер анекдота, а те умирают со смеху (делать это лучше всего после хорошего *глотка зеленого горячего чая*).

Но если вспомнить, как, когда и для чего была задумана эта история с надписью, – а она была сконструирована для того, чтобы покрыть тело знаками, нарисовать их черной тушью кисточкой и смотреть, как высыхает черная жидкость, как она трескается от тепла ее тела и отслаивается, повторяя рисунок кожи на ее подошвах, подобного которому не существовало в целом мире, – а если представить себе, что эта надпись возникла в воображении рассказчицы, словно улыбка камышового кота (маленькой степной рыси), всего лишь на доли секунды, – только для того, чтобы стать неким посланием или коммуникативным жестом. На самом деле она сразу же исчезла, испарилась, просто слетела с подошв при первой же попытке надеть носки и сунуть ноги в солдатские ботинки от разных пар, но одного размера, которые принес ей Искандер для похода в горы.

Слова на раздуваемых горячим ветром, «ямон шемал», как его здесь называли, бумажных обрывках, прочитанные маленьким глухонемым копиистом, выучившим в совершенстве ее родной язык в интернате для глухонемых детей, слова, ставшие для них единственным бесспорным средством общения.

Отверстие от пробного выстрела, которое было своеобразной надписью или подписью, сделанной философом, – всё это перечисленное здесь богатство языка представляло собой тоже знак, некоторую текстовую дыру, которая несла в себе соблазны темных аллей и молчания сирен.

Надписи на стене директорского кабинета, столь возмущившие Искандера, можно было спокойно смыть шваброй из помойного ведра, налив туда воды и разведя в ней горстку стирального порошка, а глухонемому коллеге можно было пообещать прислать в подарок роман «Зачарованная вершина», тем более что там между мужчиной и женщиной тоже происходили фатальные лингвистические чаепития, однако хитроумный германский сочинитель все трудности перевода перевел в пространство снов, сняв с себя тем самым всякую ответственность и предоставив разбираться в этом деле своему идеальному читателю.

Можно с уверенностью сказать, что первый период создания текста закончился чистой стеной, с которой было смыто всё развивающееся *по эту сторону*, то есть автор этого текста оказался на Глиняном Холме, этой текстовой дыре, куда бы вошла целиком даже танковая колонна без опознавательных знаков и с погашенными огнями.

«Су-ис-тит-ка» начинала собой второй период, который происходил уже по ту сторону, когда события миновали *ворота*, некий перевал, в том смысле, что теперь танковая колонна, двигаясь по ту сторону того, что лежит по эту сторону этого, выдвигалась в своего рода зеркальный коридор, ведущий в самый центр пустоты, заполняемой словами на всех языках и наречиях.

На самом деле белая стена была знаком изначального текста, который появлялся и снова исчезал; так она скрывала его в своей белизне, в своем молчании, в своей болезни, иногда мгновенно покрываясь, словно краской стыда, письменами наспех написан-

ных слов, непригодных ни для любви, ни для ненависти, а разве что для чего-нибудь вообще.

Второй текстовый период претендовал на создание некой коллизии как начала взаимодействия. Точнее, взаимного противодействия, когда каждый из участников этого состязания создает что-то свое. Однако *процесс* описания возникновения и развития коллизии при таком взаимодействии-противодействии, если бы этим занимался только один персонаж, будь то автор повествования или его редактор, или даже идеальный читатель, был бы обречен на провал, так как при таком подходе невозможно было бы справиться с этой задачей.

Поэтому авторский голос пришлось свить, как многожильный кабель, из нескольких голосов, ставших, сами по себе, объектом авторского произвола. Этим голосам приходилось отстаивать свое право на существование в пространстве мерцающего экрана, который в одном из периодов текста заменяла (по умолчанию) старая пишущая машинка, и в ней возникали ритмы песчаной бури, треск и шипение огня в сценах эзотерических толкований стихий, лязг траков танковой колонны, глухое эхо от удара киркомотыги (которая в этих краях называется «кетмон») в основание черепа, зловещая тишина, которая обычно наступает, когда на взлетной полосе прекращают свою работу двигатели, лишенное всякого признака звука ночное переползание гюрзы по телу Искандера.

Для воспоминания обо всех этих звуках старая пишущая машинка, пыхтя, хрипя и задыхаясь на каждой букве, рвала ленту, которую всё время приходилось водворять на место, делая лишние телодвижения, причем машинка всё время меняла свой угол, так как увлекшаяся письмом автор, пишущая этот текст, забывала ее выравнивать, и когда она это вдруг замечала, громящее орудие производства чуть не сваливалось со стола, а сама она, неестественно изогнувшись, словно на полотне экспрессиониста,

тянулась вслед за ним; всё это напоминало борьбу со злыми духами, где ни у одной из сторон не было ни малейшего шанса ни погибнуть, ни выжить, чтобы вдруг по ту сторону этой стороны и по эту сторону той стороны собственного текста ухнуть в незыблемую дыру, дырее всех дыр, в световые *ворота*, созданные пробным выстрелом в книгу, движением танковой колонны, идущей без опознавательных знаков с погашенными огнями, миготом отрыва от взлетной полосы маленького самолетика местной авиалинии, совершившего полет внутри полета и приземлившегося сейчас по ту сторону этой стороны, благополучно перенесся и ее саму, и ее синюю тетрадь через реку огня, – так, кроме всего прочего, машинка эта стала идеальным инструментом по созданию саундтрека, звукового фона, неотъемлемого от создания самого текста повествования.

Здесь каждый сотворял свое. Рассказы об отрубленной руке и отсечении головы киркомотыгой были всего лишь именами файлов. После *глотка горячего зеленого чая* всё остальное становится возможным и достижимым.

Теперь она сидела рядом с раскопом мезолитической стоянки

Теперь она сидела рядом с раскопом мезолитической стоянки в горах, куда они пришли вместе с Искандером.

Его соотечественники тихо разговаривали между собой; ноги у нее болели от непривычной обуви и утомительной ходьбы; сейчас она держала в руках чашку с горячим зеленым чаем, стараясь согреть замерзшие руки. По ночам в горах было так холодно, что под утро замерзала вода. Вскоре она ушла в брезентовую палатку, где лежали спальные мешки, в один можно было залезть, второй служил матрацем. Она попыта-

лась заснуть, и вскоре ей показалось, что и в самом деле она задремала.

Внезапно она проснулась от какого-то звука или чьего-то движения. Ей показалось, что из-под нее пытаются вытащить спальный мешок, а может быть, кто-то споткнулся о кол палатки; она подняла голову и стала прислушиваться к звукам чужой речи и с трудом поняла, что обсуждались ужасные нравы горцев, которые почитались какой-то непонятной расой; некоторые даже утверждали, что это и есть потомки древних ариев: сейчас речь шла об их независимости, свирепости и ужасающих погребальных обрядах, во время которых умершему пронзают специальным копьем ноги и руки. Выхватывая из их речи лишь отдельные слова, она не могла понять, о каких, собственно, обычаях идет речь: о древних или теперешних.

Внезапное пробуждение в темноте, в чужом месте, когда непонятно, который час, и невозможно определить положение своего тела в пространстве; звуки горной ночи, обступающие тебя со всех сторон: легкий шорох ветра, временами отдувающего полы палатки, скрип деревянных кольев, к которым привязаны палатки. Она замерла в тесноте спального мешка.

Почему-то ей вспомнилось, что *ювелира она всё-таки не нашла*: кольцо с дельфином было на ее пальце.

Если третий период создания текста начинается с сотворения нескольких пар существ, действующих подобно духам, то он предполагает появление и человека, который каким-то образом должен вмешаться в жизнь духов, создав собственный рассказ, некий текст «с человеческим лицом».

Чего только не прочтешь в описании человеческих лиц! Существенна лишь одна проблема: еще никому не удалось увидеть лицо другого целиком. В различных произведениях человеческое лицо передается

через описание действий или состояний тела или голоса, который может быть тихим, громким или вообще не иметь никаких характеристик, жестов, производимых этим голосом действий, где голосу придается статус жеста: «Он назвал меня по имени». Лицо может скрываться под описанием внешних оболочек: одежды, деталей одежды, иногда дело доходит до того, что неодушевленный предмет вроде розовой канистры со спиртом захватывает статус персонажа или действующего лица, получая все основания сменить статус нечеловеческого на вполне человеческое.

Если о лице Искандера удалось сказать, что у него имелся маленький шрам на подбородке, то это уже говорило о многом, и главное, о зависти его происхождения, о некоторых чертах характера – например, такой шрам он мог получить во время детской драки, в борьбе за лидерство.

И, что уж совершенно несомненно, если кто-то уносился в самый центр пустоты, то при всем несовершенстве выбранного средства, а им чаще всего был *глоток горячего зеленого чая*, который был транспортом для переноса его, ее, себя (пойди тут, разберись!) в любую точку повествования, этот кто-то, как в случае с канистрой, также принимал на себя статус рассказчика, то есть говорящего.

В тексте существует много попыток описания лица Искандера, но до сих пор всё, что о нем известно, сводилось лишь к одной – и притом крайне незначительной при всей своей значительности – детали его внешности. Где-то еще говорится, что на его лице было выражение неуверенности и, может быть, какой-то отстраненности.

Однако если попытаться припомнить что-то наиболее характерное для него, то лучше всего вспомнить, как он общался с окружающими в неординарной ситуации, когда он, говоря на своем диалекте, сыпал на голову очередной жертвы своей педагогики истинны языка простонародья – возможно, даже сильные выражения, существующие на его диалекте, – на его

лице при этом расцветала улыбка, что подчас не давало понять (свидетелям или жертвам подобных сцен) суть его слов, которая была до банальности проста.

Она же во время таких эксцессов могла неожиданно сесть на землю, поджав под себя ноги и спрятав лицо в колени. В каком-то смысле эта камышовая улыбка Искандера и ее спрятанное в коленях лицо были двумя сторонами одной и той же монеты, продырявленной, как книга от пробного выстрела философа накануне комбинированного самоубийства.

Глава шестнадцатая

Ищущий истину
размышляет о теле,
о душе, о глотке
горячего зеленого чая
и других не менее
важных вещах

Ювелира я так и не нашла – последнее, что она помнит перед тем, как погрузиться в сон второй волны, что было равносильно намеренному искажению текста, в котором описываются события, произошедшие на раскопках мегалитической стоянки.

Перед тем как снова заснуть, она вышла из палатки и сказала им всем на своем языке:

– Ребята, на сегодня хватит. Давайте спать!

Все разом замолчали, и если выражение их лиц и можно было с чем-то сравнить, то разве что с фотографиями внезапно умерших людей.

Как уже было сказано, третий период текста начинается с сотворения пар людей и вмешательства человека в жизнь духов. Всесильному духу зла удалось смешать в одну кучу добро и зло. Последователи

Верховного божества должны очиститься, пройдя через огненные реки; приспешники духа зла должны погибнуть в пламени мирового пожара.

Перед пришествием этого огненного суда, экспирозиса, должен появиться Избавитель. Он сотворит чудо воскрешения мертвых и будет руководить их переходом через огненную реку.

Только душа и тело создают человека.

Тело от природы не является злом, оно сотворено Верховным божеством и требует лишь очищения перед входом в мир добра. Но это вопрос выбора. Выбравший добро, однако, может ошибиться, он может оскверниться, и тогда для его спасения *все средства хороши*. Так говорил муаллим, так полагал Искандер, also sprach Zarathustra.

Так третий период текста начинается с появления человека «в мире, где ничего не существовало», где всего два летних месяца и десять зимних, когда замерзало всё и вселенский холод был границей добра и зла.

Они сидели в Черной Чайхане и пили горячий зеленый чай. Ювелир старался, чтобы она выпила этого чая как можно больше. Но, видя, что это не удастся, он стал изощряться в колкостях. Что можно было сказать по поводу этих странных людей? Может, они когда-то и были друзьями, но теперь дружеские отношения в силу каких-то причин сменились если не враждебностью, то неприязнью, а то и просто безразличием.

По мере того как она распространялась на предмет Искандера, тон ювелира становился всё агрессивнее, и особенно это чувствовалось, когда речь зашла о ритуальной чаше из Рея и о кольце. Он тщательно уклонялся от разговора об этих предметах и плел околесину, мотивируя свое недовольство тем, что уже выпил достаточно *горячего зеленого чая*.

Поцапались тогда они здорово, и ей показалось, что она совершенно убила его одной фразой:

– Если ты боишься чего-то, значит, у тебя есть на это причины.

Ювелир так и подлетел вместе со своим стулом:

– Это именно то, что я и хотел от тебя услышать!

Ей показалось, что разговор становится бессмысленным. Ничего не ответив, она отвернулась от него и заговорила с подругой о том, что хорошо было бы заново зарисовать этот осколок столь необычной конфигурации, с изображением солнечного круга, но тут начался какой-то скандал; похоже, виновником его оказался опять ювелир. Пока шел разговор о чаше, он успел переместиться в противоположный конец Черной Чайханы и оказался у самого выхода. Она встала со своего места и быстро подошла к нему. Вдруг ювелир схватил ее за руку и буквально силой усадил около себя на единственный стоявший у двери стул.

Она ничего не понимала, кроме того, что в воздухе запахло скандалом, продолжением чего-то, что словно выжидало своего часа и сейчас быстро набирало обороты, втягивая в свой круг всё новые и новые лица.

Рядом сидел какой-то человек, к которому ювелир вдруг ни с того ни с сего начал вязаться, доводя того до белого каления. Она всеми силами пыталась уговорить его оставить парня в покое, упирая на то, что всё это может кончиться плохо, на что ей было высокомерно заявлено:

– Да я только этого и хочу!

Кто знает, может, он действительно хотел этого, но уж ей-то этого точно не хотелось. С трудом ей удалось вытащить ювелира на улицу: тот никак не хотел покидать Черную Чайхану. Она совершенно растерялась, ей казалось, что сейчас сюда сбежится весь город, чтобы выяснить, что же тут происходит. Ей уже виделось, как на следующий день все показывают на нее пальцем.

Однако нельзя же было оставлять ювелира в таком месте и в таком состоянии. Решение было принято: пока она ходила на остановку узнать, когда пойдет

следующий автобус, ее подруга крепко держала ювелира под локоть, чтобы тот не вырвался и не собрал вокруг себя толпу, чего ему, похоже, и было нужно.

Вскоре она вернулась, так ничего и не узнав про автобус.

Она взглянула на ювелира, и ей вдруг показалось, что его лицо как-то странно изменилось: еще секунду назад он как мешок висел на ее подруге и, казалось, лишился чувств. И вдруг совершенно трезво взглянул на нее, вернее, сквозь нее, и тут же глаза у него загорелись дикой злобой, он рванулся, и она в испуге отшатнулась, едва успев увернуться от протянутых рук.

Вскоре подошел автобус. Водитель отчаянно ругался и проклинал всё на свете, вопя, что они позорят его на глазах всего города. Но общими усилиями они с подругой кое-как довели ювелира до автобуса и с большим трудом усадили на заднее сиденье, а он вырывался у них из рук и кричал, куда это они его тащат и что никуда он не поедет.

Думая, что он ничего не слышит, она предложила подруге чем-нибудь не слишком тяжелым стукнуть ювелира по голове, чтобы он хоть ненадолго угомонился. Но, как впоследствии выяснилось, он не только всё видел и слышал, но в любом состоянии мог полностью себя контролировать и отдавать себе отчет в своих действиях. Поэтому ее идея стукнуть по голове привела его в неистовство, и он снова стал от них вырываться. Лишь после того как водитель остановил автобус и заявил, что не сдвинется с места, если не кончится это безобразие, ювелир перестал бесноваться.

С горем пополам они добрались до его жилища, где опять начались приключения. Прямо около входа во двор сидело несколько человек, из которых она знала лишь одного соседа – он жил там с красивой белокурой женщиной и очаровательным ребенком.

Как только они с подругой втащили во двор упирающегося ювелира, все эти парни направились к нему с такими лицами, будто они только его и ожидали. При-

шлось остаться вместе с ними – с падающим с ног ювелиром и этими молодцами, которые, говоря между собой на диалекте, начали вокруг ювелира какую-то непонятную суету. Они обливали его и друг друга водой из ведер, которые стояли около дверей в их жилье. Непонятно, с какой целью они это делали: желая помочь ему протрезвиться или просто так, из озорства.

Вдруг ювелир снова заартачился, и они вшестером с трудом втащили его по крутой лестнице, а он при этом, когда они его тащили вверх по полуразрушенным каменным ступеням, старался зацепиться за что-нибудь рукой или ногой; в этой передеряге он потерял одну из своих сандалий, которую, правда, потом нашли.

С трудом открыв дверь, они всем скопом ввалились в его комнату, и тут уже началась настоящая драка, кто-то ударил ювелира по щеке, а тот попросил еще, а потом еще, а потом еще раз еще, отчего все совершенно озверели.

Наконец, ей с подругой удалось кое-как втолкнуть ювелира в маленький закуток, служивший ему одновременно и кухней и кладовкой, и под предлогом того, что надо, дескать, умыться и переодеться, отвлечь от драки. Но он умудрился снова вырваться и куда-то исчезнуть. Они выскочили во двор и увидели такую картину: вся дворовая компания вместе с ювелиром, сидя на полу на старом ковре, мирно пила горячий зеленый чай.

Соседи пытались уговорить его успокоиться и лечь спать, но ювелир никого не хотел слушать. Лицо его распухло от слез и побоев; наконец, когда соседи ушли и они остались втроем, она сказала, что всё это отвратительно. На что ювелир с полнейшим самообладанием ответил:

– Иногда надо быть отвратительным...

Неизвестно, что произошло раньше и что именно из сказанного ею или ее подругой снова его разозлило, а может, всё дело было в том, что они никак не уходили, и это вызвало у него новый приступ ярости, который

на этот раз обратился против бронзовой и глиняной утвари. Он зачем-то решил пойти снова в кладовку и нечаянно толкнул локтем стеклянную дверь и разбил стекло; осколок в форме ножа вонзился ему в бок и так и торчал, дрожа и покачиваясь.

Она совершенно растерялась, вспомнив самые страшные истории о том, что раненные подобным способом люди умирают, как только из раны пытаются вытащить нож, и стала звать на помощь подругу, которая то ли оказалась решительнее ее, то ли не была осведомлена о возможных последствиях извлечения осколка из раны: обмотав руку какой-то тряпкой, она выдернула осколок.

Тут-то и начался настоящий кошмар. Она поделилась с подругой опасениями, что ювелир может добраться до кухонного ножа, лежавшего на столе, но, как ни странно, ничего подобного не произошло. Вдруг входная дверь как-то сама собой раскрылась, и они выскочили наружу. Около двери уже собрался весь дом, и соседи бурно обсуждали происходящее. Судя по их реакции, такое уже случалось раньше, потому что кто-то сказал, что сейчас ювелир «сначала опять перебьет всё, а потом будет делать снова». Подруга с недовольным лицом что-то говорила им на их диалекте, и было видно, что она спит и видит, как бы самой поскорее отсюда убраться. Однако, судя по шуму и грохоту, раздававшемуся из-за закрытой двери (где, как видно, местные духи зла опять *толкнули падающего*), можно было догадаться, что сейчас там происходит настоящий погром. Вскоре шум стих, и ювелир вышел на улицу. Она вернула ему солнечные очки; они валялись на полу, и она их подобрала и положила в свою сумку. Все с ужасом смотрели на пятно крови, которое расплывалось на белой рубашке слева, чуть пониже ребер. Очевидно, там и была рана, хотя неизвестно, насколько глубоко осколок вошел в тело.

Теперь уже никто не знал, что делать: снова ювелира скрутить, просить кого-нибудь вызвать скорую или самим отвезти его в местную больницу.

Вдруг к ним подошло еще несколько человек; среди них особенно выделялся человек с красной физиономией и осоловелыми глазами. Его лицо показалось ей знакомым. И вдруг в голове мелькнула мысль, уж не этот ли человек всему виной.

– Уходите все! – крикнула она на их диалекте.

Краснорожий в растерянности пытался что-то объяснять ее подруге, а между тем пятно на рубашке ювелира всё увеличивалось. Тогда она бросилась стучать во все двери, хотя было ясно, что и без того за машиной уже побежали. Вскоре она приехала, и человек с красным лицом посадил в нее ювелира, предварительно взяв у него ключ и заперев дверь его жилища, после чего многозначительно посмотрел на присутствующих и велел всем разойтись по домам.

На следующий день ювелира видели на базаре, и, говорят, вид у него был вполне нормальный.

Через несколько дней они с подругой решили его навестить, хотя не были уверены, удобно ли это. Они направились к его дому, но столкнулись с ним на улице. Ювелир шел со своим соседом, мужем белокурой женщины, в кино, и хотя вид у него был довольно смущенный, он не без ехидства заметил, что это еще только начало и что продолжение следует. Они шли смотреть фильм «Поэма в камне».

Как бы то ни было, становилось ясно, что продолжение следует.

Дух философа предупреждает: текст близок к состоянию клинической смерти

Если третий период текста начинается с сотворения пары человеческих существ и появления «человеческого», способного вмешаться в жизнь духов, то это человеческое может возникнуть в описании тела, пронзенного крупным осколком стекла, то есть тела ювелира, претерпевшего своеобразное расчленение. Если описать это разъединение в терминах

учащения пульса свидетелей безобразной сцены немотивированного буйства ювелира, держателя тайны кольца с дельфином и ритуальной чаши из Рея или Раги (черт ее побери!), то где тот идеальный читатель, кто за учащением этого пульса наблюдал и кому еще предстоит увидеть лужу кровищи, которую лизала собака по имени Марта (или Марфа). Описать это отвратительное, о чем обмолвилась девушка, которая *ювелира так и не нашла*, по-прежнему представляется делом куда более сложным, чем придумать очередную кровавую сцену.

Не будет преувеличением сказать, что сам файл «ювелир» в каком-то смысле, воистину, сын неба, у которого нет ни отца, ни матери, и, более того, в отрыве внутри отрыва, о нем говорится лишь то, что художница и переписчица древних рукописей его *так и не нашла*, следовательно, еще в предыдущем периоде текста его существование представлялось достаточно проблематичным. То есть если ювелир в этом тексте и присутствовал, то в качестве кого-нибудь вообще...

Поэтому такой резкий переход от потенциальности его присутствия к конкретному и детальному описанию актуальности в виде его «захода» (или серии «заходов») происходит на основе свободного выбора (если, опять же, обратиться к истокам философской доктрины, которую, по мнению историка Искандера, создали представители его цифровой цивилизации, — те, кого он почитал своими далекими предками). Для приверженцев этой доктрины в любую минуту мог наступить конец света, момент, когда сигнификат мог совпасть с сигнификантом, — то есть, человеческое существо могло оказаться в непосредственной близости с вселенским злом и оскверниться или запачкаться, иными словами, оказаться в положении хоть и нуждающегося в очищении, но, в принципе, предназначенного для спасения.

Таким образом, это разъединение жизненного пространства ювелира (когда он устраивал погром в своем жилище) и последующее расчленение тела

ювелира, также предназначенного быть спасенным, а следовательно, и самого текста, описывающего это событие, являлись действиями по обеспечению этого спасения.

Очевидно, пульс человека учащается при виде крови: девушка в ужасе мечется по двору, стучит во все двери и вдруг останавливается и замирает. Она вспомнила, как Искандер на похоронах учителя вдруг взял ее за руку и ей показалось, что собственная жизнь в ней замирает и останавливается, чтобы почувствовать биение его пульса; тогда она явственно вдруг ощутила всю его незащищенность: вот так можно подобраться к самой его сокровенной сути, его сердцу. Наверное, есть в крови теплокровных существ что-то такое, отчего человеческое сердце бьется сильнее. Но ведь тогда, во время похорон, никакой крови не было.

Стало быть, текст ювелира утыкан остриями, подобно телу святого Себастьяна. И всё так удачно сложилось для введения в повествование еще одной излюбленной фигуры литературной речи, разом Святого и Себастьяна, словно отыскан еще один прекрасный камень в украшении дочери царя Дария III, и ему надлежало занять свое место в какой-нибудь витрине культуры вместе с литературным агентом К., контаминированным яблоком, пистолетом культуры, романом, простреленным пробным выстрелом, оторванным рукавом муслиновой блузки и треснувшим зеркалом (служанки).

Всё это многослойное тело текста также постоянно нуждается в своеобразном очищении, что на самом деле и происходит с ним на каждой странице, не говоря уже о том, что этот текст сам по себе изначально предназначен быть спасенным, а то, что каждая его часть в любой момент может начать развивать свою собственную историю спасения, создает предпосылки и для последующего нового очищения, которое, как вытекшая из раны или дыры (в тексте или в теле) лужа кровищи, заставляет участиться

пульс идеального читателя, поддает жару в стремлении победить самое себя в этой далеко не бескровной борьбе.

Если одиссея Искандера являлась телом, плотью текста, обладающей всеми органами чувств и имеющей дело с вещами чисто материальными – с землей долины Багряной Реки и «предметами материальной культуры», извлекаемыми из складок этой земли, в которой его физическое тело действует при помощи таких же земных и грубых материальных инструментов, вроде кайла, лопаты, теши, киркомотыги (называемой на его диалекте «кетмон»), а иногда и тонкой кисточки, используемой для того, чтобы не нанести ущерба извлекаемым из земли предметам, почему его лицо было чуть темнее, чем у других, так как он постоянно находился под палящим солнцем, то одиссея ювелира представляет собой как бы душу этого текста.

А как же иначе? Если всё рукотворное в повествовании приписывается Искандеру (сложенный очаг, тент над обеденным столом, стены кухни, которые он сделал из сухого камыша) и состоит из земли и ее даров, то ювелир имеет дело с куда более тонкими субстанциями, как то: огонь, воздух, вода и т. д.

В повествовании само тело Искандера, парадоксальным образом, не описывается (разве что упоминаются его самые незначительные детали: маленький шрам на подбородке и камышовая улыбка) и так тщательно охраняется от любого нескромного взгляда или симпатического воздействия, могущего причинить ему вред. Он становится невидимым и недостижимым для духов зла: проехав на разваливающейся машине через песчаную бурю по бездорожью пустыни, он остается целым и невредимым; ядовитая гюрза переползает через него, не причинив его телу ни малейшего вреда; мало того, он приобщен к некоторому тайному знанию об истине вещей (с истиной слов дело обстоит сложнее); он знает, как снять магический перстень с опухшего пальца, не повредив при этом ни кольца, ни пальца. Снаружи он

цел и невредим, но есть подозрение, что он истязает себя изнутри, так как стремится быть совершенным, то есть неживым.

Ювелир же подвергается нападениям духов зла извне, но не истязает сам себя, он как будто заключает соглашение с этими духами и имеет на это какое-то высшее благословение, когда захлопывается в пещере (своей комнате), достигает там почти клинической смерти, доходит до полного изнеможения, а потом появляется на пороге комнаты целым и невредимым и даже в чистой белой рубашке, хотя и с кровавым пятном на боку.

Подобное разделение было бы слишком прямолинейным, как в сказании о Спасителе (которому, как считал Искандер, поклонялись его предки).

Как только брызнула кровь, совершилось чудо. И душа, освобожденная от зла, вернулась на небо, а идеальный читатель – к тексту повествования.

В такой фантазматической символике борьбы добра со злом и выбора *и того и другого* в третьем периоде текста сама комната ювелира могла бы стать третьим отрывом или отрывом в отрыве во время остановки двигателей самолета, когда он вырывается на взлетную полосу. И происходит освобождение текста от текста, при мысли о чем учащается пульс, как при виде крови священного животного (если вспомнить о ритуальном убийстве барана при постройке дома около последних городских ворот, где пришлось жить девушке, одетой в темное платье и шаль с кистями, в которую она закутывалась до самых глаз).

Здесь же жертва приносится ради возвращения текста тексту в темнице языка, где живут и действуют жертвы повествования; освобождение приходит только со смертью текста, кровь священного животного очищает текст от текста, и тогда его душа может соединиться с его спасенным духом. Стекланный осколок пробивает источник в скале, в нагромождении слов, наконец, приближается граница, рубеж скитания, и происходит что-то вроде прощального

вечера, последнего лингвистического чаепития, где каким-то образом соединяются друг с другом описанные выше продолжения, которые следуют.

Да, разумеется, если представить себе действие многочисленных *глотков горячего зеленого чая* в образе последовательно очищающегося текста, то стоит вспомнить о двух надписях-близнецах – «истина всегда сокрыта» и «спасает только истина»; но не следует забывать, что во втором периоде текста фигурирует только первая часть этого толкования.

Если же не названный до поры до времени близнец Искандера, его alter ego, атрибут которого пока что выявлен как античный перстень с дельфином (в тайну влияния которого на судьбы людей был посвящен один лишь ювелир) является лишь инструментом для поддержки гипотезы о том, что в определенном смысле Искандер и ювелир (имена файлов – разные) представляли собой разные стороны одного и того же текста, тогда их взаимодействие и взаимозаменяемость вполне возможны.

Искандер каким-то способом надевает на палец девушке перстень с дельфином, чтобы получить толкование от собственного грегуара, но девушка, подруга и возлюбленная его, в данном случае уподобляется змее из мифа, она крадет послание драгоценного кольца и подменяет его простым глиняным черепком от ритуальной чаши из Рея (рисунок которой указывал на ее использование во время церемонии бракосочетания), желая таким образом соблазнить и околдовать своего любимого (или того, кого она таковым считала) при помощи чар тех же самых сил, с которыми последний себя чувствовал в некотором родстве: ведь он был одержим идеей открыть никому еще не ведомую цивилизацию своих предков, то есть был готов быть соблазненным, так как сама эта идея представляла собой не что иное, как сплошной соблазн, то есть чистую энергию.

Даже в их поведении есть много общего. Так, в момент змеиной паники Искандер способен «и гла-

зом не моргнуть». Ювелир после погрома в Рее (или Раге, черт возьми!) преспокойно пьет чай со своими соседями, хотя ритуальная чаша варварски разбита. Один из осколков впоследствии был подвержен дальнейшему разъединению, то есть дальнейшему фрагментированию, в момент посещения девушкой дворца с кукольной мебелью и тронем с хламом, а затем привезен на Глиняный Холм и вручен Искандеру как некий сверхценный предмет, который был найден там, по ту сторону чего бы то ни было.

Сама попытка фрагментирования хаоса с дальнейшей сборкой уже представляет собой попытку развить самостоятельную систему, которая соединяется с основным потоком повествования по принципу избирательного сродства, как и описание ювелира, который, претерпев муки ритуального очищения своего тела (а соответственно – и текста) при помощи кровопускания, отмеченного учащением пульса свидетелей, сразу же оказался вполне здоровым: попив зеленого чая со своими соседями по двору, он затем идет с одним из них смотреть фильм «Поэма в камне» о разрушении повстанцами буддийских статуй на территории сопредельного государства.

Всё вышеизложенное недвусмысленным образом наводит на мысль о том, что в запертой комнате ювелира, в его пещере смысла, как он неоднократно свое жилье называл, произошло что-то такое, в результате чего он стал другим, то есть существом неживым, совершенным, подлинным сыном неба (у которого уж точно не было ни отца, ни матери); он стал той самой истиной, которая всегда сокрыта, центром пустоты, куда в одном из периодов текста летел маленький двенадцатиместный самолетик или стингер *ищущего истину* Искандера в одной из своих жизней, который в какой-то другой жизни учился в одном из самых больших университетов мира, был историком и мечтал открыть дотоле неизвестную цифровую цивилизацию.

Еще одна самостоятельная система настойчиво заявляет о себе во втором периоде текста. Ее файл носит имя «треснувшее зеркало (служанки)», и озвучить ее надлежит агенту К., попадающему в результате действия контаминированного культурой яблока, засевшего в позвоночнике его грегуара, в лабиринты, коридоры, темные аллеи, водоемы со змеями, заводы сирен, зеркала и прочие тупики и ловушки текста.

Отчет агента К.

У демона зла тоже были помощники: злая мысль, ложь, ярость и жажда убийства. Характерно, что все они доводились до степени демонов, с которыми человеку необходимо бороться, помогая тем самым духу добра.

В каком-то смысле Искандер был конченный человек. Идея цивилизации предков торчала у него в голове, как гвоздь; подтверждение ее существования он видел повсюду или творил его сам *любой ценой*, что мешало встать на сторону духа добра.

Как-то вечером он предложил ей прокатиться по пустыне на мотоцикле, который одолжил у сторожа арбузного поля. Она села на заднее сиденье, он включил мотор, и они понеслись с сумасшедшей скоростью по дороге вдоль раскопа. Пляшущий луч фары освещал неровности почвы; они мчались, поднимая клубы лёссовой пыли, ныряя в провалы, чтобы через несколько секунд возникнуть на каком-нибудь холме; свет метался, выхватывая из темноты отдельные детали дороги, городища и палаточного городка.

Вдруг он внезапно и резко затормозил; они снова в палаточном городке, где все собрались и ждали их возвращения, чтобы увидеть результат очередной Искандеровой «педагогики». Она сошла с мотоцикла, улыбнулась всем, вежливо поблагодарила Искандера, произнесла слова благодарности на его диалекте,

потом, твердо ступая по земле, подошла к Бесу, протянула ему руку и они вместе пошли по дороге к ее палатке, оставив присутствующих в полном недоумении. Властелин Времени, как всегда, стоял, выпучив свои дравидские глаза, и ничего не понимал, несмотря на свое высокое происхождение.

Искандер хотел ей сказать что-то вроде того, как здорово было прокатиться и как здорово, что она не боится скорости, но ей было не до того, у нее так кружилась голова, что она уже его не слушала и, вцепившись в Беса, думала только о том, как поскорей добраться до палатки.

Да, скорости она не боялась...

Вот тогда-то во время ее разговора с Бесом и прозвучала впервые фраза о том, что Искандер – конченный человек. Бес начал рассказывать ей о том, что сегодня они с ним работали целый день под палящим солнцем и снова снимали план раскопа, а если говорить честно, то искали ошибки в ее чертежах. Бес мрачно бурчал:

– Искандер хочет тебя подкузьмить, и меня заодно, но обещаю тебе, у него ничего не выйдет.

Она тогда вспомнила, что с утра он никак не мог уговорить ее начать работать. Она сидела за его оранжевой палаткой, рядом с поломанными ящиками, набитыми мятой бумагой и промасленными тряпками, которыми Искандер что-то постоянно протирал в моторе своего рыдвана, и курила, надеясь, что он этого не заметит.

Потом он подошел к ней опять в самый неподходящий момент, когда она, разложив на коленях синюю тетрадь, что-то в ней писала, снова и снова перечеркивая написанное, а куча окурков и обугленных спичек рядом с ней увеличивалась.

– Смотри, если сегодня не зачертишь несколько планов...

Он держал в руке не то бинт, не то марлевую салфетку и прикрывал ею нос и рот; ее белизна и чистота на фоне всей этой грязи и пыли выглядела пугающе.

Она встала, взяла свои чертежи, пошла на раскоп, нашла Беса и спросила, что с Искандером.

Бес как-то странно на нее посмотрел.

– Это от жары. Ничего страшного.

– Ничего?

За обедом она видела, что Искандер бесится из-за того, что она ничего не делает, а он не знает, что ему надо сделать, чтобы заставить ее хоть что-нибудь да делать. Не скрывая своего раздражения, он спросил ее, зачем она красит ногти растительной краской, хотя под лучами солнца они давно потеряли свой первоначальный красно-коричневый цвет и ничем не отличались от своего естественно-го цвета, чем поставил всех в неловкое положение, а она подумала: «Что за муха его укусила? Сейчас начнется, пожалуй, что-нибудь о том, как я одета...» И тут он понес что-то, как ей показалось, уж совсем невразумительное, что с ним случилось, когда он по-настоящему нервничал, путая слова и неправильно ставя ударения, когда говорил на ее родном языке.

Ближе к вечеру приехали ребята из группы, работающей на мезолитической стоянке. Но разговоры по поводу ее ошибок в планах раскопа продолжались, и она спрашивала себя, с какой стати Искандеру так хочется ей досадить.

В руках у Беса был маленький транзисторный приемник. Из него доносилась завораживающая музыка, передаваемая какой-то станцией сопредельного государства. Бес сидел с отрешенным видом; взгляд у него остановился, он как будто полностью погрузился в этот мир звуков и с трудом возвращался к действительности, когда кто-то его окликал. Разговор стал принимать странный характер, в воздухе уже замаячила розовая канистра, и ему пришлось оторваться от радиоприемника.

Она опять задалась вопросом, почему он всё это делает.

Речь уже как-то шла о том, что по части потакания плоти Искандер и Бес были люди разных культур.

Искандеру почему-то хотелось думать, что уж если выбирать из возможных зол, то они с ней были, скорее, людьми *глотка горячего зеленого чая*. Однако на ее счет он заблуждался. Она придумала это транспортное средство как знак некоего ориентализма, маркировавший спонтанное и беспрепятственное бегство от смысла, он же видел только внешнюю сторону – приступы, как ему казалось, беспричинного смеха, которые его так пугали и причину которых он не мог до конца понять.

Бес же был другом розовой канистры. И сколько бы они ни разглагольствовали на тему: что лучше и быстрее действует, в данный момент она ясно видела, что надо здесь и сейчас добывать для Беса очередную порцию выпивки, и делать это следовало немедленно.

Когда они с Бесом вернулись в палаточный городок, выяснилось, что Искандер, ничего никому не сказав, сел за руль и отправился к кому-то в гости и что прожектор не работает, так как питается от аккумулятора машины; это стало хорошим предлогом пойти в оранжевую палатку якобы для поиска фонаря, что и было немедленно сделано. И дальнейшую беседу по поводу гвоздя в голове Искандера они продолжали уже при свете «летучей мыши».

Для того чтобы вспомнить, что происходило в высших сферах, следует вернуться к злой мысли.

Первая злая мысль:

Отчего невозможно создать текст, который бы не затрагивал ничьих интересов, не возбуждал бы ничьего любопытства и никому бы не мешал жить? Отчего иногда кажется, что эти мелочи, нюансы поведения людей, а подчас даже их некоторые высказывания можно передать словами крайне приблизительно, как что-нибудь вообще, а некоторые, весьма

важные вещи не удастся выразить никогда и никому? Хотя многие делают вид, что это возможно и доступно лишь им одним. Отчего иногда реальная жизнь, воспринятая как послание и требующая описания, в процессе этого описания представляется утомительным падением в неизвестное и безуспешным поиском того, что может назваться «абсолютным текстом»? Отчего всё время чувствуешь себя пассажиром, севшим не в свой самолет, пункт назначения которого неизвестен? И невольно описание испытываемых при этом чувств начинает уподобляться описанию тех, кто делает вид, что сел в «свой» самолет, добившись этого при помощи различных уловок.

И что же всё-таки отличает составителей текста, поднявшихся в свой самолет, от тех, кто застрял на взлетной полосе, поднявшись в не свой?

Вторая злая мысль:

Для создания абсолютного текста вовсе не обязательно подниматься в самолет, в ранних периодах текста высокопарно называемый «воздушным судном, летящим в самый центр пустоты». Самые возвышенные умы утверждают, что и самой пустоты не существует, и что сама она лишь только форма. Правда, другие, не менее возвышенные умы утверждают обратное. Вместо того чтобы туда стремиться любой ценой, как это делал Искандер, можно вот так, сидя здесь в палатке и повозившись с неисправной «летучей мышью», в конце концов зажечь ее, открыть синюю тетрадь на чистой странице и долго сидеть перед ней, думая о том, как жаль, что очень, очень многое просто невозможно выразить на языке простонародья, на диалекте, подобном расколотому зеркалу (служанки) оттого, что его просто не знаешь, а владеешь, по необходимости, только ограниченным сектором, языком создавшей тебя культуры, правда, на диалекте можно описать, как половчее зажечь безнадежно испорченную керосиновую лампу. Но для описания того, что может произойти в ночи при свете этой лампы (а лучше бы без нее), язык совершенно

непригоден, это необходимо знать каждому, кто рискнул дерзнуть, заранее зная, что потушить этот испорченный фонарь не удастся, и спать (в каком бы смысле этот глагол не понимался) придется при свете.

Третья злая мысль:

Для создания абсолютного текста вовсе не обязательно оказаться перед пустой страницей синей тетради и пытаться зажечь или потушить «летучую мышь», к тому же, как уже говорилось, безнадежно испорченную. Сама алогичность судьбы создаваемого текста уже является разрешенной сверхзадачей, и единственное, что в этом может показаться занятым для идеального читателя, оказавшегося перед этой пустой страницей, это ее постоянное присутствие в этом качестве в сознании этого читателя, где всё обусловлено всем и выпадение одного звена выстроенной цепи разрушает целое. Развитие текста в виде его последовательного разрушения обращается в демонстрацию метода, пространство текста превращается в арену, где действуют духи. После чего остаются лужи кровищи: зрители этих отвратительных безобразий вполне удовлетворены, в воздухе носится дух убийства и преступления, рожденный шумом моторов танковой колонны и хорошим литературным вкусом.

Вторым помощником в создании текста предполагается ложь (если со злой мыслью, можно считать, уже разобрались). Если вернуться вспять и вспомнить, что у девушки на запястье была надпись «истина всегда сокрыта», то нетрудно представить создаваемый ею текст как попытку еще больше скрыть эту хорошо сокрытую истину, зашифрованную в многократно повторяющихся словах, таких как: объяснить, найти объяснение, очистить, прояснить, выяснить, оказалось, – и производных от них девиаций, не забывая при этом, что рано или поздно всё-таки нет-нет да мелькнет мысль о том, что все эротические сцены в этом тексте тщательно вымараны и заменены описанием сюжетов из культурного контекста,

существующего в виде фресок, надписей, скульптур и всевозможных частей этих скульптур, в том числе и неназываемых, и других видов свидетельств материальной культуры, существующих как по ту, так и по эту сторону обширной, хотя и не имеющей определенных границ территории эротического.

Само притязание на соединение и разъединение языка и диалекта является попыткой путем различных компромиссов и уловок создать у идеального читателя представление о том, что смысл, заключенный в этих с лингвистической точки зрения несколько смещенных терминах, по определению, может быть только скрытым. С тем же успехом можно было бы сказать, что, сближая сходные понятия или, наоборот, их максимально разводя, можно также достичь сокрытия смысла. Если попытаться описать эротические сцены, связанные с чувствами и их максимальным проявлением, то самая эротическая сцена – это, пожалуй, та, где учитель философии лежит в гробу (на что девушка даже не решается взглянуть), в котором он оказался в результате задуманного и осуществленного комбинированного самоубийства, чему предшествовал пробный выстрел в текст культуры.

Ориентализм как жалкая попытка спасти положение

В храме, ориентированном на Восток, постоянно горел священный огонь. Роспись стен представляла собой цепь полукруглых арок. В просвете арок видно тело умершего юноши. Его длинные волосы раскинуты по плечам. В первой арке его голова, украшенная старинным убором, над ним – плакальщица. В следующей арке – дочь погребальных носилок склонилась над вытянутыми руками юноши; дальше еще одна – над его ногами.

В этой описываемой сцене есть безусловно что-то, что не дает поверить, что речь идет о смертном одре, а не о брачном ложе; поверить в это столь же

трудно, как предположить, что дети древней цифровой цивилизации были предками современных соотечественников Искандера.

Для того чтобы в связи с этим произвести довольно рискованный эксперимент, надо попытаться найти некую неподвижную точку, которую уместно было бы назвать «точкой возврата» (хотя в некоторых языках она парадоксальным образом называется «точкой невозврата»), и из этой точки, застав дыхание, последовательно рассматривать сцены росписи – группу плакальщиц, склоненных над умершим, точнее, над его руками и ногами. Тогда не трудно представить себе (памятуя о зверских обычаях горцев пронзать мертвому специальным копьем ноги и руки), что кто-то уже видел эту сцену плача.

Смотрим дальше. Голова умершего в первой арке оказывается погруженной в созерцание происходящего: его лицо изображено с открытыми глазами, словно он сам при желании мог описать собственные похороны, одновременно пребывая на глиняном возвышении в виде распростертого бесчувственного тела и находясь где-то рядом в качестве духа, наблюдающего за тем, что с этим телом происходит.

Начать главу с первых слов «Превращения»

Ювелир не знал, сколько времени он пролежал на глинобитном ложе, которое находилось посреди его комнаты; волосы у него были рассыпаны по плечам, а удивительной белизны кожа светилась каким-то особым голубоватым светом, похожим на мерцающий экран.

Он находился в общении со странными существами. Они навещали его, эти духи, и что-то нашептывали ему, когда он лежал на своем ложе, а волосы его были рассыпаны по плечам.

Какие чувства испытывал он, находясь в этом состоянии полной прострации и остановленного

умирания тела, назовем это состояние словом «обмирание» (придуманное еще одним галльским любомудром и мистиком, хотя оно несколько из другого контекста), предвосхищением совершенства, близкого к клинической смерти... собственного текста.

Если судить по попыткам ювелира рассказать о том, что с ним происходило, то он совершил этот рейский погром, чтобы, приняв вид «отвратительного», тем самым очиститься и стать совершенным, то есть неживым, о чем уже говорилось ранее. И не было бы преувеличением сказать, что вместо того, чтобы мешать ему бесноваться, свидетели этой сцены (а некоторые из них, предположительно, учились в самых известных университетах мира), – так вот эти свидетели могли бы припомнить кое-что из тех истин, которыми с ними в свое время поделились их любезные учителя и наставники, и обменяться (пусть даже в следующий раз) согласно древнему обычаю крашеными яйцами, что было бы шансом для введения в обиход нового языкового и философского измерения. Но они сообщая эту возможность упустили.

Сюжет росписи храма огнепоклонников в сцене с плакальщицами, склонившимися над распростертым телом умершего юноши, в дальнейшем спланировал в эпические поэмы сопредельных стран, написанные на языке, на котором, как считалось, изъяснялись представители цифровой цивилизации, которые якобы когда-то дошли до самой Европы. А отзвуки этого языка до сих пор слышны в родном языке девушки с окрашенными хенной ногтями, чужестранке, из земли, где вселенский холод служит границей добра и зла, которая однажды – по собственной воле или по воле случая – оказалась в этих краях.

Однако постоянно обыгрываемый в тексте термин *по ту сторону*, дающий пищу для различного рода толкований в игре на поражение, более позднего происхождения и относится уже к геометрической цивилизации.

Таким образом, этот уже давно введенный термин, не имеющий четких очертаний (ни в плане географии, ни в плане лингвистики), скорее, означает место литературного агента К.

Он, как и агент К., может оказывать сверхъестественное влияние на судьбу текста, записанного на страницах синей тетради. Если проблема самоопределения языка геометрической цивилизации и не возникла до времени, то теперь она возникла, и возникла она вовсе не на пустом месте. Скажем так: ранее она существовала в виде, подчеркнем это, *ссылки* на воздействие *глотка горячего зеленого чая* и играла роль некоего транспортного средства.

Насколько все эти проблемы находились между собой в тесной и нерасторжимой связи, можно себе представить. Уже неоднократно давалось толкование (или несколько вариантов толкования) пробного выстрела, когда пуля, проходящая сквозь толщу наслоений, в романе сливается в какой-то момент с текстом, подобно удару пальца по клавиатуре пишущей машинки, грохочущей, как трактор. И вот на бумаге появляется долгожданный знак *чего-нибудь вообще*, и время этих странных метаморфоз исчисляется разве что неизвестными нам единицами измерения, которыми пользовались представители Искандеровой цифровой цивилизации.

Всё это, вместе взятое, лишь служит подтверждением чисто научной спекуляции, согласно которой на определенном историческом этапе все эти «еще не» и «уже не» (то есть *по ту* и *по эту*, но во времени) привели к тому, что среди воинов средневековых правителей этого региона распространилась легенда, что почитаемый Пророк завещал завоевать земли, лежащие *по ту сторону*.

В таком случае каждый покоренный житель должен был внести налог (это слово должно было бы уже прозвучать на языке «геометрической цивилизации»). На шею земледельца или горожанина вешали глиняную бирку, на которой значилась сумма налога

и срок взноса. Когда налог бывал уплачен, позорную бирку снимали, но такие случаи были редки. Срок истекал, и человек обращался в вечное рабство; от налога освобождались только адепты геометрической цивилизации, вот почему она распространилась так быстро и вытеснила прежнюю. Если жителей подозревали в непокорности, с места изгонялись целые селения. На сбор пожитков давалось два часа: завоеватели прикрепляли к руке местного жителя кусок мокрой глины. Если глина высыхала и отпадала, это свидетельствовало о том, что человек, предназначенный к изгнанию, провел в родном доме больше, чем ему было позволено для сбора своих вещей.

Но покоренная знать всё-таки не оставляла надежды свергнуть власть иноземцев. В обществе возник интерес к старине, к устным и письменным преданиям, повествующим о былом величии. Дело доходило до того, что образованные люди, которым вроде бы и ничего не следовало знать, кроме Священной Книги, начали до такой степени увлекаться стариной, что стали находить в ней поэтическую и литературную ценность. Многие местные аристократы в своих стихах (а сочиняли стихи тогда все) гордились тем, что они находятся в прямом родстве и происходят от витязей древней цифровой цивилизации, но пишут они об этом уже на языке геометрической цивилизации. Почему? Разве ответ на этот вопрос искал Искандер?

Почему о высоких истинах нельзя говорить на языке нового простонародья

Ювелир провел в своей комнате, усеянной розами и населенной птицами в рубиновых перьях, больше двух часов. Вот он приподнимается на своем ложе, вернее, на глиняном возвышении, которое служит ему кроватью. Кусок серой материи вместо одеяла. Несколько наспех сколоченных досок, на которые на-

брошен тонкий шелковый платок – стол. Толстые стены непроницаемы для уличных звуков и для палящих лучей солнца. Он старается не смотреть вокруг – на стенах грязь и развалившаяся штукатурка.

Он протягивает руку, берет часы: светящийся циферблат показывает, что сейчас около трех. Его сон похож на реку: сначала мелководье, где еще видно дно и сохраняется уверенность, что существует время и пространство, затем глубина – не достать дна, здесь вода безвременья, по ту сторону и по эту; время это бежит с невероятной быстротой – мучительный миг пробуждения, как падение в пустоту, в неизвестность рождения, но спасает движение тела – надо хотя бы приподняться и этим движением прогнать духов ночи и вернуть себя в привычный мир слов и вещей.

Глава семнадцатая Что мог знать Искандер о жизни ювелира в городе духов?

Он проходит по многолюдной площади. С незапамятных времен это одно из самых оживленных мест в городе. Он не любит этого места, поэтому невольно ускоряет шаг, делает небольшую передышку, нырнув под массивные купола старинного базара, чтобы спастись от солнца, которое припекает всё сильнее.

Тут на него обрушивается каскад звуков, отраженных от многогранного барабана купола, от звонкого кирпича стен и плит мостовой. Он опять ускоряет шаг; ему кажется, что этот купол не только усиливает звуки: гудки машин, крики, стук колес арбы, – но и запахи, что не дают ему сосредоточиться и вспомнить, куда ему надо идти. Впереди базар – уж туда-то, во всяком случае, ему точно надо. Он проходит мимо кузницы,

откуда доносится стук молотков, мимо небольшой лавочки, где торгуют расписными сундуками.

Неожиданно из-за следующего поворота начинается пустынная площадь, которая кажется еще пустынной, оттого что в конце ее в небо устремляется гигантская башня; рядом развалины глинобитных стен цитадели. Здесь всегда почему-то мало народа, разве что кто-нибудь идет по делам в соседний квартал. В этом месте прохладно: толстые стены цитадели дают в жару достаточно тени. Площадь эта с дурной репутацией; рассказывают, что после того, как кто-то однажды забрался на башню и с сорокашестиметровой высоты бросился вниз, вход заколотили досками.

Но вот и базар. Ювелиру нравится эта сутолока; здесь можно забыть о себе при виде людей, которые вечно чем-то заняты, что-то продают или покупают. Тогда начинает казаться, что и у тебя тоже есть какое-то дело и хочется купить лепешку или жареную рыбу, а то и свежую зелень или помидоры, а может, местную разновидность творога – глаза разбегаются от изобилия еды.

Вот местные цыгане; их женщины никогда не закрывают лицо, на темной коже щек и на лбу – татуировки: это племенные знаки, по которым узнают, к какому роду принадлежит тот или иной человек.

Теперь ювелир идет вдоль канала и цитадели. Канал давно не чищен, и от воды поднимается запах тины.

Ему кажется, что у него стучит в висках, но нет: это звук бубна, дробный, монотонный, настойчивый; он вдруг исчезает, становится почти неслышным и легким – таинственное шествие пропадает в узких улочках старого города; так приглашают соседей на свадьбу.

На краю водостока, на мраморных плитах около старинного водоема сидит старец с пестрой повязкой на голове. Никто не знает, где его дом и есть ли он у него вообще; старец приходит сюда каждый день,

обычно он сидит молча и смотрит прямо перед собой; подвернув под себя одну ногу и опираясь на другую локтем, он сидит в этой классической и непринужденной позе, высохший на солнце, почти бесплотный и невесомый, и никто не знает, какие мысли бродят в его в голове под пестрой повязкой.

Первым, кого повстречал ювелир в своем странствии по старому городу, целью которого была эта гигантская башня на площади (хотя он еще об этом не знал), был местный музыкант, точнее, двое музыкантов.

(Здесь уместно вспомнить о таинственной процессии, исчезнувшей в переулках старого города.)

Один из музыкантов нес старинный музыкальный инструмент с длинным грифом, украшенным блестящими стеклышками, и двумя резонаторами. Другой – свирепого вида молодец – тащил под мышкой бубен, завернутый в алую ткань, в такую же ткань был завернут инструмент с длинным грифом. Этот цвет выбирается для того, чтобы все в городе знали, что музыканты торопятся на свадьбу.

Вид этих безобидных кусочков стекла, украшающих музыкальный инструмент, заставляет вспомнить о ране от осколка того же состава, вонзившегося в бок ювелира, когда он хотел захлопнуть дверь, чтобы избавиться от досужего любопытства соседей.

Музыкальный инструмент, завернутый в пурпурную ткань, никто из прохожих не видит, тем более – его гриф со стеклышками: он оказывается скрытым, как и рана ювелира, скрываемая под чистой рубашкой.

Когда кто-то бросился с башни вниз? Днем или ночью? Кем он был? Как выглядел? Как он был одет? Была ли на нем чистая рубашка?

А музыканты? Если один из них был свирепого вида, то как выглядел другой?

А он выглядел так, как только может выглядеть единственный сын, любимец матери красивой и печальной. Один из тех, кого никогда не трогают в драке, а, скорее, берут под свою защиту и покровительство. Несмотря на свой юный возраст, в этом городе

он уже был известный и признанный всеми певец и музыкант, и ни одно торжество не обходилось без его участия. Он играет на музыкальном инструменте, существующем в этих краях с глубокой древности; может быть, у детей цифровой цивилизации тоже были такие, но никто не знает, как они звучали.

Его кожа немного бледнее, чем у его спутника; иногда кажется, что она принимает какой-то голубоватый оттенок, и оттого его огромные глаза, где зрачок сливается с радужной оболочкой, кажутся еще темнее. Он любит петь, и это делать для него столь же естественно, как для других – говорить, поэтому обычно он немногословен. От природы он немного рассеян и забывчив. И чтобы вернуть его к действительности, стоит иногда его спросить;

– Ну-ка, скажи, как на твоём языке будет «Иран»?

– Эрон, – отвечает он и смеется.

Ювелир старается вспомнить, где и когда он его увидел впервые, на чьей свадьбе или на каком празднике?

По местному обычаю, никто из гостей или хозяев не должен на семейном празднике петь, играть на музыкальных инструментах и танцевать. Это делают приглашенные за плату музыканты, певцы и танцоры. Чаще всего они танцуют в театральных костюмах. Насколько они соответствуют моменту, никого не заботит; в одном месте и в одно время могут встретиться персонажи самых различных исторических эпох.

Не будет преувеличением сказать, что обыватели относятся к таким людям с недоверием и неприязнью и ставят их на одну доску с местными цыганами и всем остальным, не приобщенным к истинам геометрической цивилизации человечеством. Поэтому ювелир, который пытался примирить хаос раскаленного бесстрастия стихий и порядок слов цветущего куфи, был для местных жителей фигурой столь же двусмысленной, непонятной и не вызывающей к себе никакого доверия.

Да и какое доверие можно испытывать к персонажу, только что представшему перед нами на глиняном возвышении с разметанными волосами и, кроме того, снова вызывающему в памяти другой культовый текст – фигуру святого Себастьяна, что неминуемо влечет за собой иные аллюзии, ссылки, намеки и околичности.

Отчет агента К. (попытка устроить навороченному тексту пышные похороны и простыми человеческими словами рассказать о свадьбе)

Они пришли довольно рано, гости еще не собрались, но хозяева дома пригласили всех зайти в небольшое помещение, где на полосатых скатертях стояло угощение. Музыканты поздоровались, развернули инструменты и начали играть. Чтобы не мешать гостям слушать музыку, те, кто пришел пораньше, вполголоса обменивались с хозяевами дома последними новостями.

С чего это вдруг решено *таких*, как они, пригласить на свадьбу? Да и какая могла быть свадьба в геометрической цивилизации (вернее, в ее особой, достаточно закрытой для посторонних части, принявшей на себя риск развиваться в самостоятельное повествование) в первые траурные десять дней мухаррима, первого месяца арабского лунного года. Этот срок был установлен в память битвы при Кербеле (680), когда сын четвертого халифа Али-Хусейна, претендент на халифский престол, сражался с войском династии Омейядов. В память об этих событиях в мире геометрической цивилизации существует специальная церемония, состоящая из мистерий, изображающих отдельные события жизни Али, и процессии, имитирующей похороны, она сопровождается самоистязаниями и криками «Шах-Хусейн!», «Вах-Хусейн!», откуда название процессии.

В день убийства Хусейна по улицам идут тысячи мужчин и мальчиков, ритмично ударяющих себя

в грудь с возгласами: «О, Хасан! О, Хусейн!». Впереди процессии идут приверженцы в саванах, увешанные цепями, подковами и мечами, которыми они наносят себе раны.

Али, сын Абу-Талиба, из живущего в Мекке племени Курейш (в самом конце 6 или начале 7 века), – четвертый халиф, один из первых последователей учения Мухаммеда, его двоюродный брат и зять, муж Фатимы, дочери Мухаммеда. В 656 году во время народного восстания в Медине халиф Осман, принадлежавший к аристократическому роду Омейи, был убит. После убийства Османа Али был провозглашен халифом в Медине, получив власть из рук людей, причастных к убийству Османа. Но наместник Сирии Муавия, родственник Османа, начал вооруженную борьбу против Али. Сражение между войсками Али и Муавии при Сиффине закончилось безрезультатно.

После смерти Мухаммеда его единственным законным преемником был Али, зять пророка. Сын и преемник последнего, Хусейн, был убит своими соперниками на равнине Кербела. Потомки Хусейна, двенадцать имамов, или вождей по божественному праву, считаются истинными духовными вождями последователей Али.

В память о трагедии в Кербеле ежегодно в течение месяца устраиваются зрелища, которые до такой степени возбуждают и мужчин, и женщин, что актера, играющего Шимра, убийцу Хусейна, в древности иногда убивали.

...Династия шиитских имамов, не обладавшая политической властью, состояла из двенадцати потомков Али. Последний из них, имам Мухаммед, исчез в ранней юности, вероятно, его убили по приказу багдадского халифа. Он был объявлен «скрытым имамом», коим и признается до сих пор.

...Шиитские богословы и кодификаторы подвергают иносказательному толкованию Священную Книгу, вычитывая в ней скрытый смысл.

...Существует предположение, что в мистериях имеется отзвук обрядовых элементов древних культов.

Возможно, скрытый смысл мог бы и отыскаться, но сейчас ювелир был занят совсем другим.

Он сидел перед зеркалом, рассеянно переводя взгляд с одного предмета на другой. Перед ним лежали гримировальные карандаши, пудра, губная помада; время от времени его взгляд останавливался на каком-нибудь из этих предметов, но тут же соскальзывал, словно не находя точки опоры. Ему казалось, что комната вертится волчком, а сам он – центр этого вращающегося круга. Временами кто-то подходил к нему, пытался с ним заговорить, но, не находя ответа, растворялся в сутолоке дня.

Сейчас перед ним лежал кусок алой шелковой ткани, тонкой и прозрачной, как крыло бабочки.

Он видит в зеркале свое отражение. С его лица постепенно исчезает выражение растерянности; вот он протягивает руку и дотрагивается до своего зеркального двойника; это лицо мгновенно становится чужим – слишком сосредоточенным.

Зеркальный двойник приближается, отступает, он дотрагивается до его лба, точки между бровями, и ему кажется, что его рука касается не холодной зеркальной поверхности, а собственной теплой кожи, и комнату наполняют запах полыни, каких-то сухих трав и волны горячего воздуха.

Он начинает примерять серебряный пояс старинной работы, и, словно от этого прикосновения к холодному металлу, комната сразу наполняется мелодичным звоном. Отражение в зеркале движется, движения замедленны, они словно образуют одну волну, которая идет от затылка к пяткам: сначала ему кажется, что чуть тяжеловата левая рука, но еще несколько движений – и она оживает.

Он поднимает руку над головой – опять звон, этот холодный и хрупкий голос металла. Он снова направляет на шее серебряные украшения – и этот

миг растягивается до бесконечности, руки снова касаются собственного отражения, чувствуют тепло и нежность гладкой кожи, и в это мгновение сзади к нему кто-то подходит и зажимает ему глаза ладонями, окрашенными краской растительного происхождения, он вдыхает запах сухой травы, солнца, пустыни.

В зеркале отражается движение его губ; он дает девушке последние наставления:

– Слушай музыку, особенно ритм бубна, а дальше делай любой рисунок кистями рук, ногами, всем своим телом, только не забывай о лице, а лучше всего – смотри на музыкантов...

Он снова протягивает к зеркалу руку, дотрагивается до своих волос, черных и блестящих, до своей новой одежды, в которую он превратил алую ткань, легкую и прозрачную, как крыло бабочки. Его белоснежная кожа сейчас принимает какой-то неземной, голубоватый оттенок горного льда.

Несомненно, ювелир, если бы хотел, мог бы отыскать этот скрытый смысл, так как обладал способностью смотря в зеркало не думать о нем, в голове у него не было гвоздя в виде цифровой цивилизации. Он был держателем тайны кольца с дельфином и осколка ритуальной чаши из Рея (а может, Раги, черт возьми!) и вовсе не нуждался в чем-то постороннем и отвлекающем от этого скрытого смысла.

Сами же зеркала не были для него ловушками смыслов.

Несмотря на то, что он находился внутри геометрической цивилизации и даже ей верно служил, всё-таки для нее был изгоем, посторонним, иначе, в рамках этого повествования, он никогда бы не встретился с *такими* же изгоями и чужаками, которые всеми силами стремились к воссоединению с тем, что могло существовать лишь отдельно от них (и здесь не помогали никакие самые известные университеты мира). В геометрической цивилизации в свернутом виде

наличествовала су-ис-тит-ка, кладезь смыслов и источник творческой энергии, и, возможно, она и была самой истиной, которая всегда сокрыта, а ее видимая часть представляется набором иллюзий, соблазнов и чисто поверхностным сходством. Это сродни стремлению, выявив скрытые возможности языка, эти проблемы описать и, таким образом, сделать их своими.

Головокружение ювелира, вызванное большой кровопотерей от проникновения осколка в тело, можно сравнить с чувствами свидетелей падения человека, сбросившего самого себя с сорокашестиметровой башни (с их точки зрения, без всяких видимых причин).

Литературный аналог этому – рассказ галльского Любомудра о встрече военнотружущаго с собственной смертностью в зачатом восточном городе (может быть, в Рее, или в Раге?). Он представляет собой попытку предельного приближения к этой не только скрытой, но и полностью отсутствующей истине, ввиду того, что и совершенное владение всеми предельными возможностями родного языка есть иллюзия, – так как любой язык одновременно содержит в себе предел невозможного. И в этом смысле нет большой разницы между диалектом су-ис-тит-ки и языком геометрической цивилизации, даже если су-ис-тит-ка – это речь, а запись ее в геометрической цивилизации – это язык, эту речь транслирующий; и даже если эта речь (большинство древних сказаний в виде эпических поэм дошли до нас) теперь записана на языке Священной Книги этой геометрической цивилизации.

Головокружение ювелира и его способность это головокружение искусственно вызывать (то есть владение техническими приемами) имели только один смысл: он хотел восстановить свой изначальный статус «сына неба» (у которого не было на земле отца) и разом обрести недостающее измерение, пробившись через все слои позднейших наслоений молодой геометрической цивилизации к мифологическому субстрату – речи.

Вне контекста и референции

Вне контекста и референции она проснулась утром в комнате, которая служила ей пристанищем и ночлегом, и собрала вещи, еще раз напоследок взглянув на ободранные стены. Подумав о том, что еще несколько мгновений – и всё это пропадет, не успев даже стать воспоминанием о воспоминании, принялась собираться к ювелиру.

Прошла по старому городу, миновала базар, древний канал, вошла во двор и подошла к двери его комнаты.

Ей открыли, она вошла. Села на глиняное возвышение, накрытое куском грубой серой ткани. Ювелир ходил по комнате, что-то напевая, и собирал ее вещи, которые она постоянно забывала у него, – всякие мелочи; он сказал, что заходили музыканты и очень огорчились, не застав ее. Она достала из сумки томик стихов, где некоторые были помечены галочками, поставила на первой странице только дату и отдала ему книгу. Он спросил, не забыла ли она чего-нибудь.

Нет, она ничего не забыла.

Потом они пошли завтракать в чайхану около городского водоема. Сидели на старом, вытертом почти до дыр ковре в тени больших деревьев, которые росли рядом с водой. Ели пряники с розовой глазурью и пили зеленый чай. Солнечные блики отражались в воде, разлетались в дрожащем полдневном мареве, падали снова на их лица, возвращались в зеленоватую воду и улетали вверх в самое небо.

Она смотрела на разноцветную и разноплеменную толпу людей, сейчас, как ей казалось, торжественную и многозначительную; всё это было рядом, и сама мысль о том, что она навсегда покинет и этот город, и этих людей, и его, ювелира, была невероятной.

Потом она зачем-то решила проводить ювелира до автобусной остановки, они снова пошли по извилистым улочкам мимо кинотеатра, откуда доноси-

лись звуки разрушения «Поэмы в камне», миновали Черную Чайхану.

Подошел его автобус. Она подумала: как только автобус тронется, всё сразу же исчезнет, и она останется здесь одна, на этой пустынной площади, лицом к лицу с сорокашестиметровой башней, откуда однажды кто-то шагнул в пустоту.

Он попрощался с ней, произнес на своем языке слова о божьем благословении, которые всегда говорил на прощанье.

– Я вернусь, я обязательно вернусь.

– Ты только так говоришь...

Она смотрела на него и улыбалась. И вид у нее был независимый и даже слегка надменный и равнодушный. Потом она повернулась и пошла по направлению к узкой улочке, ведущей в другой квартал. Она не стала смотреть, как отъехал его автобус.

Из опыта треснувшего зеркала (служанки)

Каким образом происходит это раз-воплощение, легче всего представить, если попытаться отслоить зеркальную поверхность от созерцающего себя на этой поверхности, то есть разъединить реальность с ее двойником (представляющим собой уста нарратора, которыми говорит демон лжи).

Ювелира она так и не нашла.

Зеркало, скрывшее его лицо, было поверхностью поглощающей, а не отражающей.

Раз-воплощение, а точнее, разделение существа, рожденного поглощающей поверхностью, может произойти с любым персонажем повествования: любой может оказаться в сфере ностальгического наваждения, выражающегося в стремлении взрослого человека, рассказчика в стрессовой ситуации впасть

в детство, для того чтобы ее благополучно преодолеть и снова стать свидетелем и скрибом.

И более того: результатом этого временного исчезновения в глубине поглощающей поверхности станет новый уровень готовности к анализу и описанию его фаз; и сознание того, что занимаясь этим неблагодарным и трудоемким делом, можно к тому, что находится по ту сторону зеркальной поверхности, приближаться до бесконечности, но никогда не перейти этой грани, потому что, как было уже показано в сцене созерцания ювелиром самого себя (что, по сути дела, и представляет *процесс* описания самого себя), пройти даже ему по ту сторону этой невидимой черты невозможно. Ни для него и ни для кого другого; просто потому, что ее нет. Зеркало – поверхность соблазна, вымысла и лжи: она поглощающая, а не отражающая.

Говоря о том же самом, но называя предмет обсуждения ложью, точнее, духом лжи, можно предположить, что этот дух мог бы быть изображен в виде некого существа, созерцающего в зеркале самое себя.

Однако никто еще не заявлял о том, что девушка, с которой только что расстался ювелир и которая пыталась заставить его поверить, что она вернется, – это рассказчик. Как бы то ни было, она возникает иногда как главный свидетель, как сcribe, но и она, и литературный агент К., интерпретирующий ее действия, в том числе и сочинительство, изобретены вовсе не для того, чтобы искать истину, которая всегда сокрыта. Напротив, единственное назначение этих фигур – всеми способами стимулировать саморазвивающуюся ложь и давать толкование *процессу* этого саморазвития, то есть быть зеркальным отражением этой лжи.

По логике Беса, поднявшего архиважный вопрос о гвозде в голове историка Искандера (требующий безотлагательного и немедленного разрешения), прежде всего необходимо его назвать, этот гвоздь, дать ему имя и тем самым снова разобраться с похоронами,

еще раз попытаться вырваться из закланного восточного города, выбраться из лабиринта городища Глиняного Холма, не утратив при этом синей тетради, заполненной карандашными каракулями и какими-то странными то ли рисунками, то ли чертежами, и, попав ненароком на заднее сидение мотоцикла сторожа арбузного поля, постараться при этом не утратить не только бессмертную душу, но и брненное тело.

Да Искандер вовсе и не собирался показывать ей свое умение водить мотоцикл (что в этих местах умеет каждый подросток), – он это делал из рук вон плохо, короче, ездил, как сумасшедший. Он вообще ничего и никому не хотел показывать, – одержимый демоном ярости, он бессмертную душу этой джан, своей милой, хотел из нее вытрясти...

Если он и подозревал о наличии записей в синей тетради, а туда постепенно переключивались рисунки, которые ему не нравились, а ему уже ничего не нравилось, – она их приклеивала поверх текста за тонкую полоску клеем для керамики, – словом, если даже он и подозревал что-то, то вряд ли придавал этому большое значение. Да и что там, в самом деле, могло быть? Разве что незамысловатый рассказ о роскошном угощении или местном вине, или об очередной потасовке подвыпившего Беса с деревенскими парнями; хотя он и догадывался, и даже был уверен, что подчас речь могла идти и о нем.

О том злополучном вечере в компании ее соотечественников, когда с ним, на его взгляд, были недостаточно вежливы, то есть не подобострастны, что случалось в нетипичной обстановке, когда Искандер оказывался среди ее соотечественников, что работали рядом на раскопе неподалеку от Глиняного Холма. Он и Беса-то потащил тогда с собой, чтобы чувствовать себя уверенней и чтобы в случае необходимости Бес мог бы представлять за него в лингвистическом смысле. Как уже говорилось, Искандер не только не был человеком розовой канистры, но общение

с такой личностью как, Бес, вне охоты за черепами ему не доставляло ни малейшего удовольствия.

Культура *глотка горячего зеленого чая* была не хуже и не лучше другой, просто она была ему более понятной.

В свои вылазки во внешний мир он брал Беса, соотечественника девушки, родившегося и выросшего на Востоке, в грязном городском квартале, в полувосточной среде. А потому Бес, как никто другой, мог оказаться полезным Искандеру, когда надо было выразить что-нибудь на чужом языке, который у него в минуты душевного волнения так заплетался, что он был готов вырвать его из собственной памяти (что с того, что он учился в одном из самых больших университетов мира). И от этого чувства унижения он впадал в такое отчаяние и досаду от упущенных возможностей, особенно когда ее соотечественники делали вид (или это ему казалось), что не понимали ни слова из того, что он им говорил (или в самом деле не понимали).

Думается, эта возникающая довольно часто мысль об отсутствии в нужный момент возможности высказать, скажем, тонкую иронию по отношению к чему-то или кому-то (или к чему-нибудь вообще) вызывала у него приступы ярости и в любой момент могла сыграть с ним дурную шутку.

Он сам предложил ей почитать ему что-нибудь из синей тетради по поводу пышного свадебного пира, что ему казалось способом внести в эти лингвистические чаепития хоть немного юмора и что она, естественно, тогда отказалась сделать.

Но больше ни о кольце с дельфином, ни об осколке ритуальной чаши из Рея не было сказано ни слова.

По умолчанию решено было считать, что *ювелира она так и не нашла*.

Похоже, Искандер питал инстинктивное отвращение к зеркалам. Он даже при бритье предпочитал разглядывать свою физиономию в лезвии охотничьего ножа.

Ювелир открыл ей дверь и сказал

Ювелир открыл ей дверь и сказал, что приходили музыканты и огорчились, не застав ее.

Они вышли на улицу и, как обычно, пошли завтракать, но ей не хотелось есть, было слишком рано, и она просто спросила его, нельзя ли им пойти вместе по его делам. Он ответил, что не против. Тогда они поехали к какому-то человеку, и пока ювелир работал, починяя его старинные украшения, она нашла маленький диванчик и прилегла; проснулась только тогда, когда он уже почти окончил свою работу.

Ювелир разбудил ее и стал показывать починенные украшения, но ее глаза сами собой закрывались, и она снова впадала в дрему. Ювелир легонько тряс ее за плечо, чтобы она проснулась. Это тоже не помогало. Тогда он стал ее трясти сильнее, и наконец она открыла глаза.

Было решено пойти к нему домой. На этот раз купили вина.

Вскоре пришел один из музыкантов, тот, что помладше, покрасивее и побледнее, но, почему-то решив, что в этот последний вечер им больше хочется побыть вдвоем, вскоре ушел, сказав, что придет попрощаться завтра.

Не успел он уйти, как пришел следующий гость, водитель автобуса, который в тот ужасный день довез ювелира и всю компанию до дома. Этот отчаянный парень однажды попытался загнать какому-то своему врагу в череп гвоздь или отвертку. Однако то ли этот предмет был забит недостаточно глубоко, то ли череп врага оказался прочнее, чем предполагал водитель, в этой истории никто особо не пострадал, и инцидент закончился испытанием на прочность затылка самого водителя, который упал, выходя из дома ювелира, поскользнувшись на какой-то гадости, скатился с лестницы, пересчитав головой все ступени, и растянулся на виду у всего двора.

Через некоторое время появился молодой человек, ничем особенно не примечательный, как сначала ей показалось, кроме того, что имя его на диалекте означало Раб Мечты. Согласно интерпретации ювелиром тайного смысла его имени и зависимости Раба от своей Мечты, по логике того же ювелира, с ним ни у кого не может быть ничего серьезного. У этого молодого человека оказался довольно высокий статус среди местных гангстеров; старший сын в большой семье, он привык командовать своими братьями и сестрами, что, скорее всего, и привело к тому, что в дальнейшем неуживчивый и властный характер не позволял ему надолго задерживаться ни в одном месте.

Потом пришел еще один, на сей раз пожилой человек, с лицом, сильно изуродованным оспой, отменно вежливый и тихий, как мышь. Ходили слухи, что когда-то он из ревности убил свою невесту.

Когда стало уже смеркаться, выяснилось, что в городе отключили электричество.

Пока в темноте искали лампу, ювелир ей сказал, что ему иногда самому хочется сбежать из собственного дома.

Потом снова в дверь постучали – появился новый гость, про которого говорили, что он потомок древнего и знаменитого рода и младший сын в семье. Несмотря на свой возраст (а было ему хорошо за сорок), он был тих и кроток, как ребенок. И необыкновенно доверчив, однако, при всем при том, обладал неистощимым чувством юмора и был всеобщим любимцем. Скорее всего, он еще никого не успел убить.

Раб Мечты в этот вечер находился в приподнятом настроении и говорил, что утром собирается ехать в пустыню с кем-то из родственников: его обещали взять на соколиную охоту.

Что ж, по мнению галльского Любомудра, *raison d'être* приманки в том и состоит, что сокол всегда возвращается к лоскутку красной кожи, имеющей вид

птицы, – не такая ли иллюзия при неоднократном повторении сообщает абсолютную реальность пленяющему нас объекту...

По причине отсутствия электричества городская колонка, расположенная неподалеку, не работала, а вода в ведре воняла затхлостью застойного водоема. Тогда вместо зеленого чая было решено выпить рейского вина, принесенного младшим сыном большой семьи; это было невероятного вкуса и качества пойло, продававшееся в местной лавчонке.

После нескольких чаш этого вина ей стало совсем плохо, и тогда было решено выйти на улицу и прогуляться по ночному городу, по этому кварталу с дурной репутацией, прибежищу городской черни, и Раб Мечты (с которым не может быть ничего серьезного) тоже пошел с ними.

Они вышли от ювелира и пошли почему-то не как обычно, в старый город, а совершенно в противоположном направлении. Ювелир вдруг ни с того ни с сего решил обидеться и сказал:

– Раз ты пошел с ней, то сам и провожай ее домой.

Раб Мечты и в самом деле пошел с ней и говорил о том, что, хотя в городе и ругают их квартал, здесь такое иногда бывает...

Однажды в пасмурный день, что летом большая редкость в этих местах, он увидел, как луч солнца вдруг прорезал темно-серое небо и в том месте, где он упал на землю, как в сказке, оказался белый ослик, на котором сидел древний старец, одетый тоже во всё белое; Раб Мечты долго стоял и смотрел на него, а старец – на него, а потом долго думал, стараясь понять смысл этого знака судьбы. Кто бы это мог быть? На что она ответила, что это скорее всего был Хызр, но юноша не знал, кто это такой.

Она же ему рассказала, что совсем недавно с ювелиром тоже произошла весьма странная история; ему приснился сон, что он покрасил свои волосы черной краской, которую получают из сока местного растения.

Отчего его волосы, темно-рыжие от природы, приобрели какой-то мертвенный цвет.

На следующий день он так и сделал, что ей совсем не понравилось. Они даже поругались по этому поводу, сначала у него дома, а потом пошли доругиваться в местную чайхану, вскоре они снова вернулись к нему домой и опять поругались.

На самом деле причиной их ругани были вовсе не крашенные волосы ювелира, а его гости, из-за которых между ними всё время происходили стычки. Однажды он, чтобы показать ей, кто всё-таки хозяин в доме, при всех попросил ее прополоскать его рубашку в средневековом колодце, что находился во дворе дома. Во дворе жила собака, местная достопримечательность, ее звали Марфа (или Марта); по слухам, она снималась в каком-то фильме (наверное, в «Поэме в камне»).

Она и глазом не моргнув взяла из рук ювелира его выжатую рубашку, положила себе на плечо и вышла так во двор под недоуменными взглядами соседей, и особенно мужа белокурой женщины с голубыми глазами, который в этот момент выносил помойное ведро. По поводу полоскания рубашки ювелира соседи высказывали потом самые разные предположения.

Глава восемнадцатая

Искандер, в которого вселился демон лжи, пытается изложить свою версию

Она схватила ожерелье и швырнула его на пол. Оно упало у моих ног.

Я поднял его. Только сейчас я рассмотрел его. В самом центре она поместила нежно-розовый ко-

ралл, украшенный резным орнаментом из мелких точек, рядом с ним был рубин, или лал, грубой шлифовки камень кроваво-красного цвета; каменные листья ляпис-лазури с белесоватыми прожилками составляли великолепное обрамление для гипсовых прожилок, а сердолики цвета меда великолепно сочетались с темными бусинами из неизвестного мне камня. С обеих сторон ожерелье заканчивалось тремя нитками мелкого бисера из бирюзы, сердоликов и лазурита.

Она провозилась с этим ожерельем добрую половину дня, потом положила его в картонную коробку. Тогда я и подошел.

Я держал в руках ожерелье, и отблески заходящего солнца загорались на рубине, камне цвета пламени и крови, цвета божественных избранников, тех, кому даны имена и кто выделен из бесконечного множества живых существ. Косые лучи солнца усиливали теплый цвет коралла, скользили по лазуритовым листьям, подчеркивая рельефы выбитых на них узоров, наполняли цветом расплавленного меда сердоликовые бусины.

Я смотрел то на низку бус, то на разбросанные по столу рисунки. Мне стало ясно, что говорить о чем-нибудь с ней сейчас бесполезно. Я вспомнил ее лицо, каким я видел его некоторое время тому назад, на раскопе. Она стояла на двух камнях, с трудом сохраняя равновесие, и долбила тешей слежавшуюся землю, боясь сделать неосторожное движение, чтобы не повредить какую-нибудь находку.

Ее лицо было покрыто мелкой пылью, которую сыпал ей на голову сверху один из рабочих, старшеклассник из местной школы. Я понял, что она не уйдет, что она не сделает единственного правильного в такой ситуации шага – уйти или поставить парня на свое место, а самой подняться на стену.

Я прогнал его, сказав ему какую-то грубость, а затем добавил на ее языке, чтобы она всё поняла:

– Ты сыпешь пыль ей на голову. Убирайся отсюда!

А сейчас я видел перед собой ее рисунки и машинально снова взял в руки ожерелье, на которое она потратила столько времени, сумев сплести его без специальных бисерных игл, без соответствующей нити, не понимаю, как ей это удалось...

Я положил его в картонную коробку.

В то утро она, конечно, отправилась к нему. Представляю, как каждое утро она будила его стуком в дверь и отправлялась с ним в соседнюю чайхану пить зеленый чай с розовыми пряниками. Она всегда терпеть не могла рано вставать, но тогда, едва она открывала глаза, ее первая мысль была о том, что еще немного – и она его увидит. Он откроет дверь на ее стук, и она увидит его слегка припухшее со сна лицо, неверные движения; она войдет, дверь хлопнется, она сядет на глиняное возвышение, покрытое какой-то серой тканью, и будет смотреть, как он полчаса ходит по комнате, натыкаясь на всякие предметы, переставляя с места на место разные вещи, умывается в закутке у двери, потом причесывается. Видеть всё это стало для нее ежедневным и необходимым ритуалом.

И на этот раз она пришла, постучалась, вошла. Только они собрались пойти в чайхану завтракать, как раздался стук в дверь и вошли двое молодых людей.

Они пришли за костюмами для представления: у кого-то из их друзей через несколько дней намечалась свадьба. С собой они принесли дыню и виноград. Конечно, ей было немного досадно, что парни им помешали, однако можно себе представить, как она обрадовалась, узнав о том, что тоже приглашена на свадьбу. Без этого картина нашей жизни ей казалась неполной. Единственное, о чем они ее попросили: пусть ее одежда будет местного покроя. Словно она и без этого не одевалась по местной моде.

Жених с невестой были соседями и жили неподалеку от небольшого старинного водоема, в стоящих рядом домах, построенных не так давно: на стенах

можно было видеть следы освящения дома – кровь жертвенного барана, пролитую для того, чтобы дом стоял долго и семья, что собиралась в нем жить, была счастлива.

Улица перекопана – очевидно, ставят столбы для электрической проводки.

Когда они подошли к входу в дом, ее сразу же отвели на женскую половину и познакомили с невестой, девушкой лет девятнадцати с резкими чертами лица и с уже огрубевшей от работы в поле кожей.

Оставив у порога свою обувь, она вошла и ахнула: здесь было около полусотни девочек, девушек и женщин разного возраста. Они сидели по обе стороны полосатой четырехугольной скатерти, одетые в такие же, как и у нее, платья. Только волосы их были скрыты под косынками, все они были увешаны драгоценностями, вытасченными по такому случаю из старинных сундуков.

Многочисленные косички девочек, две косы замужних женщин, иногда свернутые в пучок и спрятанные под пестрой косынкой волосы, у кого-то косынки были белого цвета – это траур.

Вот все чинно расселись, и невеста стала угощать подруг, предлагая им чай, конфеты и местные сладости. Потом принесли мясное блюдо с жареным картофелем и овощами, и снова сладости, чай, вино.

Через некоторое время включили музыку. Выпив немного вина, девушки начали танцевать, но создавалось впечатление, что они это делают неохотно; потом выяснилось, что таков обычай: старшие должны уговаривать девушек, а те должны ломаться, кривляться и отнекиваться, перед тем как выпить рюмку вина или потанцевать.

Ювелир взял с собой театральные костюмы, что могло означать только одно: он собирается танцевать.

Через некоторое время ей стало скучно среди этого щебечущего на все голоса цветника, но сзади кто-то подошел и сказал, что ее зовет ювелир.

Она увидела, что он уже загримирован и одет в костюм танцовщицы. Он сидел сейчас перед зеркалом, рядом лежали гримировальные карандаши, пудра, губная помада. Он собрал свои волосы в пучок, украсил их жемчугом, немного поправил брови, между бровей поставил карминовую точку, окружив ее более мелкими, белого цвета; она смотрела в зеркало и видела, как его пальцы касаются лица, он что-то поправляет на серебряном поясе, его губы двигаются, похоже, что он что-то говорит ей. Голос его то приближается, то отдаляется, наконец, его пальцы перестают касаться собственного отражения. Он встает, несколько раз проходит по комнате, сразу найдя ту особую походку, свойственную всем, кто занимается восточными танцами, она как бы образует волну, идущую от затылка к пяткам...

Не следует забывать, что ввиду предстоящего выступления на свадьбе ювелир окрасил свои темнорыжие волосы в черный цвет, используя для этого растительную краску местного происхождения, и, несмотря на все эти странности, в нем не было ничего особенно женственного: он был чуть выше среднего роста, хорошо сложен и вид обычно имел вполне мужественный. Правда, когда обыватели иногда его видели переодетым в женский костюм, да еще танцующим, и когда он кокетливо сверкал глазами и соблазнительно покачивал бедрами, некоторые считали, что он несколько не в себе и немного сумасшедший.

Потом ее снова отвели на женскую половину, после того как все наелись, напились и натацевались и часть гостей, что жила поближе, разошлась по домам, а оставшиеся стали располагаться на ночлег. Девушкам постелили цветные коврики из блестящего шелка, и вскоре всё погрузилось в тишину. Засыпая, она видела в полусне милые девчоночьи мордочки, темные глазки, многочисленные косички, брови, подведенные местной краской в форме ласточкиных крыльев.

Около входа на женскую половину устроились на ночлег пожилые женщины, которые, согласно тради-

ции, во время праздников незаметно наблюдают за молодежью и деликатно вмешиваются, когда видят, что складывается какая-то ситуация, которая может нарушить благоприличие.

На следующее утро первое, что она сделала, проснувшись, — отправилась искать ювелира; когда она его обнаружила, ей бросилось в глаза, что выполосканная в средневековом колодце рубашка (и тщательно им выглаженная) была вся в бурых пятнах. Оказалось, что ночью он поскользнулся и упал прямо в огромное блюдо с едой. Она начала ему выговаривать за неуместное, как ей казалось, нецивилизованное поведение, а он ей вдруг и говорит:

– Ничего, зато будут знать, как приглашать *таких*, как мы.

Позавтракав вместе с хозяевами, они отправились в город, решив пройти дорогой, ведущей мимо водоема. Пострадавшую после свадебного пиршества рубашку ювелира сменили на новую — сейчас он был в одной из рубашек жениха, теперь уже молодого супруга.

Я подробно рассказал ей, как найти ювелира, тщательно описал развалины старинной школы около последних городских ворот, где живут представители городских низов. Я рассказал ей про мощный древними плитами дворик, про средневековый колодец, из которого обитатели этого квартала и по сей день берут воду, правда, только для хозяйственных нужд. Я вспомнил даже эту глупую собаку, то ли Марту, то ли Марфу, которая снималась в кино и однажды укусила меня за бок.

Эта школа когда-то была великолепным сооружением, построенным в эпоху позднего средневековья. Но здание оказалось недостаточно прочным, так как в то время в целях экономии строили не из каменных блоков, а делали опoку из кирпича, а середину забивали колотым камнем. Когда-то это была система сдвоенных, стоящих друг против друга порталов, которые разделялись мощеной улицей.

Теперь от бывшего великолепия мало что осталось, и заброшенные сюда волею судьбы люди сначала смотрели на эти развалины как на временное пристанище, а потом привыкли, прижились и поселились в полуразвалившихся кельях, где раньше жили ученики этой школы.

Я представляю себе, как она была потрясена, когда в первый раз вошла в такую комнату-келью, где жил ювелир, и увидела это довольно большое помещение неправильной формы с высоким куполообразным потолком и резными, сделанными из местной разновидности гипса, решетками на окнах. Помещение было разгорожено на три неравные части. В самой маленькой из них ювелир спал, другая предназначалась для приема гостей, и еще один закуток с высоким окном служил ему кухней.

По правде говоря, в комнате для гостей никакой мебели не было. Столом служил старый чемодан, накрытый скатертью в черно-оранжевых тонах. Подобие глинобитного дивана было накрыто старым вытертым одеялом из верблюжьей шерсти, поверх него, в зависимости от настроения ювелира, появлялось то старинное вышитое покрывало, то кусок материи из ткани серого цвета. Над ним – шелковый ковер темно-фиолетового цвета с цветочным орнаментом, который тоже иногда заменялся темно-красным с семью большими черными кругами – планетами. В нише около окна деревянный столик, украшенный росписью по дереву и остатками инкрустации из перламутра. На нем – ламповый радиоприемник, покрытый ковровой сумочкой.

Резная решетка окна, это особое пространство, по обе стороны которого висели два струнных музыкальных инструмента, – один с двумя струнами, а другой с четырьмя. В нише справа от дивана – шкапулка из дерева, также украшенная перламутром; никто не знал, может, даже сам хозяин, что в ней находилось: она была заперта на замок, ключ от которого отсутствовал. Но, по слухам, в ней было много разных

ящичков, в которых могли оказаться швейные принадлежности – нитки, ножницы, иглы и прочие мелочи.

Далее, если двигаться (вопреки закону правописания геометрической цивилизации) по часовой стрелке, стояло что-то вроде импровизированной книжной полки, задернутой узорчатой занавеской. На ней – подставка для чтения книг, рядом – каменное основание местной прялки, дальше – небольшое зеркало. Между нишей и этой полкой, на маленьких, прикрепленных к стене полочках, несколько бронзовых блюд местной чеканки и мелкие безделушки.

Над окном, также прямо в стене, были проделаны ниши различной формы и размера; там стояли металлические чаши, большие и малые кувшины и кувшинчики и непристойная статуэтка, состоящая из двух частей – мужской и женской. Ходили слухи, что раньше на ее месте стояла другая, еще более непристойная, но ее утащил один из местных гангстеров.

Влево и вправо от входной двери в небольших нишах, завешанных кусками старой парчи, стояли два бронзовых кувшина древней работы, они были украшены бирюзой или ее имитацией. Чуть ниже потолка по всей комнате шла неширокая полочка, где было что-то вроде коллекции старинной металлической утвари. За стеклянной дверью в это помещение лежало много керамики и черепков, там же стояли старые и еще не отреставрированные медные кувшины. В этом же месте находился камин, который нельзя было топить, так как древний дымоход был завален кусками битого кирпича.

В маленькой комнате, служившей ювелиру спальней, висели две картины – мрачноватые пейзажи с развалинами восточных построек с куполами. В этой части его жилья было как-то неуютно и сыро, и, кроме того, там стоял нелепый голландский шкаф, где он хранил свои костюмы для представлений. Место, где он спал, было сделано из досок и камней. Когда он предупредил ее, что на это импровизированное ложе

лучше не бросаться с размаха, она на него так посмотрела...

Думаю, когда они встретились, он прежде всего повел ее на базар, чтобы купить продукты и сварить овощной суп, так как она не умела готовить и к тому же не ела ни рыбы, ни мяса. Потом, пока на плитке варился суп, происходила демонстрация костюмов и всяких побрякушек.

Представляю себе: лежат они, друг против друга, на покрытом ковром прохладном полу, и она показывает ему перстень с изображением дельфина. Его лицо покрывается бледностью, но тут раздается резкий стук в деревянную дверь, и входит молодой человек с резко очерченными чертами лица и сросшимися на переносице бровями; ювелир, называя его имя и переводя его на ее язык, говорит, словно предупреждая ее, что с «ним не может быть ничего серьезного».

Отчет агента К.

Почему ювелир жил среди отщепенцев, а в его «заходах» не было ничего опасного?

Из предположений Искандера по поводу того, почему *ювелира она так и не нашла*, можно сделать вывод, что все рассказы о событиях, которые якобы происходили в небольшом восточном городе, отсутствующем на старинных трехверстках, носили на себе или следы многочисленных *глотков горячего зеленого чая* или, на этот раз, демон лжи овладел умами всех рассказчиков.

Но описание походов ювелира (а также свидетелей его походов) было бы неполным, если к нему не добавить несколько эпизодов, хотя они, пожалуй, еще более затемнят смысл происходящего, а не сделают его яснее.

Постепенно большой двор заполнялся гостями; внешний вид девушки вполне соответствовал мест-

ному этикету; ее сразу же отвели на женскую половину.

Это обстоятельство сразу же повергло ее в уныние, так как она хотела быть рядом с ювелиром. Правда, хозяева скоро это поняли и немедленно отвели ее к нему в помещение, предназначенное для музыкантов и танцоров, приглашенных за плату исполнителей мистерий, как этот род деятельности назывался на их языке.

Согласно местному обычаю, гости и хозяева на таких праздниках никогда не танцуют и не поют; это могут делать только нанятые музыканты и танцоры, которые, как правило, бывают чужаками. Они могут беспрепятственно ходить и на мужскую и на женскую половину, поскольку на это время считаются существами по ту сторону пола, — и даже пропустить, если хотят, одну-другую рюмочку.

Ей и рядом с ними было тоже как-то не по себе, тем более что она хотела видеть, как одевают невесту.

Она шепнула об этом музыканту, что помоложе и побледнее, и через некоторое время ее позвали на женскую половину.

Девушка-невеста сидела среди пожилых женщин с насмерть перепуганным лицом, несмотря на то, что со своим женихом они родились и выросли на одной улице и вместе ходили в школу. Она, как маленький ребенок, подставляла лицо, чтобы одна из женщин нарисовала ей брови краской из сока растения темно-синего цвета, которое подруги невесты накануне растирали на плоском камне: у девушек до сих пор были синеватые ногти.

В уши ей продели золотые серьги, длинные, в форме виноградной лозы, богато украшенные бирюзой, жемчугом и рубинами; на пальцы надели два кольца старинного золота с темными камнями. Потом соорудили красивую прическу, надели чулки, а затем мягкие сапожки, белое платье с длинными рукавами, сшитое по местной моде; волосы покрыли шапочкой, вышитой золотой нитью, а сверху —

прозрачный шарф, также расшитый золотистыми цветами. Обряд одевания невесты показался ей красивым и торжественным, но от всего этого веяло какой-то жутью.

Вдруг кто-то сказал, вернее, прокричал:

– Невеста идет!

И невесту повели.

Нельзя было одновременно находиться на женской и на мужской половине, и ювелир, когда она в очередной раз пришла к нему, рассказал ей о том, что происходило в это время с женихом.

А с женихом происходило следующее: его переодели в новый полосатый халат, надели на голову традиционную, с вышитым белым шелком изображением перца, шапочку, подпоясали вышитым поясом и повели на улицу в окружении друзей жениха.

Шествие возглавляли музыканты, играющие на огромных медных трубах, издававших надтреснутые звуки; обычно этими звуками сообщают о начале каких-нибудь торжеств. За людьми, играющими на этих карнай-машинах, шло еще несколько человек с факелами, за ними уже знакомый свирепого вида музыкант, отбивающий на бубне ритм для участников шествия.

Сам жених шел в толпе мужчин, закрыв лицо платком и опустив голову, а родственники и знакомые приветствовали его, кидая в его сторону деньги.

Потом, уже в помещении, молодых усадили под шатер. Бледнолицый музыкант запел приличествующую случаю песню на слова из классической поэзии.

Сосед, почтенный старец, прочел соответствующие моменту тексты из Священной Книги, потом обратился к молодым с пожеланиями и поучениями.

Ее поразила удивительная слаженность и непринужденность всей этой церемонии, словно ею откуда-то извне управлял невидимый, но опытный режиссер.

Вечером после свадебного пира все вышли во двор дома, где на огромном брезенте, освещенном прожектором, собрались гости. Она снова увидела и музыкантов, и многих своих знакомых. Подошла к ювелиру. Спросила его, собирается ли он танцевать.

Она видит, что на них все смотрят. Еще бы!

Она в замешательстве поднимает глаза на бледнолицего музыканта, тот улыбается ей, она это понимает как знак, что он заметил, что она тоже переоделась: на этот раз на ней старинный костюм воина.

Она делает всё именно так, как ее учили: сначала смотрит на бледнолицего музыканта, он кивает ей и начинает играть, потом она переводит взгляд на ветки карагача, что свешивались из-за соседнего забора, выходит в центр освещенного круга и, взглянув вверх, выбрасывает вперед обе руки в приветственном жесте древних воинов и мистов.

Ювелир выходит в центр освещенного круга, делает легкий жест рукой, словно бросает кому-то невидимый предмет – цветок, и тоже начинает танцевать.

Веселье продолжается далеко за полночь; кто-то время от времени просит еще вина; бледнолицый музыкант совсем охрип, однако продолжает петь. Ювелир явно устал, и вскоре они все, вместе с музыкантами, собрались уходить, несмотря на уговоры хозяев дома.

Они решили допраздновать у ювелира. По пути бледнолицему неожиданно вернулся голос. Музыканты шли по пустынным улицам, оглашая стены маленького городка известными, но явно не предназначенными для слуха благовоспитанных людей песнями на диалекте, о содержании которых ей приходилось лишь догадываться. Однако одну строку ей удалось понять: она звучала приблизительно так: «С женщиной можно спать без подушки, но нельзя без благословения небес».

Кое-что о прогулке по старому городу в противоположном направлении

Если Искандер и не любил зеркала – хотя в картонной коробке вместе с ожерельем (возможно, дочери царя Дария III, принцессы Раушан) медное зеркальце всё-таки имелось, покрытое патиной и совершенно изменившее свой первоначальный цвет, – то ювелир, вне всяких сомнений, сам был лицом зеркала и принадлежал к зеркальной культуре, а если принять во внимание маргинальность его собственного положения как сына неба, который не знал ни отца, ни матери, то эту его культуру правильней было бы назвать субкультурой.

Если снова вернуться к доктрине о холоде, как границе добра и зла, слабо, но не безнадежно просвечивающей сквозь весь текст третьего периода (когда на сцене наконец начинают появляться живые люди, правда, иногда вынужденные взаимодействовать с духами), то однажды (по непроверенным слухам) некое Верховное божество сказало святому Учителю что-то о возможности создания мира там, где ничего не существовало. В данном случае самый большой интерес представляет именно это «ничего», при мысли о чем (хотя представить себе ничто – это уже тоже ничего себе!) становится ясно, что ювелир в своих безумствах прежде всего исходил из духа музыки, и если вернуться к его истории о нанесении себе самому раны при помощи осколка стекла, то не стоит двигаться в ложном направлении, представив его личностью, склонной к примитивному мазохизму. Думать о нем так значит упрощать проблему музыки и зеркальной культуры.

В конце концов, осколок стекла может легко навеять воспоминания о *треснувшем зеркале (служанки)* или просто быть одним из таких осколков. Несомненно, кровопускание ювелира, оставившее после себя лужищу крови, тут же слизанную собакой Мартой (или Марфой), также представляло собой попытку прине-

сения очистительной жертвы в целях очищения текста (ну а чего же еще?) от разбушевавшегося демона лжи. Если это событие и имеет отдаленное сходство с поведением приверженцев святых Хасана и Хусейна в этом самом городе Рее, которого нет ни на одной карте, что могла видеть девушка-чужестранка, одетая по местному обычаю в темное платье и большую шаль с кистями, то это не более чем литературный прием, цель которого – увести следствие как можно дальше от истины, которая всегда сокрыта.

Таким образом, возникает четвертый период текста, в котором эти поиски продолжаются, и новые свидетельские показания только являются тому подтверждением. Но приведение этих свидетельств является делом в высшей степени неблагонадежным, сколь бы точно ни старался каждый из нарраторов изложить суть дела.

Чем это дело ближе к своему завершению, тем более в нем оказывается неясностей.

Если вернуться к кровопусканию, то эта фиктивная, как стало понятно в дальнейшем, жертва, принесенная ювелиром, была отражением разгула страстей, причем не каких-нибудь неопределенных, а страстей текста, самого ставшего персонажем, обреченным на верную гибель.

Его маска, где мужественность вступала в постоянный конфликт с женственностью, тяготела к тому, чтобы уплотниться и сгуститься в характер.

Так, в нужный момент, он падает лицом в блюдо с едой, к счастью, не потеряв при этом чувство юмора; и тогда над толпой свидетелей, перед которыми девушка, переодетая в костюм воина, в знак приветствия выбрасывает вперед обе руки, взмывает медный таз коллективного бессознательного, слегка задев ветви карагача, свисающие из-за соседнего забора.

Падение в блюдо было в некотором смысле «прямым попаданием». *Сгущением маски в характер.* При всей нелепости его действий, включая и идею

окупнуться в ближайшем водоеме, на что он подбивал участников спектакля (возвращающихся после свадьбы допраздновать), мотивируя необходимость такого купания бурно проведенной ночью, на ум невольно приходит мысль, что за всем этим стоит желание спрятать концы в воду.

Все эти «покровы», как то: черная короткая кофточка с золотым шитьем, около пяти метров алого тонкого шелка, прозрачного, как крылья бабочки, из чего было сооружено некоторое подобие широкой юбки, или шальвар, серебряный пояс старинной работы, прозрачный шарф, накинутый на голову, головное украшение, представляющее собой ободок с прикрепленными к нему косичками из конского волоса, каждая из которых оканчивалась украшением, – всё вместе отдаленно напоминало костюм какой-нибудь танцовщицы из Рея, этой дыры, не существующей даже на карте; и если продолжать двигаться в этом направлении и дальше и выйти наконец из освещенного круга с полом из брезентовой ткани, где девушка в военной форме танцует древний танец воинов и мистов, и оказаться во дворе собственного жилища, да так, чтобы кто-нибудь из соседей решил в этот момент вынести помойное ведро или, на худой конец, прополоскать мужскую рубашку в средневековом колодце, – вот тогда на миг приоткрывается, что эта форма, или пустота, или *что-нибудь вообще* – чистый соблазн.

И если предположить, что большинство соседей, в отличие от медного таза коллективного бессознательного, не витает в облаках, а живет здесь, на земле, и занимается своими обычными делами – стиркой, уборкой и т. д., то появление таких «златотканых покровов прекрасных возможностей» и расчет на них, равно как на *преображенного зрителя*, неминуемо приводит к тому, что кто-то из них бежит за киркомотыгой (которая здесь на диалекте называется «кетмон»), и потом уже никто и ни в чем не может себя упрекнуть... Вспомним, что *голову ведь так и не нашли*.

Если в поведении ювелира и содержался соблазн, многократно усиленный его постоянной тягой к зеркалам или их частям, то в данном случае речь идет о многократно описанном и давно известном как стремление любой ценой вызвать смех поведением, суть которого заключается в том, чтобы создать некий образ, основанный на взаимодействии совершенно несопоставимых друг с другом вещей, а именно, сочетание субтильных женских тряпок с вполне мужским телом, мужественность которого этими тряпками только подчеркивается.

В этом заключался тотальный сговор соблазна и перехода границ, когда любой новый смысл служит лишь одному – соблазну, отличному от целого и всеобщего, что охраняет своих носителей от участи жертв, но и одновременно превращает их во что (или кого)-нибудь вообще, лишая их тем самым текста статуса героя, идущего на верную гибель.

Так в случае ювелира маска становилась характером, на который степень удаления от или приближения к истине, которая всегда сокрыта, влияет не более, чем красота или уродство ее предполагаемого носителя.

О дальнейших событиях и их отражении в зеркале заднего обзора

Стало быть, они пошли в противоположную сторону.

Если рассказ о предстоящей охоте с соколами сводился только к тому, что сокол каждый раз возвращается к лоскуту красной кожи, имеющей вид птицы, то совершенно ясно, что, сделав круг по кварталу у последних городских ворот и продолжая идти по движению часовой стрелки, то есть противоположному направлению движения калама, они вернулись в дом ювелира. Точнее, вернулась она одна, так как Раб Мечты понял, что проводить кого-то означало вернуться обратно или с кем-то вернуться обратно.

Она надела старый халат ювелира, легла на покрытый серой тканью глиняный диван и тут же заснула. Несмотря на поздний час, ювелир стучал своими молоточками и переделывал или починял очередное украшение. Несколько раз он попытался ее разбудить, чтобы показать ей переделанный перстень, радуясь, как ему удалось заменить треснувший камень. И еще одно кольцо – в форме перца, которое оказалось кому-то велико и его надо было уменьшить.

Вскоре опять пришли гости, и, чтобы ей никто не мешал, она перебралась на это его ложе из камней и досок в другую комнату, за тонкой перегородкой, однако, памятуя инструкцию, не бросилась на него с размаху.

Она проснулась оттого, что разговоры за стенкой смолкли, а это могло означать только одно – гости ушли.

Потом она снова заснула, но ювелир разбудил ее; она спросонья не поняла, испугалась, не узнав его голоса, но оказалось, что он решил, закончив свою работу, сделать *глоток горячего зеленого чая*.

Она села рядом с импровизированным столиком из старого чемодана, покрытого лоскутком пестрой материи. Она точно помнила, что хотела его о чем-то спросить, но никак не могла вспомнить, о чем. Вообще она почему-то плохо соображала, что происходит, и говорила, что хочет вернуться на камни и доски, чтобы продолжать спать, но ювелир ее не отпускал.

Они о чем-то болтали, и в их разговорах, конечно, фигурировал Искандер, его Глиняный Холм, античный перстень с дельфином, но она всё это вспомнит только потом, через много-много лет... И то, если захочет...

А тогда их разговор мог прозвучать так:

– Ведь ты даже не знаешь моего имени.

– Как-то ночью мы гуляли по городу, и тогда мне показалось, что ты значительно моложе...

– А что, если мне совсем отстричь волосы?

– Ты всегда понимаешь, что он имеет в виду, когда путает слова «сегодня» и «завтра»?

– Почему у тебя такие глаза?

– Ведь у вас была ссора, когда ты снова сбежала с Глиняного Холма?

– Знаешь, Искандер пытался меня подкузывать с чертежами...

– И что, вы поссорились по-настоящему?

– Давай я скажу Искандеру, что тебя *так и не нашла*.

– Давай еще выпьем чая!

– Давай.

– Ты так и не хочешь узнать мое имя?

– А как он тебя называл?

– Что случится на Глиняном Холме, хорошо бы знать...

– Кому?

– Искандеру, если он действительно захочет стать *другим*.

– Нет ничего проще: все мы завернуты в саваны из слов, как египетские мумии, – стоит только снять...

– Сегодня?

– Завтра.

– Сегодня!

– «Сегодня», «завтра», какая разница, давай поговорим о чем-нибудь другом... Почему ты закрываешь глаза?

– Никакой ссоры не было; в тот вечер, когда он позвал меня прогуляться, я, не повернув головы, сказала: «Спокойной ночи!»

– А история с чертежами – просто предлог заинтересовать тебя собой, вернее, своей страстью.

– Безумцы любят не девушек, а лишь свое безумие.

– Но на самом деле всё только начинается...

– Да, перстень, перстень. Я бы никогда не стал просить тебя об этом...

– Давай снова поставим кипятить воду...

– Давай.

Она бросила рюкзак в каком-то помещении и пошла в сад к водоему; там, постелив на землю какую-то картонку, вытянулась и, заложив руки за голову, просто смотрела в небо.

Неподалеку в вольере были джейраны, людей почти не было видно, но эти животные, стоило на них лишь взглянуть, пугливо перебегали в самый дальний угол вольера. У одного из них, самого маленького, на передней ножке была толстая шерстяная нить голубого цвета.

Ей вдруг представилось, что, когда она скажет, что *ювелира она так и не нашла*, Властелин Времени выпучит свои дравидские глаза, а Искандер смертельно побледнеет и начнет улыбаться своей кошачьей улыбкой, а потом, ни на кого не взглянув и не сказав ни слова, быстро уйдет на раскоп; а они с Бесом будут хохотать до упада, пока не умрут со смеха...

Потом она пойдет в оранжевую палатку, чтобы стащить еще немного спирта из розовой канистры, так как Бесу снова потребуется добавить. А Искандер подойдет к ним как ни в чем не бывало и скажет, что ходил снимать план с последних раскопанных помещений, но у нее опять обнаружился какой-то просчет в масштабах, и он, бросив там свой планшет, вернулся за ними, чтобы попросить их пойти вместе искать ошибки.

Глава девятнадцатая

Самое удаленное соединение

Черного кобеля не отмоешь добела, – правда, его можно пристрелить из духового ружья (которое не считается боевым оружием); с этой точки зрения экспрессивное значение составляет сущность словесного творчества, которое ее прячет, чтобы в дальнейшем раскрыть, подобно водоему, в котором вы-

сохла вода, как рождаются значения в чувственном опыте, – кто-то протянул руку, помог ей подняться с земли, – известный тезис о первичной перцепции эквивалентен первичности экспрессивного и вторичности деизгнативного значения, – это, определенно, еще один способ поиска приключений – из их улыбок стало понятно, что продолжение следует, – пришлось возвращаться с полпути с военными, и это было величайшим разочарованием; однако столь незначительное приключение может дать парадигму для исследования начального процесса возникновения перцептивного смысла: на мониторе появляется образец почерка Искандера – в одном из самых больших университетов мира была выписана из картотеки нужная литература по древним культам; след зеленого стержня на белой бумаге, где имена авторов и названия научных трудов латиницей (или кириллицей), прекрасный, слегка геометризованный почерк, торжественный, как похоронная процессия в квартале около последней городской стены и старинных ворот, – чтобы применить вышеописанные достижения к спору о вербальном конвенционализме – похоже на то, что здесь когда-то был дворец; за одной из незапертых дверей обнаруживается нечто (черепок от ритуальной чаши), что может внести смысл в то, что большинство практикует исключительно от безделья, – лучше сначала установить два уровня значения, – если местные жители способны затратить столько труда на двери и колонны, установленное просто невозможно объяснить лишь аристократическим происхождением дяди и его кривоглазием, но ясно одно: в таких случаях лучше побыстрее убраться восвояси, – считается, что здесь живут представители городских низов, что, однако, идет вразрез с идеей о легкости поиска первозданного мира, – очень живо можно представить себе прокаженных, которые произносят слова молитв, держась за ветви именно этого тутовника, – проблема заключается в том, что

любая попытка открыть первозданный мир приведет к обнаружению в предполагаемом первичном пласте значений, привнесенных нашим нынешним образом мысли, – *так можно сидеть, словно в осажденной крепости, хотя можно встать и пойти прогуляться*, – требование до-теоретического описания мира до всякого описания, с точки зрения чистоты идеи, не хуже любого другого; вкладываемые нами значения заимствованы и развиваются из до-предикативного феномена, в котором вещи первоначально нам явлены, но ничего не поделаешь: задача феноменологии состоит не в том, чтобы объяснить или построить мир, который мы знаем, а описать мир, в котором живем; *за окном глинобитные домики, хлопковые поля, яблоневые и персиковые деревья*, – что означает, что ни в чем нельзя быть уверенным до конца, особенно когда не знаешь, на что смотреть: на людей или на вещи, – в данном случае интересно то, что называется феноменологической археологией, то есть открытие под установленными символическими ходами уровня опыта, – *на крышу дома затаскивают барана и перерезают ему глотку*, – мы должны расходовать свое время конструктивно: художественное выражение будет в таком случае парадигматической формой установительного творческого значения, – *поезд опоздал на несколько часов*, – *тратить свое время конструктивно означает: бросать его псу под хвост, к тому же застреленному раньше из духового ружья*, – *остатки текста можно будет разрезать на полоски* – основоположная для художественного творчества оригинальность выражения – *строгий удлинённый силуэт подчеркивает девическую стройность молодых матерей*, – *делать что-нибудь вообще лучше всего между делом, и всегда что-нибудь да произойдет*, – отступление от установленных кодов, чтобы создать что-то новое, когда едва хватает времени, чтобы ничего не делать, – когда предполагается новое значение, устанавливается новая символическая форма – *взять ножницы и разрезать оставшиеся страницы текс-*

та на ровные полоски, не дорезая их до конца, – с позиции дезигнативной теории эта последовательность деформации будет лишь новым способом достижения той же задачи – *укрепить эти листочки-реснички на форточке* – *эта бредовая бабка давно и родной свой язык забыла, но как солить огурцы – помнит* – на это и был направлен предыдущий способ высказывания – *продолжать лежать ногами на кровати, а головой на полу (или наоборот)* и таким образом общаться с миром, к которому отсылают символы, – *реснички-тексты шелестели, отгоняя духов и мух, и если не разбудить спящего и не толкнуть падающего*, то можно и не понять, насколько всё это не имеет значения: это макет, набросок, эскиз – деформация существующих конвенций при успешном результате будет означать установление ситуации, где можно использовать опыт, который имеется.

Одна бумажка свалилась на пол, за ней другая, их выметает, волоча по полу, сквозняк.

Она, уже вволю нахохотавшись, сидела около палатки

Она, уже вволю нахохотавшись, сидела около палатки Искандера и мыла керамику из последнего, собственноручно раскопанного ею погребения. Искандер появился, мельком взглянул на черепки и снова исчез.

Подожел Бес:

– Где Искандер?

– Не знаю.

– Я думал, он на раскопе.

– Наверное, он в палатке.

Всё это казалось совершенно невероятным. Они начали ходить взад-вперед по палаточному городку, сходили на раскоп, к высохшему оросительному каналу и, нигде его не найдя, вернулись.

Снова было решено выкрасть немного спирта, они уже вдвоем влезли внутрь оранжевой палатки,

но, к счастью, заметили его ботинки, которые стояли снаружи.

– Он здесь, – изрек Бес, – хороши бы мы были, если бы полезли за спиртом!

Через некоторое время Бес пошел на кухню и, выпив воды, мрачно произнес:

– Дело ясное.

До нее доносились кошачьи голоса павлинов, которые бродили по саду, и ей хотелось, чтобы один из них был совсем белый, как снег, и чтобы голос у него был не кошачий, а какой-нибудь другой, собачий, например...

Если предположить, что в комнате для гостей у ювелира происходило полное раскрепощение разума и всевозможные запоры снимались, то каждый из участников этих раскрепощающих мероприятий ставил перед собой двойную цель: забыть всё и оставить лишь воспоминание о забвении и вспомнить всё, что так хотелось сначала забыть, а потом вспомнить о том, что хотелось забыть, и так далее.

Другими словами, оставить воспоминание о воспоминании в зеркальном коридоре, где сцена с одной стороны перешагивает через рампу и продолжается в зрительный зал, а с другой зрители свободно располагаются за кулисами. Скоморошество ювелира, столь недвусмысленно выраженное в жестах, повлекших за собой известные события, было эквивалентно потоку слов, зафиксированных и превратившихся сначала в знаки, а в дальнейшем – в цифры. Этот каскад цифр существовал в головокружительной и необратимой обратимости, что была некой формой, где своеобразие позиции зрителей, созерцающих этот формотворческий разгул страстей, заключается в том, что, в отличие от действующих лиц, они не витают в облаках.

Гости ювелира, как правило, расходились до того, как форма и содержание его безумия вступали между

собой в такой сговор, что девушке оставалось только сказать по этому поводу что-нибудь вроде:

– Твоя рана прекрасна, как рана.

Если кто-то из гостей и пытался остаться после того, как ювелир всем пожелал спокойной ночи, что происходило всегда, если гости уж слишком расшумятся, – значит, переход от мифа к лубочной сказке интересовал его больше всего.

Можно даже сказать, что большинству вполне подходило сокрытие истины, – то есть правильный выбор времени – ночь – для полоскания рубашки в средневековом колодце (хорошо еще, что соседу не пришлось в голову наконец вынести помойное ведро и выплеснуть его чуть поодаль); и в этом тоже нет ничего удивительного: ведь соседи ювелира по двору были не из тех, кто витает в облаках.

Вечером того же дня в их руках оказалась вся розовая канистра со спиртом, вернее, с той жидкостью, чем их стараниями был этот спирт заменен. Был приготовлен плов, и всех позвали на ужин.

На стол поставили блюдо с этим кушаньем, и металлические ложки оказались быстро разобранными; здесь не было принято есть руками, как в более отдаленных сельских районах. Ей досталась деревянная ложка с обкусанными краями. Она встала из-за стола и сказала, что есть ложкой она не будет, а особенно такой... но так как здесь, на раскопе, не принято есть руками, то она не будет есть вообще, и ушла в свою палатку. Бес бросился за ней:

– Что за хохмы, иди есть!

– Отойди от меня, я устала и хочу спать!

– Если ты не придешь, мне придется Искандеру кое-что о тебе рассказать...

– Рассказывай, мне всё равно.

Бес ушел, но скоро вернулся, чтобы объяснить ей, что произошло.

Выяснилось, что Искандер был совершенно уверен в том, что они вдвоем уже приложились к розовой

канистре и что ей теперь действительно хочется не есть, а спать.

Это в корне меняло дело. Тогда она – Бесу:

– Вот оно что! Скажи им, что я сейчас приду.

Она встала, вышла из палатки, прошла на кухню, взяла в руки чашку и налила себе воды. Потом подошла к Искандеру, который не сводил с нее глаз, наблюдая за каждым движением. Она постаралась подойти к нему как можно ближе и спросила его, не может ли он дать ей на время «летучую мышь».

– Конечно.

Вместе с ним они вошли в оранжевую палатку, она взяла у него из рук лампу, заметив, что он тоже старается подойти к ней как можно ближе, пытаясь выяснить, не исходит ли от нее запах только что выпитого с Бесом спирта, словно он забыл о том, что чистый спирт не оставляет запаха. Она видит его удивление, оттого что эти предположения не подтвердились: ее глаза чисты, а движения точны, правда, тогда она слегка порезалась скальпелем, и Искандер опять устроил дикую панику: ему всё время мерещилась то ли чума, то ли проказа. Он пытался ей залить порез йодом, но она ему сказала:

– Не прикасайся ко мне.

Она несла к себе в палатку лампу, чувствуя на себе его взгляд.

Она долго лежала без сна; через некоторое время услышала, как отъехала экспедиционная машина, и наступила тишина. Потом снова начался какой-то шум – это Искандер начал грузить керамику в ящики. Потом всё опять смолкло.

Она старалась поскорее заснуть, уже начала дремать, но какая-то жуть обволакивала ее, словно облако, и ей казалось, что оно надвигается из того края палатки, откуда совсем недавно вылезла огромная безобразная крыса, что тогда внезапно возникла прямо перед ней, толстая и наглая; она шикнула на нее, крыса неохотно повернулась и неторопливыми

шажками направилась к дыре в углу. Сейчас ей казалось, что эта крыса опять здесь. Она чувствовала, что единственная и достоверная реальность сейчас – это присутствие этой крысы.

Звенели изоляторы линии высоковольтной передачи, это дребезжание подчас становилось столь невыносимым, что Бес однажды не выдержал и запустил в них камнем, разбил один изолятор, но это ничего не изменило.

Ветер шуршал плохо натянутым тентом палатки.

Лежа в темноте, она старалась сосредоточиться и вспомнить всю последовательность событий и постараться посмотреть на всё как бы извне, со стороны, попробовать представить себя одним из действующих лиц этого спектакля, но из этого ничего не получалось. Ей казалось странным, что она могла представить себе всех, кроме себя. При малейшей попытке вспомнить себя или представить себя происходило совершенно противоположное: она теряла себя, отдалялась от себя, глаза становились незрячи, язык нем, а тело инертно. Сейчас она старалась представить себе рядом хоть кого-нибудь: Искандера, *ищущего истину* в одной из своих жизней, агента К., муаллима, бронзовое зеркало (служанки), Беса, собаку Марту (или Марфу). На мгновение их образы возникали, затем теряли свои очертания, растворялись, превращались сначала в буквы, потом в слова, потом в цифры, потом в совсем уже непонятные знаки каких-то искусственных языков новых машин. Может, тогда ей пригрезились те самые знаки, которыми Искандер испещрял листы своих и ее чертежей, где для нее начиналась раздражающая и смутная область, относимая ею к Искандеровым заморочкам, куда, как ей казалось, тот от нее время от времени ускользал, заставляя ее лишь догадываться, что он там ищет и за чем охотится, сам же он неохотно объяснил ей однажды, что хочет попытаться восстановить письменные знаки древнего языка. Бес же на ее вопрос,

что же в конце концов хочет Искандер, тоже темнил, говоря о том, что эти знаки может прочитать только Искандер, а иногда даже понять смысл написанного, но сами слова он произнести не может, так как не знает, какие звуки обозначены этими символами. И более того, Бес сводил этот вопрос к тому, что же хочет Искандер от нее, и говорил, что она сама это знает не хуже него. Бес считал, что Искандер вовсе от нее не ускользает, а, напротив, во время этой охоты за смыслами мистическим образом с ней соединяется, а слова, которые он пишет на ее чертежах, и есть его слова любви, которые никто из них не может друг другу сказать, так как они оба просто не знают, как они звучат.

Доморощенный философ, Бес утверждал, что ее записи в синей тетради и Искандеровы охоты – это, по сути дела, одно и то же: то, что ей казалось ускользанием из ее разобщенного и раздробленного мира, с точки зрения Беса было, напротив, восстановлением целостности этого мира, Искандер магическим образом вписывал это восстановление в текст своей охоты, и, таким образом, если предположить, что его охота может оказаться длиной в целую жизнь, оба они, и он, и она, могли оказаться связанными в одно целое невидимой, но крепкой нитью.

Всё это напоминало путешествие по чужому, но до боли знакомому городу, по улицам, залитым голубоватым светом, тем самым светом, который возникает при вспышке молнии во время ночной грозы или на экране в тот момент, когда падает Будда (не сам, конечно, но его изображение), когда тени от домов кажутся бездонными провалами, и в этом призрачном свете вдруг становится хорошо видна танковая колонна без опознавательных знаков и с погашенными огнями, которая движется бесшумно, словно гигантская гусеница, но, как сказал учитель философии перед тем, как самому отправиться на поиски истины, которая всегда сокрыта, *нет ничего сильнее, чем стремление к изменению.*

Разговор агента К. с духом философа

В тот день, смутный, как ранние сумерки, какая фраза, какой вопрос, сначала созданные знаками, а затем переписанные в цифровом формате, уже осуществленные в «еще не» и переведенные в «уже не», могут послужить подтверждением этому стремлению к изменению? Но мы никогда не услышим их голосов:

- Перевал, порог, *Ворота*, дверь – что это значит для вас?
- Это тайна кубо-куба.
- Случайное толкование или комбинация отдельных черт?
- Это линия, одновременно непрерывная и однажды прерванная.
- Поверхность предметного мира?
- Водянистый кристалл с твердой сердцевинкой.
- Только ветер, ветер, дурной ветер «ямон шемал»?
- Камнеподобный объем и внутренняя пустота.
- Девушка на качелях с завязанными глазами?
- День, смутный, как сумерки.
- Ночь, светлая, как исчезнувшая луна?
- 5 полотенец, 3 простыни, 1 скатерть, 6 наволочек, 7 выволочек, 2 пододеяльника (один белый, один цветной).
- Он спросил ее: Хочешь *глоток горячего зеленого чая*?
- Кусок плаща, отрезанный Пророком, чтобы не разбудить спящую собаку, до того как ее пристрелят из духового ружья.
- Остановить кольцо?
- Последний поворот направо, деревянная дверь.
- Alt F, правая клавиша?
- Музыка, запах, ощущаемый против воли.
- Надрез скальпелем указательного пальца?
- *Ворота* никогда не бывают *воротами*, но они ими вот-вот станут.
- А духи, духи уже вызваны?

– Злая мысль, ложь и демон ярости.
– Пустынный пейзаж из окна вагона?
– Место на земле, усеянное розами и населенное птицами в рубиновых перьях.
– Ctrl и 6 вниз?
– Однажды она сказала ему: в ту ночь твои руки были жестки, а ладони шершавы.

Она медленно сползает, держась за деревянную резную дверь, и куда-то проваливается.
Кто сейчас может ей помочь?
Атташе по вопросам культуры?

Она открывает глаза, ювелир сидит около столика, сделанного из старого чемодана, и смотрит на нее, а в дверь с разбитым стеклом опять кто-то ломится.

**Здесь было только два летних месяца
и замерзло всё: холод был границей добра и зла**

В утренней спешке она собирала свои вещи, потом писала шифры на фрагментах керамики. Бес предложил допить остатки спирта.

С огромным усилием она сделала глоток – скорее, чтобы побороть тошноту, возникшую еще до того, как огненная жидкость оказалась во рту.

Потом пошла на раскоп, отыскала свою любимую овальную залу, куда столько раз приходила раньше, достала из-за пояса синюю тетрадь и опять что-то долго в ней писала.

Ветер почему-то утих, и воздух стал прозрачным. А далекие цепи гор казались совсем близко.

Вернувшись в наполовину уже разобранный палаточный городок, она сделала последние надписи на свертках керамики, собрала кисточки, краски, листы бумаги с набросками, потом легла на стоящую посреди всего этого хаоса еще не сложенную раскладушку и заснула.

Через некоторое время пришел Искандер и сказал, что часть людей поедет вечерним поездом, а часть – утром на экспедиционной машине.

Все быстро погрузили вещи и с трудом втиснулись в машину, которая оказалась маловата для такого количества людей.

Через полчаса приехали на маленькую железнодорожную станцию, взяли билеты на поезд и пошли искать водопроводный кран на станционном дворе.

Вскоре подошел поезд, им с Бесом достались две верхние полки в грязном вонючем вагоне, где было совершенно нечем дышать. Искандер же, сославшись на усталость и плохое самочувствие, пошел в другой вагон вместе с Властелином Времени, которому было всё равно, что, где и с кем: он ведь мог исчезать и появляться в любое время и в любом месте.

Поезд тронулся, и они с Бесом пошли в вагон-ресторан, или то, что под этим подразумевалось, прямо в грязных солдатских ботинках; лица их были покрыты пылью.

Заказали рейское вино, отвратительную жижу бурого цвета, попросили принести воды, так как из колонки напиться не удалось из-за Искандера, который на них начал орать, как сумасшедший. Наверное, боялся холеры.

Попросили принести воды, простой воды. Грязная баба с испитым лицом ответила, что здесь воды нет и никогда не было, и попыталась величественно исчезнуть в недрах вагона-ресторана. Но Бес не дал ей уйти, он ловко поймал за локоть эту толстуху с красным от жары и выпитого вина лицом и очень тихо, глядя ей прямо в глаза, снова попросил:

– Пожалуйста, достаньте нам воды.
– А вы откуда?
– Мы из пустыни.

При этих словах все уже подвыпившие и еще не подвыпившие в этом так называемом вагоне-ресторане зашевелились и уставились на них. Кто-то спросил, кто они.

– Археологи.
Она слышала шепот:
– Геологи-ологи-логи.
Воды им всё-таки принесли.

Потом вина. И они пили эту немыслимую дрянь, это пойло, похожее одновременно на портвейн, вермут и херес, и вдруг ей показалось, что оно даже вполне приятно на вкус.

К ним подошла какая-то девочка в сопровождении смуглолицего человека, очевидно, ее отца или старшего брата; малышка почему-то бросилась к ней, обняла ее, а мужчина спросил:

– Откуда вы здесь?

– Из пустыни.

Бес видел у нее на глазах слезы.

– Не стоит, люди смотрят.

– Пусть смотрят, у меня что-то с глазами, наверное, от пыли.

– Кто эти люди, ты их знаешь? Эта девочка?

– Конечно, знаю. Это дочка царя Дария.

Бес с любопытством рассматривал ребенка.

– Отчего она такая бледная? Какой у нее странный цвет кожи...

– Она родилось такой, посмотри, какие у нее глаза: как раскаленные угли.

– Расскажи мне про нее.

Дверь в вагон-ресторан раскрылась. Вошел Властелин Времени, его дравидские глаза были, как всегда, выпучены.

И впрямь, он может появляться и исчезать в любом месте.

Бес предположил, что его послал Искандер, чтобы узнать, чем они тут с ней занимаются, словно и так не понятно, чем можно заниматься в вагоне-ресторане. Однако предложением были проездные билеты, которые надо было кому-то отдать. Пучеглазый был явно удивлен, что вид у них был вполне трезвый.

– Скажи ему, что это за девочка!

– Зачем, какое им всем дело до дочери Дария...

Но она так и не могла понять, почему Искандер вчера рассвирепел и огласил не только тайну розовой канистры, но и ее пристрастие, даже «тягу» (именно так он и выразился) к зеленому чаю.

Она при всех вернула ему античный перстень с дельфином, который почему-то очень легко сняла с пальца, и сказала, глядя в глаза: *Ювелира я так и не нашла.*

Теперь можно было с уверенностью сказать, что долина Багряной Реки и Глиняный Холм, в самом деле, остались за пределами добра и зла.

Они говорили с Бесом о совсем недавних событиях как о чем-то, произошедшем, по меньшей мере, в эпоху Дария III, точнее, говорила она, а Бес только слушал, слушал и вдруг спросил:

– А почему ты сейчас об Искандере говоришь в прошедшем времени?

– Правда, почему?

Поезд несся на север, и вскоре они уже были по ту сторону ворот Искандера Великого, давно остались позади и жуткий перевал; теперь перевал, *ворота* эти становились чем-то похожими на немыслимый коктейль со вкусом портвейна, вермута и хереса, уже нынешнюю границу добра и зла.

Она отвернулась от Беса и, глядя в темное окно, думала о том, где проходит эта грань между «еще не» и «уже не», в которой заключена целая вселенная из слов: башня сорокашестиметровой высоты, откуда однажды кто-то шагнул в пустоту; иссиня-черные волосы Искандера, где запутались травинки песчаной осоки, разновидности местного камыша, его покрытое пылью лицо, его царапины на руках и лице, ее ссадина на колене, которая еще не покрылась коричневой корочкой?

Она думала о том, что им с Искандером больше не о чем даже мысленно разговаривать друг с другом и вдаваться в бесполезный спор о том, кому суждено

дописать в синей тетради последнюю страницу этой одиссеи. Ей больше было не интересно участвовать в варварстве его поспешного знания, когда в последние дни рабочие уже пробивали штольню, надеясь наугад наткнуться на стены древнего города, где, как считал Искандер, могли оказаться новые свидетельства материальной культуры представителей этой загадочной цифровой цивилизации, у которых был голубоватый оттенок кожи, как у девочки в поезде. Всё это осталось там, по ту сторону.

А ювелира она так и не нашла

К ним подсел какой-то человек с хитрым прищуром глаз, заказал себе то же вино и сыр и спросил, кто они такие. Бес ответил, что они археологи.

– Она тоже археолог?

– Нет.

Она с благодарностью взглянула на Беса.

За окном уже было темно. В пустыне нет сумерек, как в северных странах; ночь наваливается сразу, точно душное и тяжелое ватное одеяло кошмарного сна.

Вдруг ей стало радостно, оттого что она больше никогда не увидит эту пустыню, долину Багряной Реки, словно эта земля, невидимая за окном, претерпела необратимые изменения и стала чем-то иным, и она пыталась рассказать об этом Бесу.

Помешавший их разговору случайный попутчик ушел, и они с Бесом опять говорили о молодой науке, лишенной опыта: ведь это всего лишь предположение, что в раскопе может быть абсолютно всё, вплоть до чумы и проказы. Как-то Искандер обмолвился об этом. Возможно, мысли о каком-то неминуемом возмездии, смутные и неясные, приходили ему в голову, превращаясь в фантазии об опасностях, но связаны они были со странным опытом смерти, с которым он имел дело ежедневно и ежечасно.

Его гвоздем, о котором сейчас можно уже сказать что-то более определенное, на самом деле было стремление узнать об этом странном опыте, может быть, именно это его по-настоящему интересовало, хотя вряд ли он это осознавал.

Внезапно ход размышлений Беса принял неожиданный оборот:

– Теперь ты дашь своим столичным придуркам столько свежей жратвы. Увидишь, они набросятся на тебя, как голодное паучье.

– Не стоит так о моих придурках, но ты что, действительно думаешь, что я когда-нибудь смогу кому-то рассказать об этом?

– Сможешь. Ты держала в руках вещи, которые они видели только в музеях, за толстыми стеклами витрин; ты расскажешь о мастерской, где отливали бронзу, о принцессе, похороненной вместе с бронзовым зеркалом и ожерельем из пестрых бус, об античном перстне с дельфином, о голосах пустыни, ее духах, горячем ветре «ямон шемал», о суис-тит-ке, об Искандере, его страсти и воображаемых предках с голубоватым оттенком кожи.

– Он что, в самом деле считает их своими предками?

– Да, но только он ошибается, это **наши** с тобой предки...

Снова появился пучеглазый Властелин Времени, перекинулся с ними двумя-тремя словами, еще раз напомнил о билетах.

Вскоре они с Бесом вернулись в свой вагон и забрались на верхние полки. Поезд сбавил ход; теперь он всё чаще останавливался на полустанках, но, к счастью, она лежала по ходу поезда и не очень страдала от внезапного торможения. Среди ночи она внезапно проснулась от страшного грохота, будто свалилось что-то тяжелое, и услышала голос:

– Ну что ты, парень, вставай!

Она продолжала лежать на верхней полке лицом к стене, не решаясь повернуться и взглянуть вниз,

думая, что это наверняка Бес, и если он не разбился или не прибил кого-нибудь внизу, то уж конечно что-нибудь себе сломал. Непонятно, как соседям удалось поднять его с пола и снова засунуть на верхнюю полку; но похоже, что и на этот раз всё обошлось.

Она взглянула в окно: наступало утро, поезд должен прибыть вовремя.

Она спустилась с полки, долго не решаясь посмотреть на себя в зеркало, никак не могла вспомнить, куда засунула расческу.

Вскоре проснулся и Бес, и они пошли в тамбур покурить.

– Ты думаешь, мне стоит поговорить с Искандером?

– Не знаю, может быть, стоит пойти напролом... Иногда это лучший способ...

– *Найти и ювелира, и истину*, – сказала она со смешком.

– Ладно, умойся и причешись, а то он опять начнет... И пойдем к нему.

Они перешли в соседний вагон. Дверь в купе была открыта, на одной из нижних полок сидел Властелин Времени и еще кто-то.

На другой лежал Искандер, натянув одеяло почти до глаз.

Она читала в его глазах только ненависть. Вряд ли им обоим хотелось сейчас видеть друг друга. Ей – его на этот раз действительно бледное от бессонной ночи лицо и темные пятна под глазами, ему – искать на ее лице следы ночных лингвистических чаепитий с Бесом, которые он так ненавидел, этих долгих споров на чужом языке, подобных змее, кусающей собственный хвост, поддерживаемых *глотками горячего зеленого чая* и спиртом, украденным из розовой канистры.

Похоже, что сейчас и она, и Искандер – оба начнут бороться за право опустить занавес.

Искандер отодвинул с лица одеяло:

– Входите, входите, садитесь сюда.

Пучеглазый, сидевший напротив, подвинулся и уступил ей место. Искандер явно не знал, о чем говорить, и начал опять о ее нелюбви рано вставать, пытаясь втянуть в этот бредовый разговор Пучеглазого.

Через некоторое время, воспользовавшись каким-то удачно подвернувшимся предложением, они с Бесом встали и, сославшись на то, что им надо собрать вещи, вернулись в свой вагон.

Бес, уже окончательно пришедший в себя, стоял в коридоре, курил и смотрел в окно. Она ему сказала, что Искандер, несмотря на то, что всю ночь интересовался состоянием их душ и тел, время от времени гоняя к ним Пучеглазого, всё-таки остался при своем мнении. Он был уверен, что они пропьянствовали всю ночь. Бес мрачно буркнул, что, пожалуй, он не далек от истины. Искандера почему-то особенно интересовал вопрос, кто кого угощал.

Поезд уже подходил к городскому вокзалу. Бес болтался по вагону, время от времени заходя в рестораны, но, очевидно, не находил искомого. Впрочем, как оказалось, в конце концов ему всё-таки удалось раздобыть немного коньяка.

Тут выяснилось, что они забыли вернуть билеты, и никто не помнил, куда они их засунули; и надо было снова идти в другой вагон к Искандеру и Властелину и объясняться уже по этому поводу.

Искандер уже встал и был одет. И снова начался какой-то нелепый разговор о ее ночном пьянстве с Бесом, об отрезанных волосах, о том, как она порезала скальпелем палец, он спросил, зажил ли он.

На мгновение ей показалось, что она лишилась дара речи.

Бес не заходил в купе, а стоял в коридоре и сходил с ума от всей этой бессмыслицы. В какой-то момент разговор угрожал принять опасный поворот, и *тема ювелира* уже готова была всплыть, подобно Атлантиде; но тут, к счастью, вошла проводница и попросила собрать постельное белье, и им с Бесом надо было пойти в свой вагон.

– Я так ни о чем с ним и не поговорила...

– И не надо!

Поезд уже совсем подъезжал, но как-то особо медленно тащился среди станционных построек; наконец, совсем остановился. Они взяли свои вещи, вынесли их в коридор, двинулись к выходу.

– Ну что, мы так и не попрощаемся с Искандером?

– Если захочет, пусть сам к нам подойдет.

Она взглянула на Беса и расхохоталась.

Интересно, понял ли он, что она сейчас вспомнила тот давний разговор, когда Бес на ее вопрос: «Для кого эти змеи?», – ответил загадочной фразой: «И тогда он тебе скажет то, что никогда не говорил никому». Он что, тоже оказался из тех, кто считал Искандера небожителем?

– Слушай, неужели он даже не попрощается с нами?

– Подожди, он обязательно к нам подойдет, хотя я не хотел бы сейчас его видеть.

Они вышли из вагона, подошли к камере хранения, долго возились с поломанным замком, пока не разобрались, как можно засунуть в этот металлический ящик ее рюкзак. Ей хотелось сбежать, исчезнуть, затеряться в городе и сделать это немедленно. Бес сидел на полу около камеры хранения и курил.

– Смотри, Искандер!

– Я же говорил тебе.

Они заметили Искандера чуть раньше, чем он их, и наблюдали за ним. Он стоял и переводил взгляд с предмета на предмет, осматривая коридор, пустые скамейки в зале ожидания, и, наконец, остановился на них.

Кажется, всё-таки он ее немного обошел и сам нашел роскошный способ опустить занавес.

– У вас не найдется монеты для телефона?

У нее не было нужной монеты, у нее вообще ничего не было, кроме желания сбежать от них всех и сделать это немедленно, однако он попросил их остаться, сказав, что сейчас за ними пришлют авто-

бус и всех развезут по домам. По домам? По каким домам? Разве что по сумасшедшим.

Они с Бесом снова пошли в камеру хранения вытаскивать обратно ее рюкзак, потом вышли на вокзальную площадь и стали ждать этот автобус. Приблизительно через четверть часа автобус появился, за рулем сидел знакомый водитель. Они поднялись, автобус тронулся, от вокзала сначала ехали по каким-то узким и кривым улицам, затем въехали в новый микрорайон, где все дома и улицы похожи друг на друга; наконец, автобус остановился у подъезда многоэтажного дома. Искандер и Пучеглазый вышли. Торопливые слова:

– До свиданья! До свиданья!

Бес уставился на нее.

Ее небрежное:

– Пока!

Она отвернулась и стала смотреть в окно.

Через несколько минут автобус снова остановился: на этот раз водитель остановил его у дома, где жили ее друзья, и она вышла.

Но было бы совершенно неправильно считать, что в четвертом периоде текста всё закончилось столь банальным образом, словно в каком-нибудь курортном романе.

Разве такое могло произойти в зачатом восточном городе, где некоему военному служащему было назначено свидание с самой смертью и откуда до сих пор никак не могут выбраться малоизвестный восточный историк и его подруга?

Внеочередной отчет агента К.

Утром она проснулась оттого, что в дверь постучали. Это были музыканты, они пришли с ней попрощаться. Ювелир только что начал уборку своего жилища: ковры были сняты с пола, свернуты и стояли

у стены, и гостям было не на что сесть. Но, очевидно, желая подчеркнуть всю неуместность столь раннего визита, он с порога предложил им выпить *глоток горячего зеленого чая*, что само по себе, в такой ситуации, было верхом абсурда, отчего гости сами решили, что лучше всего поскорее попрощаться и уйти.

Она вышла из комнаты, где спала, с растрепанными волосами, в мятом платье, к тому же кое-как, через край зашитом на груди; один из рукавов еле держался, и она всё время поводила плечом, чтобы это не было заметно.

Во время утреннего чаепития она несколько раз порывалась вернуться к ночному происшествию, но ювелир от этого тщательно уклонялся. Правда, в какой-то момент он, по-видимому, передумал и сказал ей:

– Если захочешь, сама вспомнишь.

Но шансов что-нибудь вспомнить было мало.

Весь день прошел в хлопотах, связанных с отъездом. Под вечер выяснилось, что в доме нет хлеба. Ювелир пошел за хлебом и отсутствовал довольно долго. Стемнело, и пора было зажечь свет. Наконец она, оставив включенной лампочку, вышла и, захлопнув за собой дверь, быстро прошла по двору, дошла до автобусной остановки, где и увидела ювелира. Он сказал ей, что нигде не мог купить хлеба, и тогда она предложила сесть в автобус и поехать в другой квартал.

Ювелир почему-то несколько раз переспросил у нее, заперла ли она входную дверь, и неохотно согласился поехать в другой квартал или – лучше – пойти туда пешком. И они пошли вдоль древнего канала, который делил город на две части, старую и новую, прошли под базарными куполами и вышли к водоему. Здесь ювелир пошел в лавку. Купил хлеба, сигарет и почему-то селедки; он хотел купить эти две прекрасные селедки для нее, а она чуть ли не со слезами на глазах сдавленным голосом говорила ему, что не

любит селедку и что никогда ни мяса, ни рыбы не ест. Он спросил ее, что сказать, если опять придет бледнолицый музыкант, но она ответила, что не знает, и пусть что хочет, то и говорит.

Надо было идти собирать вещи, и она попросила ювелира проводить ее, но он отказался, заявив, что никогда не ходит в чужие кварталы.

Но в конце концов уступив ей, он согласился проводить ее, правда, снова спросив, не передумает ли она насчет селедки...

Около городской колонки, где она умывалась по утрам, пока совсем не перестала умываться, они распрощались. Она прошла через садик в дом, вошла в комнату, служившую ей временным пристанищем, и всё это под пристальными взглядами соседей, которые слонялись по двору.

Собрала вещи. Еще раз взглянула на украшения, подаренные ей ювелиром, потом всё это сунула в рюкзачок, а на столе оставила мелочи, которые надо было вернуть: ювелирову пилочку для ногтей, какие-то его коробочки. Немного денег, которые еще у нее оставались, предназначалось хозяевам.

Утром она вышла из дома и, распрощавшись с хозяевами, поехала на автобусе к ювелиру, чтобы вернуть пилочку. В чайхане около его дома на этот раз не было розовых пряников, и она его уговорила пойти к водоему, в надежде на то, что там они будут или их можно будет купить в соседнем ларьке.

Действительно, в ларьке пряники были. Они сели около самой воды в тени больших деревьев, карагачей, стали есть пряники, пить зеленый чай и болтать о каких-то пустяках.

Она старалась, чтобы разговор не вернулся ко вчерашнему утру, тому утру, когда он ходил по комнате и собирал ее вещи, всякие мелочи, которые она к нему натаскала; но он сам об этом заговорил, правда, не об утре, а о вечере, сказав, что бледнолицый музыкант приходил с ней попрощаться и очень расстроился, не застав ее.

Она вытащила из рюкзака томик стихов с засушенным цветком внутри, ювелир взял книгу и сказал, что обязательно передаст ее музыканту.

Ты лжешь, если жалуешься на муки любви.

Ювелир спросил, не забыла ли она чего.
Нет, на этот раз она ничего не забыла.

Глава двадцатая

Ничего этого не было, пока она не написала об этом

В глотке горячего зеленого чая заключалось время, ее собственное время. Но вот чай выпит, осталась лишь пустая чашка. Пустое время столкнулось с собственной смертью, и наступило время смеха. Прощальный вечер в Черной Чайхане.

Частью поэтического вымысла, с судьбой которого пришлось столкнуться в этом повествовании, была девочка. Искандер считал, что ему, как историку, известно подлинное имя дочери царя Дария III, которая звалась принцесса Роксана. Но что бы он ни думал по этому поводу, и без его знаний в повествовании рано или поздно должен появиться женский персонаж, хотя бы для того, чтобы поговорить не только о дыхании костей, философии и бессмертии, но и о чувствах, которые господствующая культура Закона, Порядка и Света приписывала женщине.

Стоило поговорить и о теле, и о теле женском, до сих пор тщательно прикрываемом; что из того, что ворот или рукав был зашит через край грубыми нитками? Под ним находилось тело, прекрасное, как землетрясение и как любое женское тело.

Над Черной Чайханой в трансцендентном небе всходила луна, крайне полезная в художественной литературе. Перед входом в это злчное место в неверном свете ее блестела огромная, местами высохшая лужа, что представляло главную опасность для его завсегдатаев. Не однажды кто-то из них, поскользнувшись на этой высохшей и оттого еще более скользкой глине и не удержав равновесия, оказывался поверженным ниц и вымазанным в липкой грязи.

Обычно, плюхнувшись в грязь и чертыхнувшись (призвав тем самым на помощь шайтана), пострадавший снова поднимался под хихиканье и неодобрительные взгляды прохожих, отряхивался, безуспешно пытаясь отскрести от себя налипшую грязь, и в полном смысле слова оказывался в ситуации столь безысходной, что разрешить ее можно было лишь самым радикальным образом: остаться лежать в этой грязи навсегда или, преодолев бунт мгновения перед вечностью, а внешне подчинившись законам земного тяготения (польза которого в быту тоже крайне двусмысленна), сбросить с себя одежду или хотя бы часть ее и продолжать дальнейшее существование в этом состоянии, не лишенном определенных преимуществ.

А если и вовсе отбросить эти чисто бытовые неудобства и даже в столь неудобоваримом состоянии пытаться докопаться до истины, не забывая о том, что она всегда сокрыта, в луже ли грязи, в трансцендентном ли небе, в лунном ли свете или во всем этом вместе взятом, и попробовать осознать как часть этой истины общеизвестный факт, что согласно многим легендам (в том числе и местным) первый мужчина тоже был создан из глины?

А если углубиться в еще большую древность, то можно с большой долей уверенности сказать, что не из глины, а из *чего-нибудь вообще*. Вне сомнения, эта субстанция, называемая сейчас *что-нибудь вообще*, находилась здесь, в этой луже, в этом самом прекрасном месте на земле, усеянном розами (покрытыми гнусными, источающими зловоние насекомыми)

и населенном птицами в рубиновых перьях (там же обитала тьма насекомых, губящих животных, птиц и растения).

И если женщина сотворена из ребра этого существа, то именно в данном самом прекрасном месте она имела перед ним ряд неоспоримых преимуществ.

Возвращаясь к одному из периодов текста, где описывается не очень приятный для самолюбия Искандера эпизод, когда двое соотечественников – девушка, примостившаяся на краешке стола, и Бес (он сидел и вовсе на опрокинутом старом ведре), – когда эти иноплеменники решили устроить импровизированный турнир остроумия и припоминали восточные поговорки о женщине, смысл которых сводился к тому, что женщина неотделима от вселенской грязи, и, чтобы окончательно вывести Искандера из себя, они делали это на своем языке, предполагая, что он поймет, по крайней мере, смысл, если не поговорок, то зловердных и оскорбительных для него намерений этих иноплеменников, зубоскалящих по данному поводу, – так вот, возвращаясь мысленно туда, следует оговорить: естественно, из этого варианта были заведомо элиминированы не только грубые слова или названия известных действий (так как о высоких материях лучше не говорить на языке простонародья), разве что упоминалось о стихиях и их сочетаниях друг с другом как о первопричине возникновения всякой жизни, в том числе и человеческой.

В таком случае, естественным образом получается, что на каком-то этапе из текста были исключены не только эротические сцены, но даже сами мысли о них и любое описание, связанное с землей, женской сущностью как объектом насильственных действий. Не следует при этом забывать, что все действия с применением инструментов вторжения или проникновения, как-то: лопата, теша или киркомотыга – были направлены не на саму землю, а на объекты материальной культуры, созданные людьми.

Текстовые лакуны остались областями незаполненными, поэтому провалившиеся в них слова и выражения звучат более благородно, нежели это было на самом деле, как в случае скоропалительного строительства, когда вместо стены оказывалась опалубка, просто заполненная строительным мусором, поглощающим все звуки.

Одним из моментов, к которому постоянно возвращались эти двое, Бес и девушка, ехавшие в поезде, что на всех парах несли на север, было стремление молодой науки, адептом которой чувствовал себя историк Искандер, не постепенно и основательно раскрывать слой за слоем найденное древнее поселение, словно переворачивать страницы книги и погружаться в ее содержание (и время от времени отрываться от этого текста и поднимать глаза к трансцендентному небу, дабы поразмыслить над прочитанным отрывком, а заодно и об истине и о себе самом), а совершенно противоположное. Он пробивал штольню, надеясь встретить на пути этой «раны раны земли» стены древних сооружений. Подчас разница между этими стенами и просто почвой была только в плотности грунта. На этом основании он пытался домыслить карту жизни своих мифических предков, пока еще не отвоеванных у времени его молодой наукой.

Было бы совершенно несправедливо упрекать его в отсутствии научной корректности, переступать границы его заставляло естественное желание как можно скорее выбраться из лабиринта зачатого города или столь же зачатого городища, чтобы наконец оказаться в области, полной приключений, новых возможностей и неожиданных открытий. Его геометрический прием, где, казалось бы, на древнюю стену можно наткнуться лишь случайно, выявляя все эти отсутствующие структуры, был своеобразным созданием их заново. Таким образом, его деструктивные, с научной точки зрения сиюминутные и имманентные действия, обретали свое трансцендентное измерение, когда он, будучи человеческим существом, вносил

свой собственный смысл в само творение, творя всё заново, и отказывался от поиска истины как смысла творчества (даже пусть научного) в пользу самого творчества.

И в этом смысле Искандер действительно был конченный человек.

Если опять вернуться к проблеме, связанной с землей, глиной, штольней, канавой, зияющей раной, этой молодой наукой, почему бы наконец не призвать всех персонажей этого повествования однажды встретиться в Черной Чайхане (а где же еще? не на научной же конференции...), а для тех, кто туда не сможет добраться, воспользоваться ныне существующей глобальной спутниковой связью. Уж если дочка царя Дария заговорила и рыба на античном перстне отверзла уста, то почему бы в Черной Чайхане, дабы формат встречи был воистину глобальным, не поставить самый заурядный компьютер и не подключиться ко Всемирной Паутине?

Отчет агента К. о письмах, найденных среди обломков потерпевшего катастрофу самолета

Этот документ найден в сильно фрагментированном виде; некоторые части текста были обуглены и залиты водой. Другие оказались повреждены и пропитаны неизвестной жидкостью темного цвета, и их текст не поддается расшифровке. Среди большинства фрагментов, написанных кириллицей, но довольно странным геометризированным почерком, часто встречается одно и то же имя – Искандер. Судя по всему, большая часть фрагментов – это письма, написанные кем-то этому лицу. Можно попробовать составить из них один текст, и он будет похож на эссе или какую-нибудь другую, более современную форму паралитературы, но даже такое произвольное сочетание фрагментов позволяет сделать некоторые предположения относительно содержания этих пи-

сем. В них значительное место занимает описание чувств, испытываемых лицом, написавшим эти письма, к некоему реальному (или воображаемому) лицу, имя которого – Искандер.

Утраченные фрагменты, вероятно, могли бы содержать сведения, которые пролили бы свет на эту историю чувств, но – увы! – о содержании их можно лишь догадываться. Полностью восстановить тексты этих писем никогда не удастся, даже если бы этим занимался целый научно-исследовательский институт, так как ни одно из них не представляет части некоего целого, поскольку *этого целого не существует в природе*, и не может быть сопоставлено с попытками историка Искандера восстановить целое, чем он занимался в своем исследовательском проекте, который, в отличие от них, всегда имел точное и научно обоснованное подтверждение существования искомого, несмотря на все его утверждения о том, что процесс поисков для него более интересен, чем результат поисков.

Судя по оставшимся фрагментам, эти письма – свидетельства какого-то продолжающегося и довольно большого разговора, диалога, *процесса*, а скорее, монолога – представляют собой *что-то вообще*, а вовсе не литературное произведение; некий текст, не обращенный ни к кому, а представляющий собой отчаянную и безнадежную попытку выпасть из времени, взбунтовавшись и объявив джихад и ему, и всем ограничениям, связанным с местом, временем и образом действия.

В процессе создания такого «текста вообще» этот метод постепенно деградирует и превращается не в опыт соединения слов посредством слов, а в пародирование любого литературного опыта, и самоориентация этого метода не имеет перед собой никакой цели или смысла, кроме рискованной игры со многими (если не со всеми) смыслами и языками.

(Фрагменты писем найти любой ценой.)

**Дочь царя Дария III Кодомана размышляет о том,
что находится за пределами тела как опыта**

В этом почти квадратном помещении, на небольшом возвышении, похожем на глинобитное ложе, находилось несколько скелетов с вытянутыми вдоль тела конечностями. Рядом с одним из них я заметила останки какого-то животного, челюсти которого были усеяны острыми зубами, – скорее всего, это был скелет лисицы. Она каким-то образом проникла в помещение и, не сумев из него выбраться, умерла от голода и жажды. Сидя в уголке темного храма, я смотрела на этот недоступный простым смертным образ совершенства: мужчина подает девушке кисть винограда, она сидит на глиняном полу; он смотрит на нее, а она смотрит на виноградную кисть. Он смотрит на нее, *он так на нее смотрит*; мельчайшие кусочки кварца, рассеянные в воздухе, придают их лицам какой-то неземной, чуть голубоватый оттенок. На древней фреске глинобитной стены я вижу их четкие профили; может быть, это духи или какие-нибудь божества, для которых «сегодня» или «завтра» не имеет никакого значения. Девушка шепчет:

– Ведь ты не сделаешь этого, ты никогда этого не сделаешь...

Их ночь становится светлее: месяц растет. Их ночь любит без страха, но боится показать свою любовь. Их ночь любит истину, но никогда о ней не говорит.

А здесь Будда и тысячелетия.

А там – колючая проволока, древний орнамент Nakenkreuz, крест-крюк, суис-тит-ка, танковая колонна входит в город без опознавательных знаков и с потушенными огнями.

А здесь – le Bleu du Ciel, синь небес, серовато-коричневые холмы лёсса, поросшие зарослями кустарника эфедры, священного дерева поклонников огня.

Не всё ли равно, по ту сторону, по эту, вверху или внизу, сегодня или завтра?

Ну что я всё время пытаюсь найти какой-нибудь смысл во всей этой бессмыслице: скелеты, лисица, лязганье траков, Nakenkreuz, le Bleu du Ciel, обмирание, синь небес...

Они подъезжали. Горы постепенно меняли окраску. Вот уже погасли последние отблески уходящего дня, и всё погрузилось во тьму. Впрочем, не всё, красные точки остались в глазах Искандера.

Он повернул голову и, глядя на нее, сказал:

– Вот *Ворота*, через которые Искандер Двурогий вошел (далее он произносит это название на своем языке) в эту область, место *по ту сторону*...

Но мы-то, мы всегда почему-то оказываемся по эту

Но мы-то, мы всегда почему-то оказываемся *по эту*...

Он произнес несколько слов на своем диалекте.

Очевидно, я спросила, что это значит. Потом расхохоталась. Но все почему-то молчали.

Искандер отвернулся и стал смотреть в темноту окна.

Я опять листала свою тетрадь. В этом месте текст кончался; на пустых страницах было несколько беглых набросков простым карандашом: силуэты двух каменных глыб и между ними дорога.

– Это и есть те самые Ворота Искандера?

– Да, только он через них вошел в тот край, что лежит *по ту сторону реки*, а мы только что ее покинули и оказались теперь *по эту*, проехав на машине через эти *Ворота*.

Слева от нас поднимался лишенный растительности островерхий горный кряж, сложенный какими-то

скальными породами лилового цвета; издали, с дороги, в цепи гор он виделся совсем маленьким, незначительным, а сейчас его отроги нависли прямо над нами, они становились всё массивнее, подступали к самой дороге. Место было каким-то диким и унылым. Наконец, мы вышли из машины.

В одном месте оказалась узкая тропа; она круто сходила вниз, ответвляясь от основной дороги, и вскоре мы вступили на нее, пошли по ней, стараясь держаться за ветви колючего кустарника. Несколько раз приходилось менять направление, обходя препятствия из каменных завалов, которые возникали то справа, то слева. Вскоре мне начало казаться, что мы потеряли правильное направление, сбились с пути, но Искандер вдруг остановился и сказал:

– Еще немного, и мы дойдем до воды.

– Разве здесь может быть вода?

– Конечно. Когда-то здесь был источник. В этих местах – настоящее чудо, но сейчас это лишь маленький ручеек...

Действительно, еще несколько метров подъема, и мы вышли на ту же самую дорогу, по которой пошли сначала: мы сильно сократили путь, поднимаясь горными тропами. Теперь мы вышли на ту же самую дорогу, только немного выше и правее. Я увидела обыкновенную железную трубу, из которой текла чистая и прозрачная вода и падала в деревянный желоб, уходящий куда-то вниз.

Я бросилась к этой воде. Подставила ладони, умыла, наконец, лицо, долго пила эту холодную воду и никак не могла напиться. Я совсем забыла о тяжелом пути в машине, о головокружительном подъеме по овечьим тропам к этому источнику, о жаре и даже об Искандере, который стоял рядом со мной.

– Теперь моя очередь.

Искандер протягивает руку к струе воды, но тут я подставляю ладонь, вода ударяется об нее и веером бьет во все стороны, обдавая нас прохладой. Ее мельчайшие капельки, натолкнувшись на мою

ладонь, вспыхивают радугой на темном фоне деревянного желоба. Жемчужные капли везде: на наших лицах, на одежде, на иссиня-черных волосах Искандера. Они сверкают, переливаются, собираются на его ресницах, дрожат на них и падают вниз. Я вижу: он встряхивается, как мокрый пес, стараясь сбросить капли с волос.

– Для чего мы пришли сюда? Ради этого?

– Не совсем. Когда мы миновали *Ворота*, я вспомнил, что где-то здесь есть источник, и решил тебе его показать.

Я предпочла бы сейчас лежать около своей палатки на раскладушке, блаженствуя, приобщившись к остаткам спирта из розовой канистры, или той жидкости, которая после многочисленных трансмутаций в ней еще оставалась.

Я предпочла бы сейчас предаться размышлениям об алхимическом *процессе* изменения свойств жидкости, которая под пробкой вместе с нами претерпевала различные приключения, постепенно, как солнце, склоняясь к востоку, угасая и теряя свою силу.

Может быть, то же самое происходило с нами всё время, только мы об этом пока еще ничего не знали.

Но сейчас я лениво слушала, что он мне говорил, время от времени вставляя незначительные реплики, чтобы он не подумал, будто я его не слушаю:

– Так что же всё-таки ты мне решил показать?

– Сначала источник. Мы ведь рано или поздно должны были оказаться около какого-нибудь источника или колодца...

«Средневекового, во дворе ювелира», – подумала я, но вслух произнесла:

– Откуда тебе это известно?

– Нетрудно догадаться, ведь мы всё время идем за солнцем, которое, совершая свой земной путь, тоже претерпевает различные приключения.

«Как спирт в розовой канистре, – пронеслось в голове, – постепенно склоняется к востоку».

– Да ну?

Правда, когда Искандер начинал говорить, его не так-то легко было сбить с толку.

– Приблизительно то же самое происходит и с нами. В легенде говорится об источнике жизни и о том, что двое путешествующих вместе пьют из него.

– Да, но один из них пьет из него незаконно. Ты знаешь, который из них?

– Догадываюсь. Но сейчас это не важно.

Розовая канистра торчала в моей голове, как гвоздь, забитый в крошечную тьму.

– Так кто же?

Я театрально возвожу взор к трансцендентному небу. Этот чертов черепок, выданный мною из чистого озорства из трона с хламом, сыграл в моей судьбе такую странную роль.

А что будет с моим телом, прекрасным, как землетрясение? А чему оно предназначено?

Искандер улыбается своей кошачьей улыбкой.

Подобно контаминированному культурой яблоку, сыгравшему роковую роль в судьбе тела агента К., эти жемчужные капли воды переливались всеми цветами радуги на волосах Искандера, они вошли в меня, как болезнь, как самое время, которое, кто знает, может, и есть самая страшная болезнь, и сделали меня еще более чужой и чуждой самой себе, частью собственного вымысла, больного и нечистого двенадцать раз.

Я стою около средневекового колодца, не решаясь спуститься внутрь по выщербленным ступеням, в одной руке держу рубашку, которую попросили меня прополоскать. Кладу мокрую рубашку на плечо, так как без рук мне туда не спуститься; где-то глубоко

внизу темнеет вода, затхлый запах ударяет в ноздри. Держась обеими руками за скользкие стены и стараясь ногами нащупывать каменные ступени, предварительно убедившись в их прочности, я спускаюсь всё ниже. Колодец узок, и вскоре мое тело занимает всё пространство, закрывая мне свет.

Я стараюсь в темноте рассчитать движения, так чтобы на последней ступеньке мне хватило места нагнуться над водой и, не поскользнувшись и не дав рубашке соскользнуть с плеча в глубину, высвободить руки, чтобы ее прополоскать. Понимаю, что нормальным способом это сделать вряд ли удастся.

Тогда, держась одной рукой за стену, я осторожно сгибаю ноги в коленях и боком, чтобы занять как можно меньше места, всё-таки добираюсь до последней каменной ступеньки; другой осторожно стягиваю мокрую скрученную ношу с плеча, стараясь одновременно расправить ее, и нагибаюсь еще ниже. Теперь одна моя рука вот-вот готова соскользнуть с каменной стены, а ногам явно не хватает опоры, причем конец рубашки всё еще лежит на плече и мне еще не видно, что внизу, так как мое тело, как пробка розовой канистры, перекрыло доступ свету.

Делаю еще одно отчаянное усилие, пытаюсь еще сильнее согнуть ноги в коленях и опуститься ниже, пригнув голову: становится чуть светлее. Рука моя отрывается от камней, рубашка соскальзывает с плеча и падает в воду, но я успеваю удержать равновесие, скрючившись на ступеньках, и в последний момент, ухватившись за какой-то выступ, поймать медленно погружающуюся в воду ткань.

Внезапно мускульное напряжение плеч и ног спадает, я вижу, что на последних ступеньках можно удобно устроиться: места и света достаточно. Я могу взять мокрую материю обеими руками и отполоскать ее не хуже, чем сделала бы это в тазу или корыте.

Мелькает мысль о том, что сейчас колодезная вода станет мыльной и непрозрачной, я беру обеими

руками рубашку и, сидя на корточках, начинаю ее полоскать; узкий луч света купается в опаловой жидкости, запутывается в ней, кажется, что это неизвестная материя колыхнется под моими руками, словно какое-то живое существо, которое спит и тяжело дышит во сне.

На мгновение ткань выскальзывает у меня из рук, начинает погружаться; я протягиваю к ней руку, и тысячи игл впиваются в нее. Белая ткань пляшет перед моими глазами, кажется, она сейчас окрасится кровью, моей собственной кровью, и я пытаюсь быстро выдернуть ее наверх. Небольшой камешек срывается откуда-то сверху и падает рядом. Я сильно дергаю рубашку вверх, с нее стекает вода, перламутровые пуговицы сверкают. Мокрую и невыжатую, я снова кладу ее на плечо, отчего сразу становлюсь мокрой с головы до ног, а последняя ступенька, на которую стекают потоки воды с моего тела, – предательски скользкой.

Я так же осторожно поднимаюсь, разгибаю колени и выпрямляю спину; в темноте на ощупь нахожу ступеньки, потому что тело снова превращается в пробку, не пропускающую свет. Я медленно поднимаюсь, стараясь сохранить равновесие; теперь о рубашке можно не беспокоиться: кажется, она навсегда прилипла к моему телу.

И вот голова моя уже поднимается над колодцем, потом плечи, и медленно, чтобы не потерять ни точку опоры, ни рубашку, я вылезаю наверх с мокрой тканью на плече, вся залитая водой, и начинаю ее выжимать, стараясь не повредить перламутровые пуговицы.

Остаться теперь на горячем солнце в мокрой одежде даже приятно; я слегка отжимаю влажную ткань собственного платья, которое быстро разглаживается от горячего воздуха и тепла моего собственного тела. Холод чувствуется еще некоторое время в ногах, но и они вместе с промокшей обувью очень скоро согреваются.

Несколько дополнений, внесенных духом учителя философии

Описание эпизода с полосканием рубашки ювелира в средневековом колодце, находившемся во дворе его жилища, было бы неполным, если не отметить еще один важный составной элемент этого события. Разумеется, встреча с колодезной водой, или с тем, что оказалось в глубине каменного мешка, носила бы несколько двусмысленный характер, если не рассказать, что произошло после того, как она увидела в темном зеркале воды собственное отражение.

Ведь эта встреча с собой в столь необычной ситуации могла бы никогда не состояться, если бы об этом не было сначала рассказано.

В этой части повествования из четвертого периода описываются события, происходившие в Черной Чайхане, где она должна была встретиться, наконец, и с бледнолицым музыкантом, смотреть на которого ее просил ювелир во время свадебной мистерии, которую разыгрывали нанятые за плату танцоры и музыканты в маленьком городе, отсутствующем даже на трехверстной карте.

Если внимательно читать текст повествования, то можно заметить, как в описании различных ситуаций и обстоятельств рассказ нередко неожиданно обрывается в тот самый момент, когда кто-то пытается заглянуть в глаза того или иного персонажа, а страницы писем, написанные несколько геометризованным почерком, оказываются обугленными или залитыми темной жидкостью непонятного происхождения.

Сам я никогда не видел глаза ювелира (или Искандера), но рассказать о них могу, правда, при помощи геометрической конструкции, в которой сочетание знаков на бумаге описывает отражение, существующее лишь в зеркале.

Его взгляд существовал вне меня, и описать его взгляд было бы почти равносильно описанию собственного взгляда.

Если в процессе создания текста попытаться овладеть взглядом ювелира (а то, чем владеем мы, в свою очередь владеет нами), нам опять придется вернуться к *Воротам* и к понятиям *по ту* и *по эту сторону*, раз уж пришлось провалить явку и назвать эту точку на земле (имя которой произнес Искандер на своем языке), и вспомнить историю об ужасной невесте, скрывающей свой остов под телом – прекрасным, как покрытая вечными снегами горная вершина.

Можно ли сказать про дочь царя Дария, что чей-то взгляд влек ее к себе, как высшее откровение? В каком-то смысле можно, если это совпадало с ее желанием увидеть самое себя.

Невозможность взглянуть, что называется, в упор на Искандера, невозможность встретиться с ним взглядом делала неосуществимым замысел вступить в ни к чему не обязывающую, но полную соблазна игру, и если вспомнить о том, что в данный момент непонятно, на чьем пальце красовался античный перстень с рыбой (если бы она хоть однажды заговорила!), и принять этот взгляд в упор за код доступа к ее собственному телу, получив тем самым возможность встретиться с ним, ее другом, при условии, конечно, что сам-то он в собственном теле изначально находится, тогда человеческое тело, благодаря которому многое делается на этой земле для жизни: строятся утонченные цивилизации, возводятся города, насаждаются растения и доктрины, изобретаются зеркала и отражения в них, раздаются голоса и возникает способность никогда никого не услышать, – тогда это тело создает собственную историю, которая владеет всеми нами.

Стало быть, она так и не могла заставить себя взглянуть в его ночные глаза, хотя уж ей-то, ей-то чего еще было бояться на этой земле: ведь ей изначально уготован рай, самое прекрасное место на земле, усеянное розами и населенное птицами в рубиновых перьях, половина которого по Закону принадлежит ей, как она, безумная, думала.

Но тогда ее душой владел другой, мертвый мир, в котором было два летних месяца и десять зимних, а холод был границей добра и зла.

Рассказывает дух лисицы, непонятно как очутившейся

Эти двое нашли себе приют около большого камня. Один из них проснулся и смотрел на того, кто еще был во власти сна. Она всматривалась в лицо спящего: оно сейчас странно белело в темноте.

Если вспомнить, что эти двое, о ком мало что известно, по привычке еще отождествляются с девушкой и историком, то в таком раскладе они представляют собой персонифицированный приступ меланхолии, который время от времени захватывает их обоих.

Тогда в тексте или в реальности (какой из них?) они начинали блуждать по бесконечному лабиринту, где возникают, проявляются и даже подчас превращаются друг в друга действующие лица повествования. Всё это не существующие на картах и перетекающие друг в друга места, когда овальная зала раскопа превращается в комнату в глинобитном домике или в салон самолета, а то и в горную тропу или в совершенно пустой файл. Многие события, возникающие в этих призрачных местах, не имеют продолжения и ничем не завершаются; и эта призрачная топография становится местом обитания странных эфемерных созданий, лишенных черт и свойств, словно они были созданы не из глины, то есть из плоти, под которой подразумевается вещество создавшего их текста, а из каких-то остатков этого вещества.

Что, в свою очередь, наводит на мысль, что эти призраки обладают другим, особым сознанием, если не забывать, что осколки с треском лопнувшего зеркала (служанки) уже не являются самим зеркалом, и каждый из них представляет собой новую загадку,

не меньшую, чем пресловутая загадка сфинкса, разгаданная отцом народов и мужей, фиванским царем, который, собственно, и был тем самым человеком.

В своей чистой субъективности каждый осколок может быть лишь частью *чего-нибудь вообще*.

Лицо спящего может стать любым лицом, и если при взгляде на него у смотрящего возникают какие-то чувства, лишенные конкретного воплощения, в следующем периоде времени они концентрируются в особую среду, где реальное ничем не отличается от воображаемого.

И более того: для их детального анализа не хватает пространства, своего рода отстраненности, так как чувства, заключенные в вышеупомянутый лабиринт, сами являются частью этого лабиринта.

Она смотрела на Искандера; его лицо странно белело в темноте, и ее взгляд словно завладевал его образом и мог беспрепятственно им распоряжаться. Само же тело спящего, несмотря на то, что ему также принадлежала по Закону половина райского сада, под ее взглядом теряло эту связь с Законом и могло в любую минуту оказаться тюрьмой, темницей, средневековым колодцем, острым осколком разбитой стеклянной двери – чем угодно: здесь начиналась область риска, приключения, сама незавершенность и недосказанность которой входила в эти правила игры без правил, в которую так любят играть дети, но не любят вспоминать о ней, став взрослыми.

Смотря на его лицо, странно белеющее в темноте, она стремилась овладеть тайной того, что влечет к себе сильнее всего. Тайной, которая вдруг им овладевает во времени и пространстве, которые он сам себе не выбирает, как не выбирают сон, что мог свалить его около глинобитной стены, во дворе придорожного караван-сарая или на отдаленном раскопе, когда лицо вдруг становится совсем белым, а волосы еще чернее.

Тогда луна начинает, как змея, менять кожу и тоже попадает в лабиринт, расставленный вымыслом.

Попав в этот лабиринт, сама я обрела совершенство, недоступное простым смертным.

Здесь Будда и тысячелетия.

Наверху – колючая проволока, крест-крюк, суистит-ка, бунт времени против вечности, танковая колонна с погашенными огнями и без опознавательных знаков, которая, кажется, дошла до предела.

Кусты священного дерева эфедры, залитые лунным светом, блестели; по слухам, их словно полированные ветви содержат в себе особое вещество, в котором под видом серо-зеленой банальности маскировочной ткани таятся возможности настоящей оргии, подлинного разгула страстей, в ожидании никогда не свершающегося и никому не нужного события.

Я – дух, не обладающий ни душой, ни телом, поднимаюсь сейчас над этим раскопом, лечу на собственных волосах над кустами эфедры, а лицо спящего человека странно белеет в темноте...

Девушка подходит к кустам, зажмуривается, вдыхает их запах и заостренным ногтем скребет гладкую, словно отполированную кору.

Ей казалось, что постепенное изменение окраски горных кряжей

Ей казалось, что постепенное изменение окраски горных кряжей и изменение освещения тоже является своего рода событием, имеющим начало и, как большинство явлений природы, предполагающим завершение.

Написанная фраза, в которой заключается потенциальная возможность события или действия (например, преодоление нескольких метров стены, сложенной из полуразвалившегося кирпича) еще не совершенного, но упоминание о котором уже состоялось (на бумаге), позволяет говорить о нем как

о событии уже состоявшемся, то есть каким-то образом отраженном.

Говоря другими словами, можно, не сходя с этого места, почувствовать раскаленную синь небес над раскопом и, вдохнув тончайший аромат священного растения древних поклонников огня, даже увидеть изменения не только пейзажа, происходящие под воздействием испарений сока эфедры, но и отражение этих изменений в тексте.

Таким образом, находясь в вышеописанной дыре, откуда не видно не только цепи гор, но даже и самих кустов эфедры, не говоря уже о танковой колонне, не лишенной в своем движении по известному одним лишь духам маршруту некоторой доли эротизма, – под воздействием сока эфедры сидя в этой дыре рядом с останками того, что когда-то было цветущей плотью земли (из чего могли не только расти полезные растения, но и возникать утонченные цивилизации), можно видеть, как постепенно меняется окраска дальних и ближних горных кряжей (так как изменение освещенности влечет за собой изменение цвета), от серо-коричневого бархата до красноватых оттенков угасающего пламени.

И более того: на горном перевале (с отметкой 2000 м над уровнем моря) можно не только вообразить себе, но и описать это море или, по крайней мере, морской берег, где около большого камня нашли себе приют двое путников.

Можно заставить эти тени теней и духи духов чувствовать, говорить, действовать. И никакая танковая колонна, даже уже дошедшая до ручки в своем эротизме и обмершая, не смогла бы выбраться из этого словесного лабиринта (и оказаться по ту сторону описания), из темницы языка, где она, спеленутая, как египетская мумия, вращается, подобно солнечно-му кругу, кресту-крюку, суис-тит-ке, и в этом движении сигнификат сливается с сигнификантом, зенит с надиром, а текст порождает новый текст – подобно змее, кусающей собственный хвост, и пробному вы-

стрелу в книгу из пистолета культуры или проникновению стеклянного зубца машины Закона Порядка и Света в некогда нежную и живую плоть.

Проблема не в том, чем текст кончается, а с чего он начинается.

Если немного поразмыслить, то становится ясно, что любой фрагмент текста начинается с какого-то факта, предположительно установленного (даже если он – часть вымысла).

Чаще всего такие пассажи кажутся заведомой выдумкой; они возникают совершенно неожиданно, вопреки и заведомо противореча тому, что утверждалось ранее, и кажутся перевертышами и вводятся (если только это можно заметить, а они-то и не позволяют этого заметить) для того, чтобы любой подобный момент в дальнейшем брался под сомнение и возникали вопросы: «что?», «почему?» и «как?», в зависимости от того, на каком из четырех периодов текста сконцентрировано внимание и что именно представляется наиболее несусветным вымыслом (хотя и это тоже не обязательно).

Если вернуться к мысли о том, что, сидя в текстовой дыре, можно одновременно находиться и по ту, и по эту сторону и, следовательно, можно охватить все четыре периода целиком, то тут уж даже совсем не искушенный читатель догадается, что вымысел окончится банальным образом: ожиданием в аэропорту маленького городка (которого нет даже на трехверстных картах) так и не взлетевшего самолета, и этим ожидающим будет бледнолицый музыкант, в руках он будет держать табличку с геометризованными буквами написанной фразой, перевод которой, согласно одной из версий, означает «истина всегда сокрыта», хотя имеется и другой перевод: «спасает только истина».

Если относительно возникновения первого, задающего тон всему повествованию текста принять за рабочую гипотезу, что ближайший по времени момент –

переезд через *Ворота* Искандера Двурогого или разговор о них, где соединяются и время, и пространство в историческом названии самой местности (как по ту, так и по эту сторону), то историко-географическое совпадение может послужить схемой для развития самого вымысла, возникшего как желание дать самые противоречивые описания всему, что этому моменту путешествия могло предшествовать и что за ним последовало.

Незадолго до пересечения упомянутой пространственной точки, находящейся (условно) на горном перевале и даже зафиксированной на страницах синей тетради в виде карандашных набросков, представляющих собой рисунки двух каменных глыб и дороги между ними, в тексте было сказано, что «красноватые отблески остались в глазах Искандера» (или того, кому в тексте дано это имя). В самом утверждении есть претензия на то, что ранее, до захода солнца, последние лучи которого скользили по горному кряжу, этих отблесков в его глазах не было (что предполагает, что глаза эти попали в поле зрения случайно или находились под чьим-то пристальным взглядом, фиксирующим все мельчайшие нюансы), — иначе как можно заметить такие тонкие изменения, происходящие на радужке глаза (ведь это — не горный кряж), повлекшие за собой столь живописный эффект — красноватые отблески?

Однако ранее в тексте, по крайней мере, в его третьем периоде, утверждалось, что названные персонажи никак не могли встретиться друг с другом, а если эти встречи и происходили, то в них было что-то вроде побочного эффекта, схожего с тем, что возникает при неправильном смешении спирта с водой: образуется муть, — правда, по прошествии некоторого времени жидкость снова становится прозрачной; это также схоже и с перебором в случае с *глотком горячего зеленого чая*, сопряженным с ощущением тошноты, а подчас и более опасными для жизни последствиями.

В нашем случае этот побочный эффект возникал на периферии взгляда и как таковой немедленно отражался в описании, несмотря на то, что порой это описание представляет собой крайние формы нарциссизма, когда персонажи общаются сами с собой, вглядываясь в воду средневекового колодца, а в лучшем случае — в зеркало, еще не расколотое и не вонзившееся ни в чье тело.

Рассуждение о том, что вымысел обязательно стремится определить такой тип взаимообщения через манию или порок, не вполне уместно, хотя в тексте описываются вполне нарциссические практики. Психоаналитическое, душеразчленительское же толкование не является предметом интереса для идеального прочтения; и если даже таковое и предполагается, то лишь в весьма окарикатуренном виде, как, скажем, описание какой-нибудь детали женского костюма ювелира, потерявшей во время мистерии, а не как зонд исследователя или показания черного ящика потерпевшего аварию воздушного судна.

Трансцендентное небо, о котором неоднократно говорилось в тексте, представляло собой альтернативу небу реальному, сколь бы парадоксально или даже комично это ни звучало.

Имманентная вспышка света, после чего уже больше *ничего не было*, в силу своей второстепенности и незначительности ничего не означала, не имела продолжения, несмотря на то, что, как и танковую колонну (правда, при большой натяжке), ее можно тоже определить как вспышку эротизма, протуберанца на солнечном диске, обладающего единой природой с оставляемым солнцем, но в силу своего отрыва ставшего просто еще одной вещью, потерявшей свой трансцендентный статус и попавшей в лабиринт имманентного, временного и конечного.

Интереснее поговорить о лабиринтах и зеркальных коридорах, в одном из которых заблудилась лисица и, не сумев выбраться, погибла от голода и жажды.

Водяные брызги и их значение в создании силы, управляющей Порядком и Светом

Некоторое удивление вызывает то обстоятельство, что на столь малом участке повествования обнаружилось такое количество вышедших за пределы или готовых выйти за них персонажей.

Суть проблемы в другом: если вся эта компания вступила друг с другом во взаимоотношение и преодолела, проявив максимум изобретательности, множество ловко расставленных препятствий, ловушек и тупиков, выказав незаурядную волю к тому, чтобы стать полноправными действующими лицами вымысла, волю, подчас граничащую с безумием, то каков же был результат этого взаимоотношения?

Началом повествования (если у него вообще имеется начало) можно считать первую попытку преодоления череды неурядиц и недоразумений, возникающих на пути желаний любой ценой выбраться из заклятого города, пройдя через мнимую смерть текста, зафиксированную в образе падения тела с высоты сорокашестиметровой башни, что высится на пустынной площади маленького городка как символ вселенского абсурда, безусловного, каким только и может быть подлинный абсурд.

Этот образ постоянно претерпевает различные превращения, в число которых входят и пышные похороны, изменившие настроение (а возможно, и мирочувствие) путешественников, совершающих свой безумный автопробег в вечности в Искандеровом рыдване; она – возведя очи к трансцендентному небу, он – внимательно следя за дорогой и воспринимая эту дорогу как нечто материальное, опасное и глубоко враждебное собственному телу.

Попад на этом самом перевале в какую-то смутную область, отмеченную в синей тетради как точка наивысшего безразличия и раскаленного бесчувствия, что означает, вероятно, не что иное, как неразличение того, что находится по ту сторону и того, что

по эту, их тела (а стало быть, сам текст их тел) триумфально прошли через эти самые *Ворота*, означенные двумя неровными линиями карандаша, слегка напоминающими разрыв в цепи горного кряжа.

Если падение тела с высоты сорокашестиметровой башни можно представить себе как самый краткий способ преодоления времени, то, когда машина остановилась на горном перевале и путешественники вышли из нее, они увидели *нечто*, совершенно не поддающееся осмыслению или описанию, лишь внешне похожее на источник: *что-то вообще*, лишенное даже отдаленного намека на определенность границ или определенность намерений.

И действительно, само это место было унылым. Должны были быть веские причины, чтобы там выходить из машины.

Странно уже то, что до места, которое и было причиной остановки, можно было спокойно добраться на машине, не подвергаясь риску сломать шею на овечьих тропах или сокрушиться в пропасть со всеми вытекающими из этого последствиями.

Но ничто не говорит о том, что эти двое, покинув машину, испытали во время хождения по горным тропам какие-нибудь затруднения, если не считать того, что горы поросли кустами эфедры, за которые они иногда цеплялись; не исключено, что кто-то из них слишком крепко ухватился за гладкие ветви и даже, быть может, слегка поцарапал ногтем кору и, уже выйдя на дорогу, вдохнул испаряющийся на солнце сок растения, поднеся собственную руку к носу, скажем, смахивая капли пота со лба.

Не является ли мысль о том, что в подобном месте, расположенном на большой высоте над уровнем моря, мог оказаться некий источник, сама по себе признаком того, что текст выходит из-под контроля, деградирует и становится событием, одинаково безразличным к тому, что было «до» и что будет «после»,

событием самодостаточным, как сила, управляющая Порядком и Светом, когда-то могучая, но теперь иссякающая, что разваливалась и дробилась, подобно прозрачной воде, падающей на деревянный желоб и стекающей с него на камни?

И если представить себе, как об этом создается текст и память об этом моменте использует слова и вещи, что представляется достаточно неопределенным занятием, в процессе которого само тело текста приобретает черты этой телесной памяти, не лишенной права быть чистым вымыслом или частью вымысла, – какой-нибудь незамысловатый текст, лежащий в основе самого повествования, назовем его «до-рефлексивным литературным опытом», то не ради ли этого пришлось проделать столь длительное и рискованное путешествие?

В рассказе о проведенном у источника с железной трубой времени поражает нечто сомнамбулическое, проявившееся в полном отсутствии интереса персонажей классической встречи у колодца к своей дальнейшей судьбе, несмотря на то, что источник этот – далеко не случайная находка.

Уже известно, что Искандер (или тот, кто назван этим именем) был немногословен и особой разговорчивостью никогда не отличался, тем более не следует забывать, что изъясняться ему приходилось на чужом языке. Не яркий ли пример – тот случай, когда с плохо скрываемым безразличием им произносится ничего не значащая и в то же время столь многозначительная реплика: «Да ну?»

Но основной акцент, похоже, ставится на детальное описание обстоятельств возникновения радуги, при виде которой не может не возникнуть воспоминание о розовой канистре со спиртом, в этот момент всё еще находящейся в Искандеровом рыдване, где вышеозначенная субстанция не прошла все этапы трансмутации, а, напротив, находилась в наиболее активном состоянии для поддержания силы, управляющей Порядком и Светом.

Эпизод, способный претендовать на эротическую сцену, неуклонно катился к востоку, и ничто не могло его на этом пути остановить, а тело девушки, прекрасное, как дождевое облако, столь же неуклонно превращалось в тело ее текста, в который жемчужные брызги воды вошли, как болезнь, и толкали это тело в пропасть темного колодца, где оно теряло с ее подлинным телом всякую связь и застывало в простом рассказе о происшествии с этим телом, больным и нечистым двенадцать раз.

Обращает на себя внимание и то, что при попытке организовать и направить повествование в нужное русло все персонажи, словно сговорившись, устраивают настоящий саботаж или притворяются если и не совсем спящими, то готовыми или страстно желающими в этот момент таковыми оказаться.

Если священное растение стимулировало обретение другого сознания, назовем его «сознанием другого», правомерно ли считать это сознание и существующий в нем текст тела этого другого столь уж болезненным и нечистым двенадцать раз?

Если у этого тела текста и имелся какой-то до-теоретический опыт, то этот опыт был наиболее отстраненным, так как в нем приближение к описываемым вещам было наиболее полным.

В небольших фрагментах текста, написанного от первого лица и представляющего собой не столь уж часто встречающийся полноценный аутический текст, рассказывается история схождения девушки в средневековый колодец, с тем чтобы произвести достаточно банальные и полезные в быту действия, связанные с полосканием рубашки ювелира, и разного рода мытарств, связанных с осуществлением этого простого действия.

Для того чтобы не перегружать этот эпизод углублением в колодец памяти девушки и не описывать детали похоронных обрядов древних обитателей этих мест, то есть не отнимать хлеб у историков и этнографов, которым пришлось порядком потрудиться,

выискивая подтверждения научных гипотез, суть которых заключается в том, что умершего оставляли в башне смерти, называемой «дакмой», стоит лишь походя отметить, что она, эта башня, представляла собой монументальное сооружение из кирпича, верхняя часть которого напоминала воронку с отверстием посередине. Тела умерших располагали на верхней части этой воронки и оставляли на неопределенное время, пока хищные птицы и звери (среди которых, возможно, были и камышовые коты) не пожирали мясо, а кости, освобожденные от плоти и связок, постепенно скатывались к центру и проваливались в отверстие.

Правда, это было очень давно, и о достоверности этих сведений, равно как и подробностях самого обряда остается лишь гадать.

Но если вернуться к повествованию, не вдаваясь в описание душераздирающих и кровавых сцен, в которых мерзкая собака Марфа (или Марта) играла далеко не последнюю роль, то ей было отведено вертеться под забрызганными кровью ювелира ногами девушки, пока ей не дали пинка под зад, после чего она следила за происходящим с почтительного расстояния, тем не менее, не пропуская ни одной, даже самой, казалось бы, незначительной детали происшествия.

Оставим на совести Искандера утверждение о том, что горцы в своих погребальных обрядах перебивают умершему кости рук и ног специальным копьём, чтобы его дух оказался обездвиженным и не смог нанести вреда оставшимся в живых.

Двигаясь в этом направлении, предположим, что от природы девушка обладала телом прекрасным, как грозовое облако или заснеженная горная вершина, а в дальнейшем с этим телом, то есть с его естественным положением в пространстве, что-то произошло (под действием ли испарений эфедры или по какой другой причине) – какая-то порча, причем произошла не одновременно, но продолжалась на протяжении

жизни целого мира, когда от этого тела отторгались куски плоти, почти до костей обнажая остов ужасной невесты.

Предположим далее, что изначальный текст всё-таки существует при максимальном совпадении вымысла и реального события, ставшего основой этого вымысла; тогда соединение таких взаимодополняющих образов, как колодец и башня, образует пространство взаимного отстранения. Плоть, оскверненная силой, управляющей Порядком и Светом, обладала, тем не менее, свойством регенерировать, подобно змее, меняющей кожу.

В процессе такой регенерации уникальность этой новой плоти делает ее самодостаточной, а тело текста, одновременно освобождаясь как от навязываемой логики, так и от вынужденной спонтанности, находит собственное положение в пространстве слов.

Глава двадцать первая Размышления возле колодца жизни о башне смерти

Ее охватило странное веселье и желание рассказать кому-нибудь о том, что случилось в глубине средневекового колодца.

Она стояла на последней ступеньке, ведущей к воде, прозрачные капли падали вниз, попадая в пучок света и образуя радугу на темном фоне воды.

Она никак не могла вспомнить, почему и как оказалась здесь; мягкая ткань прилипла к телу, послушно приняв его очертания и тепло, став второй кожей. Она чувствовала, что между ней, темной водой, мокрой тканью и жемчужными каплями воды возникает какая-то связь, и это является главной частью приключения,

которое потому и случилось, что ей захотелось о нем кому-нибудь рассказать.

Ей хотелось рассказать о том, как привычное ощущение собственного тела и окружающих его предметов уступило место новому, где связи между основными источниками беспокойства сделались иными, словно кто-то незаметно подменил боязнь поскользнуться на выщербленных ступеньках чувством уверенности в себе и какого-то бесшабашного веселья и легкости; она чувствовала, что стоит лишь немного распрямить плечи и набрать в легкие чуть больше воздуха, как тело станет послушным ей и изменит свое положение в пространстве, а вслед за этим изменится и само пространство.

Ее тело начало медленно вращаться вокруг своей оси; сверкающие капли воды поднялись из глубины и стали вовлекаться в это вращение вместе с ним, образуя светлую оболочку, постепенно поднимавшуюся снизу, от самых ступней, и, достигнув головы, сомкнулись в световое кольцо.

В этом световом пространстве можно было перемещаться, подобно тому как в ее тексте персонажи беспрерывно обменивались словами, вещами, временем, пространством, образами и телами, перемещаясь по замкнутому кругу, и каждому явлению и новому существу там было отведено свое место и свое время.

Во всех этих возникновениях-исчезновениях прослеживались определенные связи, которые строились вокруг центральной точки, представляющей собой момент наибольшего приближения и наибольшего отдаления.

Ее вращающееся вокруг своей оси тело в новой световой оболочке, сотканной из радужных капелек влаги, когда-то возникших на фоне темного деревянного желоба и приведенных в движение силой, управляющей Порядком и Светом, причиной которой могли бы в данном случае быть *глоток горячего зеленого чая* или сложного состава жидкость, возникшая в процессе превращения спирта в воду (или воды в спирт),

или испарения сока эфедры, – она могла иметь любое название.

Таким образом, отдаляясь от воды и поднимаясь вверх, одновременно вращаясь вокруг своей оси и вытягивая на свет, вслед за собой, темную глубину колодца, она раздвигала руками эти искрившиеся мириадами бликов и ставшие податливыми стены кирпичной кладки, поднимаясь всё выше (а речь шла о сорока шести метрах высоты башни на пустынной площади) и двигаясь, как ей казалось, почти наугад, но словно подчиняясь точному существующему внутри ее тела ориентиру, она поднималась и направлялась к той единственной, при всей своей неопределенности, точке, существующей где-то вовне, за пределами любого действия, состояния или чувства или рассказа о них.

Воздух, сквозь который проходило ее тело, спеленутое, как египетская мумия, и разом потерявшее все свои бывшие свойства, становился столь же плотным и вязким, как и ее ощущения, с трудом поддающиеся определению.

Как за единственную достоверность она ухватилась за мысль о том, что когда она перевернется в воздухе и зависнет над этой зыбкой вязкостью вниз головой, как летучая мышь, все изменения, подчинившись силе, управляющей Порядком и Светом, вернутся, в конце концов, к своему изначальному состоянию – станут тьмой, где всё начнется сначала, и дальнейшие ощущения начнут разворачиваться по кругу, что неминуемо приведет к желанию снова их описать, и, может быть, в этом описании отразится другое ощущение собственного тела и возникнут новые слова о нем, которые в свой черед снова свяжут, спеленают это тело, как египетскую мумию. Тогда, может быть, на каком-то витке этой текстовой спирали возникнет другое видение (если можно говорить о видении там, в глубине этого колодца, в его темноте), другое ощущение связей между радугой из жемчужных пузырьков и зеркалом темной воды; всплывут новые слова, могущие передать эту наивысшую отстраненность и

максимальную приближенность к истинному значению, которое, как всё истинное, всегда сокрыто.

Она раскачивалась и кувыркалась в этом световом столбе, словно в собственной памяти, которая вдруг потеряла всякое образное или словесное выражение, при помощи чего можно было бы рассказать о чем угодно или не рассказать вообще ничего, и это ничто возможно только в том случае, если существует нечто, что предшествует этой памяти и находится там, где колодец превращается в башню, пуля пробного выстрела встречается с плотью когда-то и кем-то написанного текста, где в небрежном наброске *Ворот* ни одно существо на свете не может определить, когда же наступит момент перехода *по ту сторону*, который пребывает по ту сторону этой стороны.

Летучьемышье зависание лишь описывало, как предположительно выглядел код доступа к этим *Воротам*, но не было ни ключом, ни уж тем более *Воротами*, а лишь головокружительным испытанием, безнадежной попыткой оказаться по ту сторону тела и текста, заведомо обреченной.

Стоя на ступеньках, она подняла голову; мокрая ткань платья почти высохла, на каменной плите двора валялась, блестя на солнце, перламутровая пуговица. Неподалеку, положив морду на лапы, лежала дворовая собака Марфа (или Марта), и никто не знал, какие мысли бродили в ее голове; может быть, она ждала момента, чтобы незаметно подкрасться к девушке и украсть у нее дыхание, и наверное, это было бы лучшее из всего, что эта тварь могла сделать...

Дух учителя философии предупреждает: пограничное состояние чувств и разума опасно для жизни

Тонкий знаток стихов бродячих поэтов, и сам склонный к философским размышлениям, *ищущий истину* старался сосредоточиться на мысли о том, что при

попытке в пространстве повествования встретиться с девушкой, другим и отделенным от него существом, текст повествования неминуемо разрывался и растекался потоком сточных вод, не имеющим ни конца, ни края, где по волнам воспоминаний или воспоминаний об этих воспоминаниях с различной скоростью плыли листочки, написанные слегка геометризованным почерком, иногда обугленные или залитые какой-то темной жидкостью непонятного происхождения, подобранные кем-то на месте авиационной (или лингвистической) катастрофы.

В них-то и был пресловутый первотекст, о котором говорилось, что область его распространения лежит как по ту, так и по эту сторону *Ворот*, и более того, даже обнаруживается некая точка схода – те же самые *Ворота*, которые в повествовании меняют свой облик в зависимости от обстоятельств: то они становятся пулей пробного выстрела, то самим вознесением в сверкающем оперении над бездной средневекового колодца здравого смысла, то судьбоносным огненным столпом, взлетевшим в небо на площади одного из красивейших городов Европы в тот памятный год, когда силы Закона, Порядка и Света собирали свою кровавую жатву и делили ее между властью и воображением, то неопознанным телом текста (так и оставшегося неизвестным), упавшим с высоты сорокашестиметровой башни, то проникновением осколка стекла (или зеркала) в тело ювелира, то движением танковой колонны, то непрерывными подъемами и спусками в воздух или в воду или путешествиями сквозь песчаную бурю.

В самом начале повествования, когда происходила рекогносцировка на местности, само тело этого первотекста, прекрасное, как грозовое облако, было спрятано в недрах Глиняного Холма, своего рода компьютерной программы, и ни одна душа во всей вселенной из слов не подозревала о его существовании.

Молодая наука, занимающаяся объектами материальной культуры, то есть вещами (пусть даже

выраженными в словах), и наука еще более молодая (и тем самым старая, как династия Плантагенетов), занимающаяся словами (пусть даже выраженными вещами), поглощенная схваткой между речью и языком, встретились с самым юным знанием, переводящим все эти противостояния на бесстрастный язык цифр, ранее существовавший как некий до-теоретический опыт, подобно вирусам чумы или проказы, дремлющим в древних курганах и городищах, готовым воскреснуть в любой день и принести всеобщую гибель (или всеобщее спасение).

А стало быть, никто и не подозревал об этом маленьком бесхитростном тексте, потому что в нем не было ничего, как нет ничего в компьютерной программе, пока ее не активировали и не заставили работать.

Если этот первотекст, ценой огромных жертв и усилий, удалось протащить через *Ворота*, самое узкое и опасное место на земле, и при помощи различных паролей, кодов и шифров, как то: таинственная надпись на запястье, античное кольцо с дельфином и даже полный аутоэротического смысла первый и единственный поцелуй Искандера – дать этому соединению слов посредством слов овладеть идеальным читателем, то, пробившись через все препятствия, в дальнейшем он, подобно сточным водам, разольется по лабиринтам, превратится в осколки зеркала (служанки), в фосфоресцирующие частички кварца в порывах песчаной бури, в разрушенные и рваные палимпсесты, где потоки слов, перекрывая друг друга, станут двигаться в разных направлениях, попадая в тупики, ловушки и другие места зависания, – словом, обращаться в трехмерном пространстве Глиняного Холма, обладающем длиной, шириной и высотой (+время).

Протяженность самого текста вырисовывалась при обращении к несомненно существующему документу, некоему свидетельству однажды совершенно (или не совершенного) путешествия, приключения без всякой цели, открытого любой случайности, ли-

шенного каких бы то ни было пристрастий или предпочтений.

Край по ту сторону этой стороны избран достаточно произвольно; так в качестве места пространства повествования мог оказаться ареал культуры ацтеков или кельтов или еще кого-нибудь. И, более того, геополитическое пространство этого вместилища смыслов могло оказаться и искусственной конструкцией; европейская античность и ее проекция на восточный формат просто оказались под рукой, в аккурат и на своем месте, выпали в броске костей.

Текст этого первичного повествования как произведение изящной словесности – конструкция столь же произвольная и искусственная, как и сконструированная концепция материальной культуры этого края (крайне разнородного конгломерата местных и привнесенных извне наслоений), пробивается сквозь все препятствия: так, в первом периоде текста это похороны философа, шагнувшего в пустоту с сорокашестиметровой высоты, что и заставило разработчиков этой программы крутиться по улицам зачатого города, не названного в повествовании, но существующего в одном из текстов галльского Любомудра о встрече некоего военнослужащего со своей собственной смертью.

Название «зачатый восточный город» по необходимости связано с темой смерти, как и неназываемый город или много городов, разрушенных и погребенных под слоем земли и также ждущих своего часа или разработчиков программы, которая призвана это зачатие снять.

Перевалив через перевал и пройдя *Ворота*, текст, как и машина с путешественниками, попав в цифровое зазеркалье, от этого не перестал быть собой: он сохранил нарративность, описательность и размышление о самом себе, хотя в каком-то смысле невинность ему всё-таки сохранить не удалось: к ее утрате он стремился сам, и на этом пути, растянутом на протяжении (указать количество страниц

в окончательном варианте рукописи) страниц, подвергался необратимым и загадочным трансформациям, подобно жидкости в розовой канистре, где, в зависимости от соотношения воды и спирта, ее воздействие на разработчиков программы компьютерной игры «Глиняный Холм» было различным.

Если представить описание путешествия по ту сторону (а речь сейчас идет о той стороне, ставшей этой) как смену словесных ландшафтов и если под этим подразумевать ландшафты, возникающие внутри создающегося одновременно с движением машины текста, то уместнее всего было бы следить за его развитием при помощи зеркала заднего обзора, очень точно названного на одном из европейских языков *retrovisieur*.

В отличие от дверного глазка или бойницы в крепостной стене, этот способ прочтения текста не предполагает вуайеризма, что сразу бы низвело повествование до простой дневниковой записи, может быть, и не лишенной некоторого интереса.

Принцип зеркала заднего обзора задает формат панорамы, объемного изображения одновременно происходящего и его описания (а не просто послонной расшифровки палимпсеста), его трехмерное видение, обладающее длиной, шириной и высотой (+ время).

Новая археология текста, существующая в противоречии со знанием, то есть силой, управляющей Порядком и Светом, родилась как метод разработчиков и является способом создания системы прочтения этого текста, когда с наибольшим результатом при наименьших потерях создается механизм управления этим потоком образов (кажущийся лишь на первый взгляд неуправляемым как поток болтовни после *глотка горячего зеленого чая*).

Эта археология создается как попытка описать стратификацию программы «Глиняный Холм», определить статические единицы, составляющие эту программу, подвергнуть их классификации и обработке

данных, для того чтобы результат, сколь бы он ни был губителен для объективной реальности, смог, опираясь на эту совсем юную науку, попытаться создать такой цифровой ландшафт, который спокойно бы уместился на маленьком блестящем диске размером всего-то с боковое зеркальце старого Искандерова рыдвана, и он продолжал бы двигаться так, словно ему никогда не суждено выбраться из заклятого восточного города и никогда не добраться до *Ворот*, оказавшись в сумеречной зоне между «еще не» и «уже не», в высшей степени приспособленной для всевозможных словесных потоков, оргий и разгула страстей.

Отчет агента К.

Изначальный текст-документ, содержание которого сейчас отражается в зеркале заднего обзора или на мониторе компьютера, никогда не подвергался какой-нибудь деформации, так как он был предельно конкретен и связан с тем типом письма, когда на страницах синей тетради создавался мир письма, который ранее *никогда не существовал*, который вовсе не является отражением *чего-нибудь вообще*, находящегося внутри пишущего и называемого на языке простонародья внутренним миром, богатым, бедным, сложным или как-нибудь еще, например, глубоким или голубым.

Было бы крайне интересно узнать что-нибудь о цветном внутреннем мире, например, о голубом, красно-коричневом, прозрачном или даже отсутствующим; это последнее определение, коль скоро оно уж появилось на свет, является доказательством того (если, конечно, пользоваться принципом апофатиса и сходу последовательно отвергать все возможные способы определения как предлагаемой характеристики внутреннего мира), что до прикосновения пишущего к белой странице при помощи калама или огрызка карандаша никакого мира и *ничего не было*.

У создателя такого текста, скорее всего, подобного внутреннего мира не было, даже если допустить, что его физическое тело пребывало в некоей объективной реальности, имеющей пространственные и временные парадигмы, или, по меньшей мере, там был воздух, иначе приходится признать, что это рассуждение касается вещей столь запредельных, что пришлось бы заново изобрести целую систему паролей, знаков и кодов, и тогда вряд ли удалось бы отделаться колечком с рыбой, умеющей хорошо говорить, или надписью, умеющей столь же хорошо молчать.

Таким образом, этот первый текст, содержащий в себе простой и бесхитростный рассказ (если прибегнуть к языку алхимии, то есть в который уже раз возвратиться к проблеме розовой канистры и веществу, изначально ее наполнявшему), будучи максимально отстраненным от повествования и, похоже, претерпевая разнообразные перевоплощения, в то же время постоянно напоминает о себе, подобно разбавленной водой субстанции с первоначальной крепостью девяносто шесть градусов, которая, тем не менее, сохраняет свои основные свойства и обладает некоторыми специфическими и одной ей присущими способами воздействовать через тело на сознание лиц, к ней приобщающихся.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что в какой-то период (скорее всего, во второй) он, этот основной текст, имеющий все признаки пустотности и необязательности, вознамерился стать самодовлеющим и одновременно начал распадаться на части, чтобы в образовавшихся разрывах могло возникнуть *что-нибудь вообще*; так он оказался разбитым на фрагменты, и если уж археология текста стала для него и методом, и мифом, то так определилось его мифологическое пространство, в котором персонажи обрели статус людей, духов, компьютерных программ и галлюцинаций, – и не столь важно, под каким видом это подавалось на письме: *глотка зеленого горячего чая* или жидкости из розовой канистры, пирож-

ков с зайчиной или розовых пряников, словно все они побратимы пирожного *madelaine*, и только из-за этого создательница текста прокрадывалась тайком в оранжевую палатку и таскалась на другой конец города и мира.

Так археология текста обретала культурологический аспект, а близнечный миф – расхожий принцип зеркального взаимодействия персонажей, и постоянный рефрен – мотив о треснувшем зеркале (служанки) – имел для построения сюжета вполне серьезные основания.

Буддийский слой с точки зрения археологии культуры также уместен, поскольку некоторые аспекты буддизма составляют часть этой мифической цифровой цивилизации, и если условиться (впрочем, термин «условиться» здесь не подходит), что в силу действия Закона, управляющего Порядком и Светом, вполне естественно возник буддийский уклон, вызванный к жизни темой белой страницы в синей тетради, который в самом что ни есть материальном смысле тогда был, в самом деле, белым и безобразным, тем более что в этих краях в том памятном году мерцающих экранов еще просто не существовало, и поэтому первый текст и первый рисунок были сделаны от руки, а не на экране, то, будем надеяться, эти немногие ориентиры помогут когда-нибудь установить личность *ищущего истину* в одной из его жизней (если в тюрьме слов и смыслов вообще существуют такие понятия, как жизнь).

Можно ли вообще рассчитывать на то, чтобы найти исторические соответствия в пределах этого мифа о письме, хоть по ту, хоть по эту сторону текста повествования, который то взлетает в трансцендентное небо (измерение, никем и ничем не ограниченное), то низвергается в имманентную лужу рядом с Черной Чайханой, если это только не данное свыше как дар небес мгновение редчайшего просветления и вседозволенности, когда можно смутно что-то почувствовать, но через

мгновение оказаться опять в мокрой рубашке ювелира, спеленутой, как египетская мумия, оплетенной тканью из слов, и задыхаться в этих тенетах, словно собака Марфа (или Марта), улучив подходящий момент, уже украла дыхание.

Время, заключенное в первоначальном тексте, разбросано по всему повествованию; части его соединены между собой при помощи комментариев или комментариев к комментариям, где ничто не претендует на достоверность или претендует буквально всё – в силу того, что по поводу любого времени и последующего культурного овладения ими в любой области человеческого знания присутствует множество легенд, вариантов и интерпретаций, подчас поднятых с сорокашестиметровой глубины на поверхность и ставших вымыслом без каких-либо четких границ, где реальное сливается с воображаемым.

Это может быть особый, выбивающийся за рамки общепринятого способ интерпретации следов так называемой материальной культуры или связанной с нею доктрины, господствующей в умах населявших когда-то данную местность человеческих существ, а скорее всего, отражение этой доктрины с привнесением в нее всех свойственных современности иллюзий, что может даже называться искусством или вообще им не считаться, в зависимости от того, светский или культовый характер ему приписывается.

Все эти способы интерпретации времени, при всей их разнородности и разнонаправленности, обладали неким сухим остатком (за вычетом поправок общего характера, носящих скорее технический, чем сущностный характер); короче, все эти способы сводились к тому, чтобы придать мифу свойства мифа, для того чтобы для тех, кто вовлекается в эту игру, не оставалось никакого выхода, кроме как принимать на веру самые невероятные доводы и, таким образом отрезая себе все пути к отступлению, становиться вечными пленниками зеркального коридора, преждевременный выход из которого

означал бы только одно: прекращение всякой попытки искать выход.

Сама по себе сцена разглядывания лица спящего человека при всей своей шокирующей откровенности ровным счетом ничего не означает, так как происходит в мифологическом пространстве, где тело уже воспринимается как корпус уже созданного текста и в силу этого уже принадлежит литературе, и пристальное разглядывание лица спящего человека – это не более чем изучение и толкование какого-то фрагмента первоначального текста, где просто и без затей описывается, как выглядит спящий.

Прочтение (идеальным читателем) этого фрагмента могло быть мгновенным или столь длительным, что луна, подобно змее, могла двенадцать раз сменить кожу, и это время должно было бы заполнить собой ландшафты и города, воплотиться в образы этих городов и населяющих их человеческих существ, в истории, которые с ними происходят и которые они рассказывают друг другу или кто-то рассказывает о них; так мгновенного (или долгого, длиной с целую жизнь) взгляда на лицо спящего было достаточно, чтобы в столь сложно сконструированной программе компьютерной игры «Глиняный Холм» и повествовании о том, как это всё происходило, рассказе, изобилующем бесконечными изменениями из числа тех, что перестраиваются, подобно танковой колонне, на ходу, причем количество их может превысить все существующие цифровые исчисления, воплотился бы еще один способ истолкования, разыгрываемый при помощи игровой приставки и джойстика.

Можно, конечно, отвести взгляд и не смотреть на лицо спящего друга, а попытаться достичь всех эффектов иным способом, далеко не всем доступным – при помощи письма, попытавшись выжать из текста весь воздух (если, конечно, он там есть) и превратить его во вращающийся во вселенной из слов Hakenkreuz, суис-тит-ку, солнечный диск, выжать, выкрутить его, произвести над ним то, что не удалось

сделать в тесноте средневекового колодца с рубашкой ювелира (или Искандера), да так перекрутить при этом, чтобы перламутровые пуговицы отлетели, вспыхнули радужным блеском на полдневном солнце, и сделать это столь *круто*, что любой другой способ обращения с этим текстом станет лишь его бледным отражением и утратит всякий смысл.

Если раскатать в ладонях серо-зеленые листья эфедры и вдохнуть их запах, это может привести к тому, что текст на белой странице синей тетради начнет изменяться, изменится даже его окраска, подобно тому, как меняется цвет горного кряжа, освещаемого лучами предвечернего солнца, прошедшего свой дневной путь и склоняющегося к закату; написанное станет постепенно утрачивать свойства банального описания происходящего, сделается вязким, окрасившись в цвет ночи и неопределенности, а мифологический срез позволит вычленил еще один немаловажный пласт, являющийся для повествования одним из конструктивных элементов.

Речь идет о ненавязчивом толковании первичного текста.

Очевидно, позже, через какой-то значительный промежуток времени, был написан следующий текст, заметно отличающийся от этого наивного, но не лишённого известной спонтанности прозрачного потока аутентичной речи, и тогда этот промежуточный вариант (один из промежуточных) создал для первого особое пространство, где он (этот первотекст), словно оторвавшись от своей основы, завис и начал уже рассказывать сам о себе, соорудившись в новое тело, уже непрозрачное и двусмысленное, поработанное и подчиненное, нарциссически повторяющее и созерцающее самое себя. Утраченная им свобода оказалась сродни несвободе солнечного диска, обреченного каждодневно погружаться в море (на Западе) и столь же обязательно каждодневно появляться вновь (на Востоке).

Прочитывая этот первичный текст как текст, написанный другим, *но тем же самым*, приходится опять

обратиться к свойствам мифологической близнецной пары, где оба персонажа связаны друг с другом так, что свойства одного не вступают в противоречие со свойствами другого.

Статус этого следующего текста (написанного в год вселенской полемики между властью и воображением) если не противоречит первому, находящемуся еще в непосредственном контакте (чему существуют неопровержимые доказательства в виде письменных источников) с описанной в нем средой и лицами, то, во всяком случае, служит опровержением этой непосредственности и имеет уже отношение не к фактам, а к их интерпретации и выстраиванию из этих фактов ряда систем, которые в одном из периодов текста названы «файлами».

Второй текст апеллирует уже не к чувствам, а к сознанию, к описанию типологии этого сознания; страницы, рассказывающие о феноменологической стороне этого сознания, похожи на описание приключений духов или киборгов как неких толкователей, отслоившихся от единого и цельного и в силу этого получивших возможность извне видеть это единое в его раз-деленности.

Время создания второго пласта текста не является знаком исторического времени, а служит для создания мифологической структуры самого текста, поэтому к тому памятного году не стоит привязываться как к реальной дате и пытаться, исходя из этой временной отметки, существующей лишь в тексте повествования, направить по следу исследовательский пафос, целью которого могло бы быть выявление того, что является реальным отражением событий, а что – вымыслом.

Если какая-нибудь зацепка о подлинном времени создания текста и существует, то она скорее служит совсем другой цели, а именно: завести попытку создать то, чего не было, в полный тупик и посмотреть, как в таком случае станет себя вести текст, с чем он будет идентифицироваться и как самоопределяться,

если он вдруг, не по своей воле, окажется в той точке, где *как раньше уже не получается, а как дальше – неизвестно*.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что тогда в тексте, в котором вдруг выявился мифологический аспект, возникли свои *Ворота* и свой горный перевал, песчаная буря, имя которой еще не придумано, а рука *ищущего истину* пока еще не нажала на кнопку ПУСК.

А значит, этот промежуточный текст представляет собой попытку описания процесса создания первого аутентичного текста, хотя парадокс в том-то и заключается, что подлинная аутентичная речь вовсе не стремится к собственному описанию, она самодостаточна и по-своему совершенна (хотя ни одна речь, выраженная в словах, не может быть совершенна, как не может существовать совершенное письмо, оно лишь та или иная степень приближения к нему); так изначальный текст, как письмо аутического сознания (или особой его разновидности), в каких-то особых случаях может искать способы передачи себя, и, в таком случае, выбранная форма простого и цельного аутентичного текста – один из способов такой передачи.

Это предполагает последовательное отщепление от изначального текста различных слоев и оболочек, что напоминает процесс расслаивания луковицы, приводящий к ее уничтожению: до сердцевины так и не добраться, а все слои в совокупности и есть ее тело. Нечто вроде жизнеописания этих спроецированных на лист белой бумаги или мерцающий экран слоев и оболочек и создания новых мифов, то есть нового текста, органически связанного с первым, и есть выворачивание наизнанку этой аутической речи, в то время как обрамляющий и конструирующий эту аутическую речь текст углубляется вовнутрь, попадая в некий восточный город, не существующий ни на одной карте (однако обладающий признаками материальной культуры в образе трона с хламом), описы-

вает приключения Искандерова грегуара (у каждого из нас, кто хоть на что-то в этой жизни претендует, должен быть свой грегуар), то есть ювелира и наделенного совсем уже неземной природой (и красотой!) музыканта, извлекающего из своего старинного струнного инструмента подлинную музыку небесных сфер. Естественно, он несет ее в себе как некую матрицу и демонстрирует в аэропорту в ожидании самолета, который так никогда и не взлетел, – надпись, напоминающую о том, что *истина всегда сокрыта*.

Можно предположить, что это запредельное существо, сын матери красивой и печальной, представляет собой образ прекрасного, как грозное облако, еще не существующего, но готового вот-вот возникнуть *письма* как одну из форм энергии самого мироздания. Простой и цельной, как сила солнца, управляющая Порядком и Светом.

Исследовав этот вполне поддающийся анализу уровень изначального письма, стоит обратиться к следующему, *étant donné*, где речь идет о теле текста повествования в его трехмерном измерении: имеющем длину, ширину и высоту (+ время), короче, то, что совпадает с моделью Глиняного Холма на мерцающем экране.

У каждого, кто на что-то в этой жизни претендует, должен быть свой грегуар

Следующий уровень повествования, если обратиться к модели Глиняного Холма, коль скоро она возникла на мерцающем экране, совпадает с путешествием в неназванный город и совпадает с той частью общего вымысла относительно одного из персонажей, который, если его сравнить со столь эфемерным порождением фантазии, как бледнолицый музыкант, оплотнился и принял облик почти человеческого существа или, опять же пользуясь языком мифа, стал полукиборгом-получеловеком.

Речь, разумеется, пойдет о ювелире, а точнее, о тексте ювелира.

Состоя в прямом родстве с текстом Искандера, он возник как отколовшаяся часть этого текста, затем начал оплотняться и, зажив самостоятельной жизнью, нашел путь к возможности создавать собственный вымысел, не теряя при этом сущностного единства со своим (возможным) прототипом, как осколок разбитого зеркала, не являясь чем-то совершенно иным по отношению к некогда существовавшему единству, простому и цельному, приобретает некоторые новые свойства, скажем, способность описывать себя. Именно укорененность в мифе создает возможность, оставаясь частью прежнего мифа, создавать и разыгрывать новый, собственный миф. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Такова укорененность текста в простом и цельном (а каким еще мог быть миф мальчика с берегов Реки, Текущей Золотом), и в силу этого он несет в себе черты и признаки и аутентичной речи и аутического самолюбования в пространстве этой речи, не допускающей ни критики, ни рефлексии, то есть не желающей смотреть на себя глазами другого, со стороны, потому что этой стороны просто не существует в природе.

В тексте ювелира происходит постоянное подчеркивание, если не экзальтация, читай: превознесение основной черты его представления о себе как о существе крайне смешном и нелепом, однако не лишенном ни тонкости, ни проницательности, ни здравого смысла, — всех тех качеств, которые могут вылиться в повествовании в самую причудливую форму.

Вполне возможно, что этот текст при всей своей экзотичности и экстравагантности более всего годен для того, чтобы восприниматься как проводник или переводчик, поскольку одной из задач вымысла в его мифологическом варианте было найти какой-нибудь персонаж или предмет, как уже были задействованы перстень с рыбой, осколок стекла или керамики от ритуальной чаши из Рея, кто (или что) взял бы на себя

функции интерпретатора, и тогда бы сама проблема толкования не казалась столь непреодолимой и неразрешимой.

Для ювелира (не будем забывать, что речь идет о текстовом персонаже) диалогическое общение с зеркалами было вовсе не вынужденной и тягостной необходимостью, а обычным, нормальным занятием: он сам мог быть зеркалом кого угодно и чего угодно. Его текстовые оргии и разгул страстей, в своем пределе подчас доходящие до полного непотребства, размноженные и отражающиеся сразу во всех зеркалах мира и в их осколках, растиражированных, многократно умноженных и распространенных, были созданы им, душой этих стихийных бедствий словес и одновременно их жертвы, алхимическим шутком, у которого потолок срывался по десять раз на дню (правда, с завидным постоянством потом водворялся на место), гроссмейстером Lächeln-Effekt-a; эти словеса словес, сообщники сообщников и толкователи толкователей вскипали, подобно металлу в его тигельках, а сам он, участник всех событий и беспристрастный свидетель их, великолепный рассказчик и маска, упавшая в блюдо с кушаньем, бессловесная и неподвижная, само внушение и непрерывное напоминание об этом внушении, оставался как бы за кадром, будучи своего рода машиной создания собственного текста и одновременно устройством для его прочтения.

Ювелир обладал всем, что по закону жанра требовалось для создания текста, зафиксированного в программе компьютерной игры «Глиняный Холм» как файл ювелира, суть которого состояла в том, что он одновременно был и текстом, и самим создающим, и (создающимся) письмом, целью и путем к этой цели.

Если было бы возможно каким-нибудь недозволенным приемом разрушить двуединую одноликость этих сросшихся лица и маски, то там бы оказалось то, чему можно присвоить имя «Абсолютно пустой файл».

Иначе говоря, ювелир — это воплощение идеального образа художника.

Для него вряд ли существовали такие понятия, как «по ту сторону» или «по эту», «еще не», «уже не»: в *Ворота* он проходил таким образом, что одновременно оказывался «за» и «перед», а скорее всего, для него понятие перехода вообще не существовало или ему был известен какой-то особый способ перехода, того самого перехода, который в повествовании, в зависимости от обстоятельств, называется то *Воротами*, то просто цифрой сорок шесть (метров), то пробным выстрелом или еще как-нибудь.

Устраиваемые им сессии, которые он с присущим ему чувством стиля изящно именовал «за-ходами» (пользуясь языком народа простого, однако не лишённого чуткости к передаче при помощи слов истинного сокрытого смысла этих слов), когда он слышал голоса духов, как нельзя лучше подходили к описанию состояния текста в предвкушении более масштабных театрализованных действий на Глиняном Холме, месте и имени, которые постепенно утрачивали смысл географического названия и становились телом текста, компьютерной программой, сложной, как стратиграфия всех слоев древнего городища, расположенного в месте, представляющем собой точку пересечения многих цивилизаций.

Эта программа включала в себя последовательно (и непоследовательно) отпечатки событий, вносившие свои коррективы в расположение слоев: наводнения, землетрясения, нашествия иноплеменников, смуты и восстания масс, неурожай, эпидемии, небесные знамения и т. д.

Под влиянием всех этих факторов слои вещества, составляющего тело текста Глиняного Холма, могли оказаться столь перемешанными, что трудно сказать, где кончается дуализм поклонников огня, у которых даже духи обладали двойным телом и могли существовать лишь в виде близнецов и подчас сами не могли разобраться, кто кому что сказал (или не успел сказать), и кто кому что сделал (или не сделал), и где начинается буддизм, на первый взгляд, примитив-

ный, но, увы, именно в таком виде и докатившийся до просвещенного мира, где его более уместно назвать соблазном, хотя если основательно поразмыслить, то, может быть, именно этот соблазн лучше всего соответствует заключенной в нем великой истине.

Так или иначе, текст ювелира был, вне сомнения, создан кем-то, обладающим реальным физическим телом, глиняный, материальный состав которого вполне допускает мысль о том, что это тело вполне могло быть и женским, и, может быть, это произошло не столь уж случайно, как и само возникновение этой молодой науки – археологии, так как человеческим существам свойственно стремление к чему-нибудь простому и изначальному: замешивать глиняный раствор, чтобы потом что-нибудь построить, вырыть в глине яму (если не себе, то своим близким), разрушить что-то для того, чтобы создать. На самом деле всё это сродни письму, занятию вполне естественному и до некоторой степени необходимому для устройства самой жизни.

Представив ювелира в качестве идеального художника жизни, вернемся в его жилище, обустроенное в соответствии с его личными пристрастиями и вкусами. Согласно логике распределения слоев, составляющих культурный конгломерат Холма, собранные им вещи в известном смысле представляют эти культурные наслоения и, как уже описывалось в третьем периоде текста, называются предметами материальной культуры.

Его комната являла внутреннюю овеществленную метафору этой немислимой гремучей смеси, где тантрическая статуэтка соседствовала с кованым европейским сундуком; геометрическая цивилизация, представленная металлическими сосудами, со стихами, надписями и изречениями из Священной Книги, могла находиться рядом с четками буддийского монаха; фрагменты керамики, утварь, украшенная перламутром, – с оружием нынешнего века, например, казачьей саблей, пережившей войны и революции.

Можно только гадать, сколько времени пришлось бы потратить, чтобы рассказать о каждом предмете, находившемся в его жилье, включая сюда и историю каждого предмета как часть большого общего вымысла, историю взаимоотношений этих предметов с их хозяином в зависимости от времени года и времени суток, например, беседу простого глиняного сосуда с вечерним хозяином, или, скажем, разговор полуночного хозяина с медным тазом коллективного бессознательного средневековой эпохи, или какой-нибудь скандал, окончившийся выносом очередного тела культуры за порог комнаты, если утренний хозяин встал не с той ноги.

Единственным пустующим местом в этом балаганчике была ниша, откуда местный вор как-то стащил статую индийской богини, которая, по словам хозяина, представляла собой медную женщину с ожерельем из черепов, и еще что-то, что было связано с ее ногами, но — недаром говорится, что свято место пусто не бывает, — в опустевшей нише еще оставался тяжелый и громоздкий цоколь этой статуи: его распоясавшийся гангстер просто не смог унести; но если всерьез рассматривать сентенцию о том, что свято место пусто не бывает, то можно только догадываться, что на нем, на этом пинакле культуры, в отсутствии местной Кибелы время от времени делалось.

Но в момент ритуального самоистязания ювелира при помощи осколка стекла, вызвавшего дух ужасной индийской богини и ее средиземноморской сестрички-близняшки, и спасательных работ по ликвидации последствий «за-хода» часть его священной крови пала на босые ноги девушки, что могло послужить причиной ее схождения в средневековый колодец, дабы в темных недрах коллективной памяти пережить трансмутацию собственного тела и сознания; пока же она поднималась оттуда по осклизлым ступеням, преодолевая высоту сорокашестиметровой башни, ей было о чем вспомнить и понять, что на этом каменном постаменте богини с черепами должно на-

ходиться *вдвоем, а не одной*, чем снискать гарантию безопасности от злобы каменного истукана в женском облике, чья шея была украшена ожерельем из черепов, а ноги забрызганы жертвенной кровью.

Странствующий мастер, дух путешествий и гений места, сам смех и причина смеха, готовый покалечить плоть, лишь бы, *смеясь и умирая со смеха*, добраться до костей истины, утренний ювелир в старом халате, похожем на хлопковое поле, читал свои любимые стихи глиняному кувшину, чье тело прошло испытание огнем и многое повидало на своем веку; он, кувшин этот, был благодарным собеседником, знающим лишь зачатки речи, бормотание, проговаривание и озвучивание мыслей своего хозяина, готовых исчезнуть, едва успев родиться, и это его глиняное звучание открывало такие глубины и горизонты, что их лучше всего выражала любимая присказка ювелира «Да ну?».

Полдневный хозяин соответствовал второму периоду текста, в котором каждый сотворял свое, предполагая множество разнонаправленных намерений или хотя бы пару их. В условной точке время на часах застывало в соединении двух слившихся друг с другом пластинок металла или другого вещества, чтобы стремительно катиться к «за-ходу», и тогда наступал час противоречий: ювелир освобождался из объятий своего ветхого халата и протягивал руку, чтобы взять пресловутую рубашку с перламутровыми пуговицами, собственноручно выстиранную и выглаженную, надевал ее и замирал на некоторое время, впад в состояние прострации, характеризуемой стремлением возобновить какое-либо действие и желанием отменить не только само это действие, но даже сам импульс, который это стремление породил.

Находясь в таком неопределенном состоянии, он мог часами созерцать какой-нибудь простой и совершенно бесполезный в быту предмет, например, какое-нибудь металлическое блюдо, погрузившись при этом в то выстиранное, выглаженное и лишенное

всяких существенных признаков состояние, которое могло сравниться разве что с мыслями старого сторожа в пестрой повязке, о которых никто знать не мог, в том числе и он сам, прежде всего потому, что их просто не существовало, как, наверное, не существовало и Искандеровой цифровой цивилизации.

Продолжая пребывать в этом периоде текста, характеризуемом своевольными и рассогласованными действиями персонажей повествования и принадлежащих им (или бесхозных) предметов, но обладая, в отличие от бесплотных и не имеющих материального воплощения идей, телом, многократно описываемым и перевозносимым, которое не могло функционировать в виде чистой идеи, не требующей никаких забот для поддержания частного и общего существования (не следует забывать, что текст повествования состоит из множества тел), обладатель этого тела нуждался в элементарном уходе и пропитании; ему требовались: расческа, старая электрическая плитка, на которую время от времени водружался закопченный чайник, веник, который нельзя было приставлять к стене, а следовало класть на пол, чтобы не разбудить и не привлечь шайтана, и прочие предметы незамысловатого быта.

Древнее бронзовое блюдо, украшенное сценами героических деяний, наравне с другими предметами, жаждало очищения – прикосновения рук своего хозяина. Оно вместе с другими вещами составляло некое предметное сообщество, соборное тело культуры, и так, зависнув на полках и прочих поверхностях жилища ювелира, эти вещи ждали своего очищения, так как вечная и непроходимая, как мировое проклятье, грязь и пыль, существующая во всех хижинах и дворцах мира, не обошла и это скромное жилище.

Ритуал очищения тел материальной культуры состоял в ежедневном (повторяющемся, как миф о вечном возвращении) избавлении этих предметов от грязи и пыли, в процессе чего каждый участник обряда сотворял свое: ювелир освобождал очередной

кувшин от грязи, а кувшин от восторга трепетал. Иногда эти незапланированные трепетанья выходили из-под контроля, и какая-нибудь вещь выскакивала из рук хозяина, например, впавший в транс глиняный горшок взрывался от внутреннего напряжения, разбивался на куски и отправлялся в помойное ведро, или же его бранные остатки, уже во фрагментированном виде, напротив, выставлялись на самое видное место как образ тщеты и бренности мира.

Вечерний ювелир, платный танцор, бездельник и выпивоха, соответствует третьему периоду повествования; он вмешивается в развитие событий, так как обладает особым, полученным не от отца и матери, а от неба, древним, как само человеческое существование, даром впасть в особое состояние, не поддающееся описанию, не могущее быть зафиксированным, именуемое трансом или экстазом, – то особое состояние творческого порыва, близкое к умопомешательству, когда его дух попадает в особый поток энергии, нейтральной и неуправляемой, *что-то такое вообще*, стрим, неисследимый и непостижимый, но неопровержимо выделяющий кого-то, а всех прочих делающих свидетелями проявления этого бесценного дара.

Творения носителей такого дара, бытующие в виде духовной культуры, идет ли речь о музыке, танцах или каких-то иных движениях тел, или их отражениях в виде бледных призраков и подобий, сделанных механическим путем (при помощи фотографического аппарата), которые, не являясь подлинниками, отдаленно их напоминают, заставляют этих прочих плясать в музеях на следы этого дара небес и хотя бы на этот миг (соответствующий третьему периоду повествования, где речь идет о борьбе духов) выходить из своего обычного состояния враждебности к себе подобным или неприятия окружающей действительности, проявляющей себя в их реальных или воображаемых страданиях.

Если дуалистическая, кстати, крайне не полезная, но часто встречающаяся в быту доктрина утверждает,

что в третьем периоде повествования, где рассматриваются основы универсальной жизни, появляется что-то человеческое, то у прочих, плящих на корчи ювелира, это человеческое с особой силой проявляется во время его «за-ходов», чем упрочняет эту линию в отечественной и мировой литературе.

Размышляя так, можно предположить, что, будучи настоящим аутсайдером (и не только в смысле отщепившегося от основного тела текста фрагмента), отщепенцем всей предназначенной ему вымыслом текста жизни, то есть человеческим существом, пребывающим на самом дне цивилизации, заброшенным туда глубоко и надолго, ювелир как бы воплощает в себе в сгущенном виде энергию готовых к восстанию масс, способную не только остановить движение отвертки, направленной во время драки в череп знакомого шофера, но, может быть, и стингера, представляющего собой такой же предмет материальной культуры, что и пресловутый медный таз коллективного бессознательного времен легендарных деяний и подвигов царей и героев.

А ночной ювелир принадлежал только ночи. Когда трава эфедры пахла эфедрой, а луна была только луной.

Глава двадцать вторая

По этому поводу можно думать разное

Агент К., специалист по башням, замкам, лабиринтам и странным происходящим в них время от времени событиям, осмысление и анализ чего предполагает длительную и всестороннюю подготовку, никоим образом не претендовал на восстановление полного текста как истины в последней инстанции; он стре-

мился прояснить хотя бы ее часть, восстанавливая разрушенные временем или вымыслом отдельные фрагменты повествования.

Его попытки восстановления частичного лица *истины, которая всегда сокрыта*, в какой-то степени могут пролить свет на то, кем же всё-таки был Искандер.

Раз-воплощение и дальнейшее исчезновение камышовой улыбки непристреленного маленького хищника, постоянно бродившего в окрестностях палаточного городка, имело несколько причин, одна из которых заключалась в мощных ногах зверя, который, не дожидаясь окончательного и фатального решения собственной участи, сделал эти ноги – самое разумное, что он мог сделать и что спасло одну из его жизней. Маленький хищник сделал единственно правильный выбор: вовремя дать тягу, и поскакал прочь карьером, сообразив, что – пора, вопреки бытующему мнению, что у этой породы нет мозгов и думать им нечем, а есть, дескать, лишь интуиция, заменяющая этому роду мозги, в том смысле, что она, в отличие от мозгов, не только не поддается промывке, а, напротив, способствует более полному восприятию мира. Что, впрочем, весьма возможно, относится не только к камышовым котам, но и к их большим братьям – человеческим существам.

Не забывая о туманном присутствии некоторых черт этого еще не до конца изученного животного во внешнем облике искусственного существа по имени Искандер – персонажа повествования, созданного на мерцающем экране, а точнее, отражения не-антропоморфных черт этого существа в его образе (если предположить, что он, этот персонаж, у нас время от времени как бы полукот-получеловек), заметим, что кошачья интуиция в антропоморфном изводе не исчезла бесследно и послужила (если опять коснуться темы лингвистического шутовства) основой для ответа на вопрос, что же представлял собой этот персонаж в третьем периоде повествования, где

исследуется длина, ширина и высота (она же глубина) + время и одновременно производится истолкование этого исследования при помощи компьютерной программы «Глиняный Холм», которая может одновременно быть и компьютерной игрой.

Здесь основной метод толкования – рассказ о полной неспособности героев повествования покинуть заклятый восточный город, в котором один военнотружущий встретился с собственной смертью и где они вращаются по заколдованному кругу, то попадая в ловушки, расставленные различными видами паралитературы (которую литература «настоящая» боится, как огня, так как считается, что она представляет для нее угрозу), то низвергаясь в мейнстрим какого-нибудь новейшего направления, неминуемого и необратимого, как движение танковой колонны без опознавательных знаков, в конце пути которой, по утверждению особо пронизательных умов, находился пустырь с остатками заграждений из ржавой колючей проволоки и раскопками кем-то придуманной цифровой цивилизации, совершенно чуждой и не нужной поступательному движению материальной культуры (или подобию ее подобия), представляющей собой лисий скелет, подвергнутый насильственному во-площению-вновь, подобно тому как облекаются плотью виртуалы-оборотни в 3DS или возникают текстовые персонажи и служат устами не только для высказывания, но даже воплощаются в сам предмет и метод этого высказывания, чтобы не сказать более – становятся сутью самого высказывания.

Путешествие это, приостановленное похоронами учителя философии, предварительно прострелившего роман «Зачарованная вершина», дабы удостовериться в надежности своего метода исследования возможностей благополучного ухода в мир иной, что неминуемо отразилось на судьбе не только девушки, не разделившей его чувства, но и на судьбе маленькой и бедной страны, откуда она была родом, на продвижении танковой колонны, марше, который так

никогда и не начался, могло бы повлиять и на методы *поисков истины* в одной из жизней военнотружущего Искандера, вплоть до того, чтобы изменить траекторию полета его стингера, что без всякой цели просто взлетел в ночное небо, и след его, подобно инверсионному следу реактивного самолета, разделил луну, столь неудачно выбравшую момент смены кожи, рассек ее, как нож масло, на две одинаковые, одного лунного состава половины.

Стоит применить эту аналогию, используя всю кошачью интуицию данного персонажа, и начать исследование поперечных пластов, составляющих тело текста, названного «Глиняный Холм», и докопаться до того слоя, что создан по необходимости для объяснения мифологической подоплеку таких простых универсальных и изначальных элементов, как огонь, земля, вода и воздух, из которых, как и всё сущее в этом мире, состоят персонажи текста.

Населяющие этот слой персонажи, начиная с принцессы Роксаны, дочери царя Дария III, и кончая получеловеческими существами и просто киборгами, несущими отдаленные признаки человеческих существ, состоят из этих стихий, хотя и преобразованных, и не единожды, и в некоторых своих проявлениях доведенных до совершенства пустого мерцающего экрана, чистого света, и не стоит углубляться в эти дебри, куда как философские и оттого еще более зловещие, а лучше остаться хотя бы одной ногой на твердой земле и в тексте, не дав затянуть себя в болото этой мифологии.

По логике вещей, самой нелогичной материи из всего того, что когда бы то ни было существовало на этой земле, текст Искандера должен был принадлежать простенькому рассказу о каком-то путешествии, совершаемом непонятно зачем и куда, но этот текст, с одной стороны, лежит совсем на поверхности текста Глиняного Холма, а с другой, слишком глубоко зарыт, если вспомнить о том, в каком виде он вообще попадает в работу, пройдя обряд очищения в дакме

при помощи собак-обрядниц, леопардов, шакалов и лис, а может, и камышовых котов, очистивших его костяк от нежной плоти, и став тем самым аналогом контаминированного яблока культуры, разлагавшего плоть незадачливого агента К., изгоя башен, замков и лабиринтов.

Таким образом, этот текст, вырванный из-под юрисдикции тела культуры, затравленного и затерроризированного, куда кем-то и был произведен пробный выстрел, перед тем как взмыть в синь небес высоты сорокашестиметровой башни и тем самым подвергнуть его значительному изменению, расчленению и переоформлению в следующую его ступень, которая представляет собой уже нечто совершенно иное, – в нем персонажи повествования приобретают новый статус, и каждому из них предназначается свое. Они становятся иными, не утратив в этом способность и далее становиться иными, и поэтому их свидетельства могут лишь отдалить идеального читателя от искомой *истины, которая всегда сокрыта*. Лишь давший дёру камышовый кот (маленькая степная рысь) сохраняет свой статус *кого-нибудь вообще*; он оказывается за кадром, сам превращается в двадцать пятый кадр и пересиживает в тишине своей норы в зарослях песчаной осоки всю суету и беспокойство мира.

Отчет агента К.

Если обратиться к образу луны, разъединенной на две половины дымным следом стингера, и даже если забыть о стингере, а вспомнить о мифе, что, обретаясь в третьем периоде текста, сделать вполне позволительно, и если, наконец, и миф оставить в покое, а просто признать, что темная половина луны находится в тени, а светлая освещена солнцем, но это всё та же самая луна, и сколь бы это ни казалось удивительным, другой луны в пределах этого повествова-

ния просто нет; то и текст ювелира никогда не был бы создан вне текста Искандера, а текст Искандера не состоялся бы без текста ювелира.

Метод горизонтального исследования трехмерной конструкции вовсе не предполагает, что каждый слой луковицы означает что-то совершенно новое, ничем не связанное с предыдущим. Это всего лишь образ самого поиска. И если один из слоев оказывается толще остальных, то это различие чисто количественное, и он обладает той же природой, единой с точки зрения формы, содержания и самих мотивов его зарождения в самой луковичной сущности.

И тексты Искандера и ювелира – это как бы один двуединый и неделимый текст.

Вспомним, что оба героя – самого низкого происхождения, то есть в каком-то смысле Искандер тоже подлинный сын неба, у него нет языковых отца и матери, а только беспризорный и безответственный диалект.

В пространстве повествования они существуют как близнечная пара; оба испытывают смутное чувство потерянности и ностальгии по дому и родителям, и их усилия направлены на воссоздание того, что было ими изначально утрачено или не полностью обретено, – иначе, речь идет о переписывании одним лишь усилием воли текста воображаемого детства.

Однако в повествовании они действовали разными способами, так как существовали в двух, совершенно отличных друг от друга мирах.

Попытка ювелира написать имя «Искандер» одним из самых изысканных шрифтов геометрической цивилизации, скорее всего, длилась бы столь долго, что вселенная за это время успела бы расправить свою спираль, помыслить самое себя в этом расслабленном состоянии и снова в эту спираль свернуться.

Если бы Искандера попросили написать имя ювелира (которое ему было известно: ведь он его уже однажды написал на обрывке бумаги), то, наверное, он этого делать бы не стал, а попросил кого-нибудь

другого, например, свою подругу, и табличка с этим именем, написанная слегка геометризованным почерком, оказалась бы на рабочем столе в оранжевой палатке в считанные секунды.

Достаточно часто встречающееся в трех периодах текста упоминание о том, что Искандер не испытывал особого пристрастия к зеркалам и, более того, старался вообще без них обходиться, – еще одно свидетельство тому, что в этом смысле он был вообще лишен какого бы то ни было намерения длить свое существование подобным способом, то есть искать ему подтверждение в других мирах.

Он, вероятно, выбрал бы (если здесь можно вообще что-то выбрать) вместо родителей-простолюдинов отсутствующих родителей, так как его соблазн состоял в претензии на естественное и непосредственное отношение к окружающему миру, возникшему вместе с ним, как ему казалось, по его собственной воле или выбранному произвольно, то есть опять же созданному им самим.

Являясь врагом всех видимостей и кажимостей, которые в изобилии возникали при соприкосновении с действительностью, возникавшей в виде трехмерной программы «Глиняный Холм» (или рассказов об этой программе разных персонажей, существующих в виде отдельных файлов), он, тем не менее, соблазнялся этим сложным, динамичным и непредсказуемым процессом, своего рода моделированием раскопок древнего городища, что представлялось ему не менее естественным и нормальным, чем построить очаг, выкопать яму или устранить опасное пресмыкающееся, либо рассказать об этом.

Он не испытывал ни малейшей радости от неопределенных и не контролируемых событий, когда рассказ о них тащится, петляя и спотыкаясь на каждом шагу, и вот-вот зависнет на неопределенный срок на нити из радужных капель или утонет в темной воде, окажется невосполнимо разрушенным и превратится в тысячу сверкающих осколков, взлетевших вверх от

железной трубы на горном перевале. Его прельщала определенность действия, когда налицо было правильное соотношение между интересом действующего лица и возникшим на его пути препятствием, которое следовало преодолеть самым простым и кратким путем, не вовлекаясь в область процессуального зависания; подобный крюк представлялся ему досадной помехой, и потому его было совершенно бессмысленно спрашивать о том, как он доехал куда-нибудь: ведь о самом пути он действительно ничего не помнил, кроме того, что куда-то спешил, а в дороге что-то сломалось и оттого он не смог оказаться в нужное время в нужном месте.

Каждый раз, когда имеет место рассказ или пересказ событий, уже существующий в третьем периоде текста, где всегда присутствует пара человеческих существ, то есть собеседников (если даже речь идет о разговоре с самим собой в аутической речи аутентичного текста), и такой черно-белый способ общения почти всегда представляет собой попытку совершить какое-либо действие или выразить при помощи письма какую-либо мысль, – он неминуемо наталкивается на встречное желание отмены не только еще не совершенного действия, но даже самой мысли об этой попытке.

Появление в этом периоде текста человеческого привело к тому, что такая попытка выразить себя и сделать результат этого самовыражения внешним по отношению к себе потерпела сокрушительное фиаско.

Из заколдованного круга злоключений в зачатом восточном городе можно было вырваться лишь одним способом: порвать с диалектом и начать изъясняться на языке, проще: шагнуть в пустоту или, наоборот, вознестись в небо с высоты сорокашестиметровой башни, – словом, принять существующие коды и нормы.

Остается вернуться к мысли, что трехмерное тело Глиняного Холма представляет собой не только тело, состоящее из какого-то физического вещества, обладающего определенными свойствами, но это еще и

знак этого тела в виде созданного о нем текста, в любой момент готового исчезнуть или неожиданно появиться в качестве препятствия, как ловушка, черная дыра или *Ворота*, где человеческое останавливается в недоумении, утратив всякое представление о своей первоначальной цели и забыв о путях ее, этой цели, достижения.

Человеческое останавливалось и могло возобновляться лишь тогда, когда в действие вступали силы, управляющие Порядком и Светом, то есть осуществляющие дальнейшее протягивание, протаскивание этого человеческого по ту либо по эту сторону *Ворот*, что могло осуществиться лишь при помощи определенного механизма, который нес бы в себе черты аутической речи, возникшей как обетование *чего-нибудь вообще* в речи аутентичной.

Совершенно ясно, что отдельный текст Искандера возник значительно позже написания первого текста, того самого, где общение персонажей между собой, их переговоры с духами, призраками и прочими сущностями двойной природы (треснувшее зеркало, ожерелье принцессы и перстень с говорящей рыбой) составляло нераздельный словесный универсум, имеющий длину, ширину и высоту (+время).

Если же опять вернуться к мысли о возможности описания этого трехмерного создания, то вне зависимости от того, кем является его исследователь, сам ли автор или идеальный читатель, прошедший полноценную промывку мозгов в одном из лучших университетов мира, он мог бы лишь установить, что этот текст не вкладывается ни в жанр воспоминаний к возвращениям, ни возвращений к воспоминаниям.

А коль скоро есть подозрение, что занятия всевозможными устройствами себя на земле, в смысле обустройства собственной судьбы (не следует забывать, что всё это происходит в месте, где сходятся границы трех сопредельных восточных государств), являются предосудительными, то в таком случае не лишне вспомнить одну восточную историю.

Некий мудрец время от времени возвращался к своим ученикам из коматозного состояния, присущего не поддающемуся никакому описанию измененному сознанию, когда он оказывался (по чистой случайности) здесь, на земле (а ведь мог попасть и в другое место или *куда-нибудь вообще*); так вот, однажды оказавшись рядом со своими учениками, пребывающими в ожидании, чтобы кто-то пришел и организовал им какое-нибудь сознание, мудрец этот, почувствовав левой пяткой правой ноги пыльное вещество в виде камешков и мелких песчинок, изрек первое, что ему пришло в голову: «Само касание пыли уже является оплошностью, если не грехом».

Развивая эту мысль (что он и сделал, когда и вторая его нога утвердилась на чем-то более основательном, чем воздух), он заявил, что любое стремление проникнуть в землю, нашу общую материю, — крайне предосудительно; правда, это относилось к земледельческим работам, а сама история столь давняя, что о молодой науке археологии тогда никто и не слыхивал. Народы этой земли пребывали в те времена в таком состоянии забвения, грусти и одури, что проблемы жизни *кого-нибудь вообще* или *когда-нибудь вообще* их просто не интересовали.

Впрочем, преимущество созерцательного времяпрепровождения перед активным еще никто не доказал, а в своем идеальном варианте любая исследовательская (как и творческая) деятельность несет на себе следы и того, и другого, а преобладание чего-то одного соответствует проекту личного понимания своей индивидуальной судьбы. Текст же Искандера, являясь частью общего текста, создаваемого с определенной и совершенно конкретной целью, представлял собой, с точки зрения восточного саттвы, некий коллективный грех поспешного знания, совершенно не обязательный и не оправданный ничем, грех, понимаемый как стремление уязвить, порезать, разорвать нашу общую мать.

Будь он известен внезапно выпавшему из нирваны «тыкве», текст Искандера стал бы свидетельством и вовсе неблагонадежных действий, тем более, что в них участвовала юная переписчица древних текстов, правда, с целью совершенно иной, но, как оказалось впоследствии, не столь уж отличной от цели Искандера; просто форма этого участия соответствовала ее типу обустройства собственной судьбы. Часть этих свидетельств, по-видимому, была изъята из записей в синей тетради (скорее всего, там были описания эротических сцен).

Характерно, что если обратиться к фрагментам текста, где описываются земляные работы, связанные с идеей существования на неизвестной глубине трехмерной конструкции Глиняного Холма, каких-либо доказательств следов существования некой цифровой цивилизации, якобы соразмерной человеку и способной оказать влияние на его личную судьбу, то станет ясно, что Искандер производил поиски следов этой цивилизации для того, чтобы обнаружить своих там, где существовали одни лишь чужие, среди которых был и он сам – таков парадокс сознания исследователя.

Если же вспомнить описываемые события, то бросается в глаза крайне двусмысленное отношение к этому жизненному проекту Искандера целого ряда лиц, втянутых в данную ситуацию, но представляющих собой в совокупности, в рамках повествования, некий рефлектирующий механизм, в котором эти персонажи объединялись по отношению к носителю идеи по признаку некоей эмоциональной солидарности, чего-то вроде круговой поруки ненависти.

Так, глухонемой копиист отчаянно ненавидел Искандера и не мог толком объяснить за что; Бес, архитектор, работавший с ним в качестве ивовой ветки, указывающей воду в пустыне, а на раскопе служивший чутким продолжением Искандеровой теши, лопаты или киркомотыги (называвшейся на диалекте «катмон»), так как обладал свойственной его творческой натуре осторожностью, заключающейся в пра-

вильной оценке положения тел в пространстве (даже невидимом), и ввиду этого не мог нанести ущерба искомому, также глухо его ненавидел.

С ювелиром, от одного взгляда которого сосуды восторженно подпрыгивали и валились на пол, а металл вскипал в своих тигельках, обсуждать его отношение к Искандеру, темной его половинке, не пришлось бы даже в голову, поскольку оно не вызывало сомнения; и тогда получается, что время от времени Искандер ненавидел сам себя.

Горячий ветер пустынной бури не мог нанести раскопанным изображениям столько ущерба (даже если предположить, что они однажды оказались бы под непосредственным воздействием песчинок, стиравших всё на своем пути, словно наждачная бумага), сколько кощунственные перезахоронения, то есть раскапывание текста и последующее закапывание его в песок, о чем умалчивают местные заклятия и предостережения; но именно этим занималась молодая наука, действуя методом поспешного знания, в силу чего солнечный круг, утратив свои обороты, превращался в Hakenkreuz и становился не знаком, а просто вещью, одной из вещей этого мира.

Если при одном прикосновении ювелира глиняные сосуды трепетали от восторга, то, не боясь впасть в банальность, можно сказать, что Искандер сам трепетал при виде черепков. Его охотничий азарт и стремление здесь и сейчас обладать тем, что ускользало, в его руках делало всё чужим и чуждым самому себе, и в каком-то смысле именно здесь и происходило главное, не осознанное им, но всегда совершаемое убийство, разрушение, закапывание, вырывание себя из потока времени.

И разве кто-нибудь осмелился бы утверждать, что именно тот или иной предмет был просто вещью, ритуальным кубком, оружием или чем-то, что принадлежало только определенному мгновению, а не всему времени, чем является наше прошлое, что наступает на всё остальное время?

Не обойтись без слова муаллима

Найденные в погребениях предметы, которые потом оказывались в витринах музейных коллекций, были в каком-то смысле разрушены, если предположить, что они составляли некий текст, даже в том случае, если на их физической поверхности не оказалось ни одной трещины и внешний вид их был таков, точно они только что вышли из печи для обжига.

Их разрушение не затрагивало внешнюю оболочку: ими никто и никогда не пользовался, до них никто не дотрагивался, разве что посредники, то есть похоронная команда; но ведь, как и все персонажи повествования, эти предметы материальной культуры тоже были частью вымысла и представляли собой лже-пустоту, содержащуюся в фальш-форме.

Эти находки, предназначенные одной вечности, не могли иметь ничего общего с мгновением времени, отраженным в конкретной истории, которая сама являлась частью вымысла; так, любая из упомянутых безделушек имела также свою индивидуальную судьбу, как и любая история, сохранившаяся в виде рассказа или в каком-нибудь другом письменном источнике, двусмысленна и подразумевает расследование еще не совершенного, но существующего в замысле преступления.

Нет народов, в мифах которых не было бы различных упоминаний о том, как вещи вступали в контакт с человеческими существами, особенно если это были вещи изначальные, то есть соприкасающиеся с человеческим телом: это различного рода украшения, талисманы, предметы быта, утварь, музыкальные инструменты. Через них говорят духи земли, и можно с уверенностью сказать, не впадая в назойливое пародирование, что между простым глиняным горшком и человеком может иметь место связь куда более реальная и интимная, чем между двумя людьми, особенно если это касается взаимоотношений между мужчиной и женщиной.

Выражение недоумения, неуверенности и плохо скрытого раздражения на лице историка Искандера в случае с ожерельем принцессы свидетельствует вовсе не о том, что он не понял, что произошло, а совсем о противоположном: он слишком хорошо всё понял.

Собранное без всяких специальных инструментов, но вовсе не с трудом, а с большим кайфом, это ожерелье представляло собой один из древнейших образцов письменности, в той или иной форме существовавшей испокон веку повсеместно. Это было послание, не просто рассказ о *чем-то вообще*, а указание на конкретные обстоятельства общей истории Искандера и его подруги, и если отважиться на более радикальное предположение, вновь рассыпавшееся ожерелье (когда она его бросает) – это разрыв послания, раз-единение того, в чем находилась сама истина, способная связывать и развязывать ее фаворитов (а не приходится сомневаться, что эти молодые люди были истинными любимцами сокрытой истины) в отсутствии бисерных игл и других приспособлений.

Не вызывает сомнения тот факт, что ожерелье было собрано так, словно оно делалось для себя, причем совершенно не обязательно, что при этом девушка вызывала дух умершей принцессы. Скорее всего, ничего подобного не происходило; перед ней на рабочем столе лежала россыпь тайных знаков, из которых надо было создать украшение и сообщение, чем, собственно, и была эта вещь когда-то: ожерельем принцессы и частью вымысла, а следовательно, и записью этого вымысла. Похоже, это было сродни бранному слову, нацарапанному на несуществующей стене, дурному ветру, раздувавшему обрывки бумажек с уликами – следами безумных лингвистических чаепитий; сюда же относились и знаки неизвестного древнего алфавита, которые Искандер вписывал в рисунки девушки, орнамент на подошвах ее ног, исчезнувший, как только высохла черная тушь, и ногти, окрашенные растительного происхождения краской

под названием «хенна», что не выдерживала солнечных лучей.

Продолжая исследовать горизонтальные пласты текста, и, в частности, тот его особый пласт, пласт-мутант, возникший как утолщение в ткани и обладающий двойным объемом, стоит вспомнить, что этот двойной объем представляет собой единый текст Искандера и ювелира, но тогда непонятно, почему тот, кому ведом охотничий раж, заставляющий его совершать странные и ему самому не всегда ясные поступки, не мог себе представить наличие того же самого у других.

Он достаточно безразлично относился к любому способу интерпретации событий; иными словами, он легко мог допустить или даже отчасти вовлечься в любое толкование в виде рассказа, мифа или анекдота, то есть в любой форме, которая могла существовать в открытом и ничем не ограниченном пространстве, где возможны любые вторжения, модификации или дополнения, подчас меняющие смысл рассказа вплоть до его полного разрушения.

Стоит только вспомнить о той злополучной ночи, когда, оказавшись в самом центре песчаной бури, они сидели во дворе караван-сарая на старом ковре, а он сказал ей «Пойдем!», предлагая ей себя как истинный дар небес, потому что считал любовь чем-то вроде религиозного чувства, а ее и себя частью этого высшего замысла судьбы о них, а она сонным голосом задала ему убийственный вопрос: «Куда ты зовешь меня, Искандер, в какие чертоги небесные?», а он, конечно, принял это за отказ, словно она восприняла его слова как вульгарное домогательство и предложение разделить с ней зияющее ложе греха.

Ведь его полем игры было действие или, правильнее, направленное действие, существующее в пространстве и во времени, которые он, не выбирая, всё-таки выбирал, действие на его поле, в этой су-

меречной зоне, где между болью и наслаждением существует равновесие или равнодействие, если вдруг однажды оно захочет выразить себя в чувстве, переданном словами, которые потом всё равно умрут.

Этими смутными ощущениями, казалось бы, ему не с кем было поделиться, и тогда начинались эти поиски своих, в которых он искал самого себя, но встречал лишь чужих и бесконечно чуждых других. Каждое новое, с его точки зрения, блистательное явление предполагаемого своего, пройдя свой зенит, высшую точку Закона, Порядка и Света, неуклонно катилось к забвению, грусти и одуре, где и растворялось, оставаясь слабой тенью, бесхитростным рассказом об уже не существующем и неповторимом мгновении.

В самом превращении змеи в кожу, а кожи в змею есть определенная последовательность, она заключается в повторяющемся раскрытии и сокрытии: такое раскапывание и закапывание моментов собственной индивидуальной судьбы в надежде на последующее раскрытие, когда для этого создадутся условия (чего никогда не бывает) и когда руки при соприкосновении со стеной ощутят стену, а глаза ее увидят, а не встретятся с пустотой и не окажутся *где-нибудь вообще*, чуждые собственному телу, и об этом еще можно будет рассказать, как о каком-то событии или неожиданном препятствии, и даже высказать мысль (не столь уж неожиданную), что не всегда достаточно одного лишь любопытства, чтобы энергию охотничьего азарта, подталкивающего не только к экспериментам с обменом телами, превратить в рассказ об этих экспериментах при помощи соединения слов посредством слов и описания мельчайших подробностей и найти для этого соответствующие слова родного языка, чтобы всё не превратилось в двусмысленную и смехотворную пародию.

Например, многократное возвращение в тексте к бранному слову на стене: если всерьез подумать о том, что скрывается за этим повторением уже увиденного, то такой разворот неминуемо повлечет за

собой новое раскапывание и последующее закапывание целого ряда слоев, связанных с одним моментом (в данном случае напрямую не совпадающим со стеной и смыслом этой мерцающей на ней надписи); речь снова пойдет о девушке, о ее попытках как-то выйти из этой области двусмысленного и нестабильного, внешне выражающихся в форме возникающих у нее неизвестно откуда приступов беспричинного смеха (что так пугал Искандера), словно она видела перед собой (а он, находясь рядом с ней, не видел) что-то шокирующее или непристойное, относилось ли это к своему телу, голосу или взгляду или прикосновению другого человеческого существа, что-то, подлежащее немедленному сокрытию, как случайно и незаконно увиденное, бесконечно чужое и чуждое, что ей вдруг случилось открыть в себе или в других.

Он пасовал перед этой многоликостью чужого языка, его переливчатостью, головокружительной сменой регистров, интонаций и оттенков, в чем он безнадежно терялся: так, однажды, чтобы дать ему понять, что ей не нравится его манера неслышными шагами подходить к ее рабочему столу, она сказала ему, что наверняка так подкрадывается к человеку ангел смерти; он же был уверен, что на язык мистики она переходит именно тогда, когда хочет ему показать, что не готова пойти за ним как за вестником судьбы. Он часто не мог понять, с кем в данный момент имеет дело: мистической ли подругой, сбесившейся девочкой-подростком или хладнокровной соблазнительницей, исследовательницей, экспериментирующей в зоне повышенной опасности – области человеческих чувств, авантюристкой, вступающей в эти языковые, самые опасные на свете игры.

Подвергающийся разрушению мир всецело владел Искандером, так как представлял собой лишь коллективную память, обратимую и нестабильную величину; этот мир был лишь точкой приложения его сил и намерений (а мог оказаться в распоряжении

любого претендента на организацию этой памяти, пожелавшего бы придать ей форму своей индивидуальной судьбы).

В известном смысле это закапывание для последующих раскапываний, в строгом смысле слова, не носило художнического характера, несмотря на то, что в нем присутствовали некоторые признаки артистизма, учитывая, что любое исследование, в отличие от бесцельного творчества, прежде всего должно обладать предметом исследования, что само по себе не только не лишено определенного занудства, а прямотаки губительно и противоположно творчеству, но также нуждается в толковании, поскольку претендует добраться *до истины, которая всегда сокрыта*, то есть до своей сути.

Не стоит забывать, что после того как *ювелира она так и не нашла*, девушка возвращается, и Искандер видит, что она отрезала волосы, и это он воспринимает как некую порчу, которая произошла с ее физическим обликом при невыясненных обстоятельствах. Он догадывается, что она этим хочет ему что-то сказать, так как отчаялась найти способ общения с ним при помощи слов.

Представим себе, как посреди палаточного городка стоит эта оранжевая полупрозрачная палатка, вся пронизанная солнцем, отчего кожа девушки принимает золотистый оттенок; она разложила на столе рисунки и чертежи, но на самом деле что-то записывает в синюю тетрадь и держит ее так, чтобы в любой момент можно было легко спрятать; она представляет себе, как Искандер выходит из лабиринта древнего городища, идет по змеиной дороге, подходит к оранжевой палатке – и вот она, его истина, – на виду у всех, но сокрыта за семью печатями; за ее спиной он подходит к столу, она чувствует его взгляд: он смотрит на завиток на ее шее, она ждет, что сейчас он ее поцелует, и не оборачиваясь говорит ему: «Еще!» – потом оборачивается, демонстративно кладет синюю

тетрадь на самое видное место и смотрит на него затравленным взглядом, словно на ангела смерти; ничего ей не сказав, он быстро уходит, так и не заметив, что в уголках ее губ затаился смех: змея в очередной раз украла кольцо.

Если текст ювелира по преимуществу является способом уловить и попытаться выразить *что-нибудь вообще*, что-то неопределенное, на грани возникновения и исчезновения, как солнечного диска, не прошедшего пути полноты, радуги из мельчайших капель воды на темном фоне деревянного желоба, неизвестно откуда возникшее чувство веселья и легкости, когда малейшее изменение тела в пространстве отражается и остается на всю жизнь, словно в осколках разбитого зеркала, в памяти этого тела и продолжает дальше дробиться до полного исчезновения: образы всех видимостей, которые могут существовать только тогда, когда об этом сказано или написано.

Текст Искандера представлял собой отдельное существование в рамках существования текста, когда писание текста овладевало этим текстом, и текст, в свою очередь, овладевал им, этим письмом.

В отдельных случаях писание текста отрывалось и зависало, подобно летучей мыши или неподвижному тексту мерцающего экрана, и в таком перевернутом состоянии раскапывание становилось закапыванием, поиски истины, *которая всегда сокрыта*, сокрытием этой истины, имитацией этих поисков, способом затемнения этой истины и выстраиванием на пути ее раскрытия непреодолимых преград.

В этом был свой особый смысл, и здесь Искандера его тонкий нюх охотника за черепами никогда не подводил.

Меняя кожу, змея и луна тоже испытывают некоторые чувства, скорее всего, их можно было бы описать, и, подобно тексту ожерелья-послания, они всегда оказываются прочитанными. Главное — не спутать

описание этого процесса с самим процессом; новая истина будет восстанавливаться из нового текста.

И в том случае, если речь идет о создании нового текста, имеющего в себе и свойства текста Искандера и ювелира, этот процесс вполне может быть описан идеальным наблюдателем.

Здесь уместно подумать о причине, казусе

Здесь уместно подумать о причине, казусе природы, создавшей такую форму, небольшое утолщение в одном из слоев головки лука, жизненное пространство двух взаимодополняющих текстов. Стоит вспомнить, что в геополитическом смысле изначальный текст существовал в виде записей синей тетради, с зарисовками, относящимися к следам пребывания в этом краю в древности человеческих существ, представителей цифровой цивилизации, о которых мало что известно, кроме того, что они поклонялись солнечному кругу, верили в переселение душ, исповедовали отъявленный дуализм и пытались найти смысл жизни в следующем существовании.

События природного и исторического характера в их дуалистическом переложении истолковывались ими как основа устройства характеров людей и их проявлений в жизненных ситуациях.

Этот принцип и был учтен при создании этих двух текстов. Ближе всего к имитации дневниковой записи в синей тетради текст ювелира, так как логически (с точки зрения его собственной логики) этот текст имитирует рассказ о событиях без какой бы то ни было рефлексии или попытки эти события комментировать.

Этот тип письма действительно совершенно лишен рефлексии даже по отношению к себе, но далеко не лишен чувства эйфории и восторга от окружающей действительности и передает внутренний трепет рассказчика даже при описании природных явлений и ландшафтов.

Предположительно текст в таком виде существовал определенное время, и этот отрезок времени мог быть достаточно длительным; обрывы письма происходят вовсе не тогда, когда описывается попытка выбраться из заклятого восточного города, и не на горном перевале, и не при прохождении *Ворот*, которые никак нельзя было миновать, не попав при этом в сумеречную полосу неопределенности, что сразу же сказалось в двусмысленности некоторых моментов рассказа, принимающего причудливые формы в попытке передать ощущение тупиковой ситуации, чреватой безграничными возможностями.

На самом деле, при внимательном чтении текста становится ясно, что обрывы текста генетически связаны с образом пустынного ветра, налетающего со стороны сопредельного государства дурным ветром «ямон шемал», к которому оказался столь чувствителен текст повествования.

Поэтому, если вернуться к образу луковицы, то эта конструкция, столь сходная с трехмерным изображением Глиняного Холма, может служить также и моделью для выявления структуры самого повествования.

Текст ювелира, если к нему применить многократно скомпрометировавшую себя при подобных попытках доктрину расчленения душ (так она названа в «Зачарованной вершине», литературном субституте «Волшебной горы»), – это следующая проекция изначального текста из синей тетради; он внезапно и как бы ниоткуда появляется в повествовании и сразу начинает разрушать изначальный текст, фрагментировать его, заводить в тупики и ловушки, обрывать, выстраивать новые смысловые связи в разрывах при помощи вымысла в вымысле, делать этот текст объемным, организуя в нем внутренние пустоты, черные дыры, зияния и темноты, назовем их, вспоминая о литературе отечественной, *темными аллеями*.

Таким образом, если доктрина расчленения и применима к изначальному тексту, то текст ювелира, эта

проекция, подобная джину, выпущенному из бутылки, перепрыгнет через диалект (эту речь простонародья, на которой общались между собой некоторые герои повествования), для того чтобы показать полную невозможность общения на языке (не потому что в момент происходивших событий были утрачены все коммуникационные коды, а потому что их не существовало *a priori*). Поэтому об этой истории остался только зафиксированный на письме рассказ, само повествование, увязнувшее в геометрической культуре, одинаково чуждое и Востоку, и Западу, но несущее на себе следы силы, управляющей Порядком и Светом, благодаря которой всё всегда куда-то движется, в том числе и это повествование.

В какой-то момент местные духи собрались вместе и, забыв прежние распри, поднатужились и ополчились на человека, вселенской загадке и мере всех вещей; песчаная буря достигла своего апогея, потолок-любви-предел, наконец, сорвался, и заботливо выстраиваемое на протяжении стольких страниц повествование рассыпалось на тысячу фрагментов, и их обращение стало подобно броунову движению беспорядочно перемещающихся частиц, все концы ушли в воду, возник этот мерцающий текст, чтобы спутать всё и заполнить собой всё пространство письма, – столь неистовой была эта сила отрицания ранее сказанного.

Начался хаос сумеречной полосы. Было полнолуние, и луна, подобно змее, меняла кожу.

Текст Искандера написан значительно позднее, говоря о сроках создания самого повествования (по неточным подсчетам, растянувшегося на несколько десятилетий), и является своеобразной интерполяцией, неразрывно связанной с ним, поскольку дуалистическая доктрина, которой придерживались представители цифровой цивилизации, каким-то образом в создании этого двухголового ацефала должна была отразиться.

Но было бы ошибочно считать создание обоих текстов механическим противопоставлением определенного набора личных качеств героев: эти порождения авторского вымысла никогда не могли бы существовать в отрыве друг от друга, они действовали внутри единой структуры и представляли собой разные ее грани; текст ювелира не мог отчаиваться без текста Искандера, а текст Искандера не мог надеяться вне текста ювелира.

Было бы заблуждением воспринимать этот двойной текст как последующую проекцию авторского текста или как нечто, возникшее из хаоса и организующее самое себя; этим двойным текстом, если уж вводить такую терминологию, была двуединая, но цельная проекция, подобная утолщению внутри луковичного слоя, некое странное и двусмысленное единство, без которого текст повествования мог дойти до полного отрицания самого себя, – утратив свою опоясывающую сущность, знак солнечного круга превратился бы в *Nakenkreuz*, что было бы чистым разрушением и более ничем.

Вспомним, что в путешествии внутри этих проекций, происходящем как по ту, так и по эту сторону *Ворот*, можно было видеть, как события отражались в зеркале заднего обзора, в частности, сюжет о принцессе Роксане, дочери Дария III, и что в машине, кроме зеркала заднего обзора, были и другие. Одно находится слева от водителя и называется просто зеркалом, сколь бы парадоксально это ни звучало, а другое – справа от сидящего рядом.

Установив этот чисто технический факт, можно сказать, что при подъезде к перевалу, или *Воротам*, двое героев нашего повествования находились в машине, едущей по горной дороге (не пешком же им, в самом деле, было идти), и то, что они (или кто-то из них) видели впереди, скорее всего, совпадало с линией горизонта; в противном случае они могли бы видеть только то, что выше, или то, что ниже, или всё сразу, но это уже не было бы естественным видением,

а было бы, скорее, искусством видения, процессом достаточно искусственным, а следовательно, произвольным, зависящим от многих причин, в том числе и от того, с какой ноги утром встал один из героев.

Положение человеческого тела в пространстве и, в частности, органов зрения, естественным образом соотносилось с окружающим пейзажем, с отрезком дороги, по которой двигался автомобиль.

Если следовать такой геометрии, то выражение глаз любого героя повествования, отражающееся в зеркале по мере появления различных предметов и существ на проселочной дороге (перечеркнуть), на шоссе или на горной тропе, меняется в зависимости от степени его готовности к этим появлениям, а если вспомнить о чувствах, которые тот мог испытывать, как утверждает рассказывающий, вплоть до полного отсутствия таковых (раскаленного бесчувствия), что также может определять особое состояние сознания, о котором многие мечтают, но никто не может точно сказать, что же это такое, и для чего более всего подходит определение *что-то вообще*, то это зеркало, расположенное перед водителем и перекрывающее часть набегающей дороги таким образом, что в движущемся пейзаже образуется как бы еще одна убегающая дорога, другое пространство, но отличное от первого, двухмерное, а трехмерным его может сделать только крайне богатое воображение, особые технологии (+ время); так этот второй, въезжающий в привычный пейзаж как плоскостной фрагмент иного текста, возникает и пишется в этом пространстве, одновременно являясь и частью реального переживания, и описанием этого переживания, а герой повествования, смотрящий в это плоское зеркало, одновременно находится и в описании, и вне его, то есть его взгляд прошивает эти *Ворота*, а тело в то же время проходит высшую точку над уровнем моря горного перевала, и если и далее двигаться этим путем, то можно говорить об одновременном существовании в виде плоскостного зеркального изображения простой дневниковой

записи в синей тетради, представляющей собой образец аутической речи, аутентичного внутреннего текста, с большим кайфом созерцающего отражение собственного взгляда, теряющегося в образах повествования, а следовательно, в обретающей многомерность действительности; если только эта аутическая речь не низведена до степени полной деградации как формы, так и содержания, в противном случае идея самой пустоты как идеального *чего-нибудь вообще* погибла бы, не успев увидеть свет; словом, если эта аутичность аутентичного текста, существующая при помощи этих двух зеркал, тщи́лась бы заявить о себе как о пределе этой самой аутентичности, таящейся от взгляда другого, но свободно передвигающейся в пространстве текста, следуя собственной логике развития, которая поддерживается благодаря силе, управляющей Порядком и Светом, как единственной возможностью с этой логикой совладать.

В повествовании аутентичный текст прерывается, возникают его младшие бодхисаттвы, пользуясь терминологией одной из доктрин, составляющих этот эклектический компот, в котором плавают три периода текста повествования: эти получеловеческие существа выявляются в образах литературного агента К., которому приходится отслеживать изменение состояний сознания персонажей под воздействием различных стимулирующих эти изменения средств, в том числе и *глотков горячего зеленого чая*, многократно упоминаемого яблока, контаминированного культурой, что приводит к способности этих персонажей описывать процессы, лабиринты, превращения и прочие метаморфозы, происходящие со старшими бодхисаттвами, составляющими тексты основного текста повествования.

Разнообразные комбинации, ведущие к возникновению всё новых и новых искусственно созданных существ, в предыдущем отрывке названных «младшими бодхисаттвами», можно было бы, если двигаться в нужном направлении, продолжить и ввести бодхисаттву-

киборга, или старшего бодхисаттву-киборга, так как в повествовании персонажи достаточно строго иерархизированы в том смысле, что одни из них что-то совершают, а другие наблюдают за этим, рассказывают о том, что происходит, и объясняют, зачем и почему это происходит, то есть берут на себя роль скриб-толкователей, которые, как и положено киборгам, не имеют собственных чувств, отчего их интерпретация чувств персонажей другого, более низкого ранга, будет созданием искусственным и в силу этого произвольным, то есть просто компьютерной программой, чем и является Глиняный Холм, в большей степени отвечающей *чему-то вообще*, нежели конкретной задаче, например, описанию и толкованию формы и содержания чувств отдельного персонажа.

На этом стоит прервать рассуждения по поводу наличия или отсутствия возможностей для интерпретации аутической речи при помощи речи аутентичной, что под силу лишь таким совершенным созданиям, как бодхисаттвы-киборги младшего состава (чем младше по званию, тем совершеннее).

Углубляясь в проблему возможностей этих искусственно созданных толкователей, можно, при столь усложненной системе исследования трехмерного текста, созданного компьютерной программой «Глиняный Холм», упустить из вида то, что сама логика создания текста, даже аутического, но развивающегося всё-таки по законам той же логики, еще предполагает и четвертый период, где эта аутическая речь всплывет на поверхность, хотя для нее такие действия подобны выходу человеческого существа в открытый космос.

Если принять во внимание, что в недрах исследуемого объекта скопилось столько горючего материала: воды, земли, воздуха, огня, – это неминуемо наведет на мысль, что когда-нибудь эти субстанции вступят друг с другом во взаимодействие. Ради самоотрицания они перейдут в нематериальное состояние, и в четвертом периоде текста, пройдя это

преображение огнем и выяснив, наконец, отношения между добром и злом, закончат свое существование в пламени вселенской катастрофы.

Для четвертого периода текста в повествовании осталось не так уж много места, поэтому подвести дело к обрушиванию Глиняного Холма и выхода из строя компьютерной программы, пишущей современные романы, придется в предельно сжатые сроки.

Что было бы несправедливо. Вот так, просто, ни за что ни про что, задержав занавески или задраив иллюминаторы, или одним движением нажав на пусковое устройство, совершить акт вандализма, не пожалев младших бодхисаттв, так как они, как недовоплотившиеся существа, в момент вселенской катастрофы застрянут в окнах Черной Чайханы, где и будут пребывать до срока, который может растянуться на столь неопределенное время, что на земле успеет еще много чего случиться, и в этом малопочтенном месте возникнет еще не одна цифровая цивилизация.

Глава двадцать третья

Открытие вселенной из слов, лишенной всякого предела

Трехмерное тело текста (+ время), возникшее в результате действия силы, управляющей Порядком и Светом, представляет собой систему принуждения, и для того чтобы докопаться до ее неделимого ядра, *чего-нибудь вообще*, записанного в синей тетради рассказа, о котором так часто упоминается, придется определить эту систему как определенное состояние сознания.

В предыдущих описаниях слежения за созданием текста при помощи зеркал, где изображения событий перекрывали друг друга, и в зависимости от степени

перетекания этих образов из одного зеркала в другое в них отражались то глаза человеческого существа, то текст в виде возникающего за окном пейзажа, который оказывался то по ту, то по эту сторону *Ворот*. Сама мысль о том, что в момент прохождения этих *Ворот* текст повествования, утратив свое трехмерное измерение, то есть длину, ширину и высоту (+ время), отказывается от самого себя и приобретает свойства самих *Ворот*, словом, оказывается в пустоте и сам этой пустотой становится, приводит к тому, что открывается пространство, лишенное всякого предела, где может разыгаться всё, что угодно, например, песчаная буря, в описании которой происходит уничтожение *времени* текста, и это явление устанавливается как препятствие его дальнейшему движению, когда невозможно покинуть ни один из его отрезков пути, не попав при этом в какую-то совершенно невообразимую, вне всякого времени, историю.

В этом пространстве, лишенном всяких пределов, духи, собравшись вместе и поднапрягшись, могут так разойтись, что всё перевернут вверх дном, всё смешав в доме ювелира да и в сопредельных пространствах в единый клубок из оторванных рукавов Альбертины, молодых женщин с кошачьими фамилиями и самого ювелира, соседей, друзей и знакомых, закружив всех вместе с их текстами и окунув в средневековый колодец, который обладал свойством завладевать не только взглядом, но и имуществом, превращая его в ничтожную тряпку, в вещь последнего разбора, когда-то входившую в общение с телом человеческого существа, в прямое, непосредственное и естественное соприкосновение с этим телом, *прекрасным, как землетрясение*.

Эти же сорвавшиеся с цепи духи портят чертежи, зарисовки, записи в синей тетради, превращаясь в других периодах текста в компьютерный вирус «Альбертина», парализуя все прочие системы, оставив, однако, надежду на то, что отдаленные потомки представителей цифровой цивилизации найдут

возможность восстановить истину, *которая всегда сокрыта* в недрах любого образа, состоящего из сплошных черных дыр и разрывов, чем является любой неуправляемый поток болтовни, рано или поздно дошедший до своих пределов – простых рассказов о простых вещах или молчания.

В этом пространстве, лишенном всяких пределов, в любой момент верх и низ могут поменяться местами, потому что еще никто не доказал, что для тех, кто созерцает, зависнув под потолком, более удобно созерцать, стоя или сидя на полу, – и вообще, способ созерцания во многом зависит от типов построек и архитектурных традиций.

Возможно, что самым близким и удобным для рассматривания любого места станет потолок-любви-предел, так как, оказавшись под этим потолком, всегда можно найти на полу (глиняном, деревянном или каменном) какой-нибудь отражающий предмет: небольшую лужу от пролитого зеленого чая, почти прозрачного и схожего с водой, так как золотистая окраска этого сорта чая может лишь существовать как видимость или оказаться таковой при идеальной заварке (а цвет и вовсе может оказаться несущественным, так как, при соблюдении правильной технологии заварки, чем меньше цвета, тем крепче чай); осколок или осколки разбитого зеркала (или стекла), или даже глаза человеческого существа, поднявшего свой взор к потолку.

Той же отражающей поверхностью может оказаться отполированный до блеска задами обывателей плоский камень, что находится на пустынной площади рядом с возведенной на ней сорокашестиметровой башней; взглядевшись в этот камень, можно увидеть много интересного; не следует также забывать, что над танковой колонной, движущейся с погашенными огнями и без опознавательных знаков, зависло трансцендентное небо, которое в каком-то плане является одновременно и поглощающей, и отражающей поверхностью, пределом всякой поверхности и

смыслом, заключающимся в преодолении всякого смысла.

В этом месте текст, прошедший все мыслимые и немыслимые спуски и подъемы, обеспечивает себе дальнейшее существование при помощи 3DS программы «Глиняный Холм», сжимается в точку и записывается в пустоте белого листа бумаги, заправленного в пишущую машинку, или исчезает в пустоте мерцающего экрана.

Последнее лингвистическое чаепитие

Оно происходит в пустоте, неотъемлемой от представления об овладении языком; хотя и следует признать, что изобразительный язык не достигает уровня совершенной эксплицитной коммуникации, – этот регулятивный идеал присутствует в деизигнативных теориях значения...

Агент К.: Чем была для вас проблема произнесения слов?

Собственно, никакой проблемы не было. Помнится, в тексте неоднократно речь шла о том, что на многочисленных лингвистических чаепитиях, когда (несмотря на то, что далеко не все их участники учились в одном из лучших университетов мира, а некоторые и говорили-то лишь на диалекте, половина же из них просто не понимала друг друга) речь шла об особо извращенной форме вербального распутства, называемого словоблудием, и наши герои трепали языками о пресловутом обмене телами, в реальности же они боялись друг к другу прикоснуться, а если такой телесный контакт в силу каких-то форс-мажорных обстоятельств и случался, то им обоим в этот момент чудилось, что горы, синеющие на горизонте, вот-вот сомкнутся, превратятся в клочущий огонь, небо треснет и через него хлынет тьма, а светила небесные потемнеют и

прольются потоками расплавленного металла, и всё исчезнет, а сами они вознесутся в огненном вихре вселенской катастрофы.

В этом смысле можно говорить не только о катастрофичности их взаимоотношений, но и о настоящей катастрофе языка, одна из причин которой заключается в том, что наши герои были детьми разных культур.

Призрак вселенской катастрофы как наказания за соблазн самой мысли по поводу обмена телами витал над ними как образ высшего блаженства и страшного проклятья, однако и то, и другое должно было полностью разрушить существующий порядок вещей, что в результате и произошло. Поэтому проблема тела, хотели они того или нет, переводилась в проблему языка, что совершенно недвусмысленным образом вело к дальнейшему сокрытию истины, а во все не к ее выявлению, чему и служили все покровы, с неизбежностью возникавшие вновь, — стоило только упасть последнему, на его месте тут же являлся следующий: ногти и ладони, окрашенные краской растительного происхождения; рисунки и носящие магический характер и отвращающие нескромный взгляд надписи на незакрытых одеждой частях тела; солдатские ботинки; длинное темное платье и шаль местного производства, в которую можно было закутаться до самых глаз. Даже факт отрезанных в конце концов волос служил тому же: это должно было сделать внешность девушки, с одной стороны, менее привлекательной, а с другой, уподобившись мальчику, она что-то этим хотела Искандеру сказать.

На всем протяжении текста нет ни одного намека, который пролил бы свет на то, как выглядела девушка-переписчица древних текстов, разве что где-то вскользь говорится о ее голосе, о том, что он был слегка глуховат.

А много ли нам известно, как выглядел ее постоянный собеседник, который якобы на ее родном языке *и двух слов связать не мог*, ее проводник в зеркаль-

ный лабиринт геометрической цивилизации (а ведь о ней тоже идет речь, а мы даже не знаем, принадлежал ли он к ней сам); предполагается даже, что он как будто находился с девушкой в некоем духовном родстве: она была приемной дочерью муаллима, а он — его любимым учеником.

Во всех периодах текста подчеркивается, что в этом любимом ученике не было ничего особенного; и если попытаться собрать по кусочкам его облик, то кроме кошачьей улыбки и маленького шрама на подбородке да иссиня-черных волос и более темной, чем у других его соотечественников, кожи, о его физическом облике ничего не известно. Это много или мало?

Его тело навсегда скрыто под рабочей одеждой, и его волосы, иссиня-черные и блестящие, возникают скорее в сценах, относящихся к описанию сюжетов фресок или рассказу о восхищениях-умалениях плоти странствующего дервиша-ювелира, идеального художника, артиста и танцора, текстового двойника Искандера.

Оба этих тела — и девушки, и ее друга-историка — никак не поддаются оплотнению. Так что об обмене телами только назойливо болтали языки этих тел, словно неприкаянные души грешников.

Агент К.: А как возникла поэтическая проблема?

Она связана с проблемой произнесения слов, для ее решения был выбран нейтральный и наукообразный язык, который зашифрован в тексте «Глиняный Холм», она же по замыслу представляет собой компьютерную программу, подчиняющуюся задаче, поставленной ее разработчиками (эти взрослые дети время от времени развлекаются дебильными компьютерными играми: они поднимали в воздух и роняли на землю самолеты, запускали томагавки и кидались друг в друга драгоценными камнями из ожерелья-послания принцессы). Неспособность героев говорить на одном языке, доведенная до абсурда

(вспомним, что Искандер *на ее языке и двух слов связать не мог*, – но что находится между этими двумя словами?), означает если не полную немоту, то всё тот же крах языка, однако это не исключает, что в пространстве текста, бесконечного и порождающего самое себя, может обнаружиться какой-то нейтральный и искусственный, почти что машинный язык, состоящий из фрагментов других, параллельно существующих, разрушающихся и вновь создающихся языков. Один из таких языков и есть язык паралитературы, где образная система и обслуживающий ее язык создаются по принципу *апофатиса* – не то, не то и не то... а *что-то вообще*.

Но именно этот машинный язык, на котором так и не удалось общаться друг с другом приемной дочери муаллима и любимому ученику, хотя порознь, рассказывая о событиях и давая им собственное истолкование, они доходили до таких тонкостей, что в конце концов возникало подозрение, что каждый из них проговаривал эти тексты на своем языке, – этот язык подразумевал, что у любимого ученика, в определенном смысле, даже были свои преимущества: он владел в рамках своей культуры языком и диалектом. Диалект, отождествляемый с речью, мог стать аутентичным языком чувства, а его язык – аутентичным способом описания этого чувства.

У приемной дочери таких преимуществ не было; ее родной язык стал равноценен машинному тексту, создаваемому программой «Глиняный Холм», а языком культуры любимого ученика она владела не достаточно хорошо, что могло означать только одно: оба они *не владели контекстом*.

В неумелой попытке противостоять его воображаемым притязаниям она говорит языком мистики, что он понимает как нежелание вступить с ним в мир реальности, представший в образе вселенского каравансарая, куда, как ей показалось, он ее приглашал, а ей хотелось войти с ним в чертоги небесные – рука об руку – высокорожденной с высокорожденным, а раз-

ве он не хотел того же самого – он просто не знал, какими словами ей об этом сказать...

Короче, поэтическая проблема свелась к невозможности эту проблему даже поставить. Естественные чувства не могут выражать себя на искусственном языке, они могут лишь обнаружить возникшую проблему.

Агент К.: Как эксплицитная коммуникация с историческими реалиями выражается в объектно-субъектных связях? Откуда аналогии?

Единственная сноска, которую стоило сделать в этом тексте (не следует забывать, он всё-таки создан в расчете на идеального читателя, потому что направлен, как уже говорилось, на дальнейшее сокрытие истины), – это объяснить, почему собственное имя героя метаморфозы пишется не «Грегор», а «грегуар», да еще с маленькой буквы. Объяснение этому довольно простое: рассказ «Превращение» был впервые прочитан автором этой книги во французском переводе, где имя звучало как «Грегуар»; пишется оно с маленькой буквы потому, что в контексте косвенной характеристики персонажа это обозначение второго я, или внутреннего человека первого, которое может не только не совпадать с персонажем, но иногда представлять собой его полную противоположность, – и еще по чисто фонетическому созвучию с «гримуар», то есть сборник заклинаний: ведь главные герои Искандер и его подруга в определенном смысле оказались пленниками не только заклятого восточного города, но и самого языка...

Отсылки к «Зачарованной вершине» и всевозможным поискам утраченного и обретенного времени, равно как и к девушкам и молодым женщинам с кошачьими фамилиями достаточно прозрачны.

Суть этих отсылок одна: все мы слишком заняты собой, чтобы думать о других. Пока приемная дочь и любимый ученик возвышенного старца, муаллима,

отсиживались вверху, в небесных чертогах Глиняного Холма (где в овальной зале для церемоний хранителей высшего знания цифровой цивилизации писался трансфинитный текст, который, возможно, и в эти минуты еще не закончен), внизу – здесь, на земле, танковая колонна без опознавательных знаков и с погашенными огнями входила на территорию независимого государства, а на центральной площади столицы этого государства один из его граждан возносился в трансцендентное небо в огненном вихре.

В чьем сердце стучит сегодня его пепел?

А разве в не столь уж отдаленном будущем та же самая колонна не прошла по стратегически важному шоссе с прекрасным покрытием и, миновав *Ворота*, не очутилась *по эту сторону*?

Разве о поцелуе шла речь или даже о чем-то совсем уж «таком», когда приемная дочь муаллима задала вопрос некоему военному служащему: «Ведь ты никогда не сделаешь этого?»

И однажды, оказавшись со своим спутником на берегу горной речки, услышав странный и короткий звук, совпавший со вспышкой света, она поворачивается и уходит, потому что не на что стало смотреть.

(Между прочим, голову так и не нашли...)

Агент К.: Откуда сходство между речью и живописью?

В повествовании существует несколько чисто женских духов, которые в четвертом периоде текста называются «младшими бодхисаттвами», вспомним: дух принцессы, ужасной невесты, духовный облик которой еще как-то с трудом можно себе представить, но физический вряд ли подлежит восстановлению; дух лисицы, забравшейся в некрополь и не сумевшей из него выбраться; голос треснувшего зеркала (служанки).

Эти сущности внимательно следят за всеми нюансами взаимоотношений приемной дочери и люби-

мого ученика и телесным выражением их чувств, хотя в тексте они сведены к минимуму. Словно заключенные в платоновскую пещеру, эти сущности видят отражения внешних по отношению к ним событий, как бы происходящих на поверхности экрана: так, в сцене, где эти двое, Искандер и его подруга, совершают совместную трапезу, они видят древнюю фреску, на которой изображена сцена свадебного пиршества и будущий супруг подносит невесте чашу с соответствующим торжеству напитком.

Ну, разве не понятно, что за тексты переписывала девушка для муаллима и какие миниатюры она перерисовывала?

С древних времен в этом регионе, несмотря на строжайшие запреты и порицания нравственного характера, в определенных кругах, как правило, в среде образованных и состоятельных людей, ходили списки поэтических произведений эротического содержания, иллюстрированные соответствующими миниатюрами. Некоторые из них представляют собой настоящие шедевры.

В тексте есть намек на то, что все эротические сцены заменены описаниями аналогичных сцен в произведениях искусства. Но дальше сцены свадебного ритуала, описанной весьма бегло и поверхностно, дело не пошло. Очевидно, у представителей цифровой цивилизации были свои эротические пристрастия, не подлежащие распространению в виде текстовых или графических улик. Правда, во время очередных приступов безответственной болтовни по поводу обмена телами наши герои, знающие о существовании свидетельств этих практик, на них ссылались.

Агент К.: Чем прозрачнее наш язык, тем эффективнее символические системы. Что можно сказать по этому поводу?

В повествовании постоянно разрабатывается тема чаши, предназначенной для ритуальных действий.

Естественным образом предполагалось, что в ней содержалась некая особая субстанция, под воздействием которой язык описания становился прозрачным, то есть переставал быть раздвоенным, как у змеи в истории с глухонемым копиистом, превосходным стилистом-интеллектуалом, но этой языковой прозрачности он достигал, переходя в другое языковое пространство, что для него было равнозначно языку технологии. Стоит вспомнить, что именно он пишет на стене простую истину: «Я ненавижу его, я его враг». Это, по сути дела, речь ненависти, и с этой ненавистью можно встретиться, ей можно взглянуть в глаза, как в заклятом восточном городе можно встретиться с собственной смертью; за чашкой горячего зеленого чая обсуждается проблема обмена телами (здесь нет запретных тем!), обмена, состоятельность которого в реальности остается всё еще под вопросом. А если вспомнить, сколько сил потратил Искандер, чтобы приемная дочь муаллима приняла его желание отправиться в долину Багряной Реки за свое собственное, так как он сам больше всего хотел быть *видимым*, его соблазн и страсть должен был пережить и передать адекватный, нет, идеальный свидетель, и этого свидетеля надо было найти, обнаружить, вычислить, выследить, провести через символическую систему кодов и знаков, которые в дальнейшем создадут текст, записанный в синей тетради.

Многоуровневая программа «Глиняный Холм» этой прозрачностью обладает в том смысле, что, как любой машинный текст, она выявляет кухню, так как работает не с отдельными образами, а с системами и взаимодействием этих систем. Поэтому она как бы является наследницей всех мифологий, и в ней словно актуализируются достижения потомков предшественников цифровой цивилизации, поиски следов которых осуществляли герои повествования. Другими словами, здесь будущее становится прошлым, а прошлое – будущим.

Агент К.: Можно ли сказать, что сообщение и средство, как сигнификат и сигнификант, образуют единое событие?

Таким примером, приближающимся к описанию мистического опыта (по крайней мере, его внешней, телесной и артифицированной стороны), может быть очередной «за-ход» ювелира – так называли события, друзья, соседи и прочие свидетели некое состояние ювелира, когда дух его был *восхищен*.

Прикрываясь своей ролью платного танцора на праздниках, он, по сути дела, занимался духовными практиками, получая от движения тела (что в это время происходило с его духом, может рассказать лишь он сам, да и то, если захочет) мистический опыт экстаза.

Можно привести описание многочисленных сцен, где он говорит словно по наитию и если и делает что-либо лишнее, на первый взгляд, всякого практического смысла, то потом выясняется, что это и было выстраиванием самого единого события его реальности.

Если он немного и напоминает замечательного средневекового мистика, кому повиновалась всякая вещь, умученного в конце концов современниками-мракобесами, то не до такой же степени... В жизни и смерти этого мистика означаемое сливалось с означающим; многие соотечественники были недовольны тем, что он разглашал мистические тайны непосвященным. Однако в случае с ювелиром до этого дело никогда не доходило, хотя в одной из описываемых сцен он тоже хотел пострадать, дабы испытать страстную любовь к ближнему, отчего и просил окружающих врезать ему покрепче и посильней, что иные, пользуясь случаем, и делали.

Агент К.: Экспрессивное значение жеста отказа от жеста: как оно соотносится с идеей постоянной отсылки к изначальному тексту?

Та драматическая прозрачность языка в ситуации беседы по электронной почте (чем эта переписка с глухонемым копиистом могла бы стать через несколько десятилетий) дала возможность создать внутренний текст, в котором визуализировался в начале повествования, в той его части, где описывалась некая комната с письменным столом (который, скорее всего, стоял посредине), заваленным всевозможными справочниками, с брошенными в углу солдатскими ботинками одного размера, но от разных пар, и отрезанной косой, – какой-то внутренний опыт.

Изменение внешнего облика, его редукция к знаку (не случайно ювелиру девушка задает вопрос: «А что, если мне отрезать волосы?», хотя стоило бы задать его иначе: «Что, если мне отрезать себе язык?») знаменует собой стремление от чего-то отказаться или, напротив, совершить революционный прорыв.

Этот жест отказа (так как в реальности волосы так и не были отстрижены, правда, в комнате была то ли коса, то ли парик) соотносится с радикальным жестом прямого действия – демонстрацией отказа от внутреннего текста как разновидности внутреннего опыта.

Существующий на большом количестве носителей – листках, вытасненных из корзинки для мусора, обрывках бумаги и даже записанный на коробках из-под сигарет, не говоря уже о надписи на стене: «Я – его враг», – этот текст не просуществовал и нескольких часов – всё было вынесено во двор и сожжено, а надпись со стены смыта при помощи ведра воды и мыльного порошка. Значит, этот текст был сознательно уничтожен и нигде и никогда не восстанавливался.

Вспомним, что Искандер на следующий день приехал на своем рыдване за приемной дочерью муаллима, и она не могла не оценить этот жест; она отказывается от текста ночного кошмара в пользу общения с ним в дневном режиме, то есть готовится к следующему бегству от него (и от смысла). Ее ночной текст взлетел в трансцендентное небо в виде снопа искр.

Агент К.: Могут ли жест и эмоциональное выражение, а не слово или имя использоваться в качестве экспрессивного знака?

Что и происходит несколько раз, из чего можно привести самые яркие случаи. Например, эпизод под названием «Для кого эти змеи?».

Согласно толкованию Беса, вся история со змеями была развернутым и многоступенчатым объяснением в любви.

Любые другие слова нежности, произнесенные на языке девушки, объекта этих возвышенных чувств, не были бы услышаны. Ведь они могли быть лишь *взяты*, заимствованы из словаря чужого языка.

Пример тому – лингвистический афронт со словом «милая» (из словаря муаллима); оно было не только не услышано, но и поставлено в ряд чего-то обыденного и банального: «Так можно обратиться к любой девушке, и в этом не будет ничего плохого...»

Это оказалось не только языковой оплошностью, но и грубым нарушением этикета. Что значит «ничего плохого»? Или словесные подтверждения любви могут быть поняты только на языке любви? Или – их просто не существует в природе?

Да Искандер скорее бы умер, чем произнес эти слова на ее языке. Этот ее язык, сколько он бед ему принес, да он был готов забыть его и с корнем вырвать, этот ее язык.

Ничего плохого? А философ? А сорокашестиметровая башня, с которой, по слухам, кто-то шагнул в пустоту? А тот, кто расстался с жизнью при помощи устройства, имитирующего зубы гюрзы или кобры, вколов себе смертельную дозу яда, нет, не в придуманной «Зачарованной вершине», а в реальном романе «Волшебная гора», сочиненном германским сновидцем? А комбинированное самоубийство, когда был сделан пробный выстрел в книгу? Тело этого персонажа до сих пор еще не получило имени, не

было найдено, а рассказ о нем до сих пор существует в виде файла.

Разрубленное тело змеи, следы крови, рядом – киркомотыга, на Искандеровом диалекте называемая «кетмон».

Остается проблема имени.

Ювелир не знал, как ее зовут. Искандер знал, что муаллим ее называл «милая», но это *нормальное обращение к девушке, ведь в нем нет ничего плохого...* – А из своей джан он бессмертную душу был готов вытрясти во время езды на мотоцикле сторожа арбузного поля.

Никто из героев не называл ее по имени, знали ли они, как на самом деле ее зовут?

А что же произошло тогда, в ту ночь в караван-сараях, отвратительном и грязном, как мир, от которого каждый из них спасался, как мог: он – в добровольном затворничестве на Глиняном Холме, она – в фантастическом зазеркалье синей тетради. Что же всё-таки случилось тогда?

Она еще посидела во дворе гостиницы, выкурила сигарету, вошла в небольшую комнату с телевизором, который, очевидно, отключился уже навсегда, и увидела сияющее белоснежными простынями ложе *греха и порока* – словно заснеженный зимний пейзаж.

Она снимает с себя одежду, проскальзывает в прохладные чистые простыни и накрывается с головой.

Впрочем, доподлинно известно, что Искандером на Востоке называли греческого завоевателя, который прошел через *Ворота* в область, называвшуюся на языке восточного историка Искандера *по ту сторону этой стороны*.

Но они-то, они почему-то всегда оказывались *по эту*.

Агент К.: Всегда ли экспрессивное значение подается в комплексе ценностей верований, эмоций и восприятий, воспоминаний и ожиданий?

Этот комплекс далеко не однозначен, однако в нашем случае лишен артикуляции. Как это ни парадоксально, можно сказать, что в экспрессивных знаках присутствует избыток значения. Почему вопрос о невозможности найти общий язык стал одной из кардинальных тем повествования? Любое эмоциональное выражение является парадигматическим экспрессивным знаком.

Перед тем как отправиться на прогулку в горы, где предполагается встреча с какой-то иной визуализацией программы «Глиняный Холм», действие, когда приемная дочь рисует на своих ступнях тот же самый орнамент, который ей приходилось перерисовывать с фрагмента статуэтки, может стать подпрограммой. Происхождение этих знаков не ясно, кто-то считал их надписью на неизвестном языке, но Искандер говорил, что это просто орнамент, – так или иначе, нанесение этих знаков на ступни, перед тем как отправиться в неизведанную область, приняло характер магического обряда защиты от злых духов и их вредоносных намерений. Делалось это не напоказ, а втайне, и материал был выбран нестойкий – черная тушь, которая при высыхании отвалилась чешуйками. Это присвоение, не предназначенное для разглядывания, но предполагающее, что инициатор прогулки, Искандер, каким-то образом окажется в это посвященным: в палаточном городке почти вся жизнь его обитателей происходила на виду друг у друга, что одновременно было и поводом для коммуникации, и препятствием, так что друг девушки, принесший солдатские ботинки для похода в горы, вполне мог знать, что нарисовано на подошвах владелицы этих ботинок, в конце концов, он даже мог видеть, как она рисует этот орнамент.

Рассказ его соотечественников о жутких обрядах горцев и о дакмах – башнях, где у древних жителей этих мест душа расставалась с телом, – вёлся на диалекте, который приемная дочь с трудом понимала, а по радио в это время сообщалось о расстрелах и казнях среди мирного населения иностранного государства (куда вошла танковая колонна без опознавательных знаков и с погашенными огнями) и о манифестации чувств; кроме того, по радио говорилось, что в связи с этим событием несколько соотечественников девушки вышли на главную площадь столицы. Так возникла языковая проблема, и этот избыток значения сейчас вознесся в ночное небо и завис в нем, как медный таз коллективного бессознательного; но они в тот час были слишком заняты собой, чтобы думать о других, словно в ту ночь на много десятилетий опередили свое время.

Есть символы, которые предназначены не для коммуникации, а для отражения нашего бытия в меняющемся мире; следует отметить, что среди участников демонстрации протеста, вышедших тогда на главную площадь столицы, была женщина, поэтесса.

Агент К.: Мы всё время говорим об экспрессивном значении, действительно ли оно составляет сущность словесного творчества?

Письмо в той или иной степени отражает и раскрывает, как рождаются значения в чувственном опыте. Заключительная стадия опыта письма дает схему для исследования начала процесса восприятия.

Так или иначе, придется возвратиться к треугольнику ненависти, который образуется в повествовании между Искандером, муаллимом и его приемной дочерью. Конечно, несколько пародийным представляется стремление совмещать исследование структуры повествования с мотивами и перцептивным опытом его героев, тем более, что, как уже было сказано ранее, любая попытка открыть первоизданный мир найдет

в предполагаемом первичном пласте значения, привнесенные туда нынешним образом мысли.

Неужели хоть на минуту можно было сомневаться, что Бес в этом, на самом деле, немудреном построении играл вспомогательную роль бодхисаттвы младшего чина, помощника агента К.? Если только не считать того случая, когда они с Искандером отправились на какой-то праздник в соседнее селение, где работала другая археологическая экспедиция соотечественников приемной дочери, и Искандер взял его с собой исключительно с целью воспользоваться его присутствием при непредвиденных трудностях перевода. По возвращению Искандер с Бесом подошли к ее палатке, и Бес каким-то образом оказался внутри; сидя на пороге палатки, он утверждал, что Искандер *сам его туда втолкнул*. Бес сидел и бормотал, что он, дескать, видел развенчанного бога (какого из них?) и не уходил до тех пор, пока она не сказала: «Пошел прочь, вернись вместе с Искандером и сделай с ним то же самое, что он только что сделал с тобой, если то, что ты говоришь, – правда».

Это легко было сказать. Но Бес нашел другой вариант: в тот момент, когда он решился отправиться за Искандером, поняв, несмотря на хмель, что попал в крупный переплет и они оба его неплохо задействовали, он обозлился (а в этот момент общество собралось выпить горячего зеленого чая), подошел к столу и на невинный вопрос Искандера, почему он вернулся один, рассказал всем о том, что произошло, и о том, что его послали позвать Искандера и сделать с ним то, что тот только что сделал с ним.

Кое-кто чуть со скамейки не упал, Властелин Времени, как всегда, выпучил свои дравидские глаза, а Искандер, не допив чай, злобно взглянул на Беса и ушел в свою оранжевую палатку. Кроме данного случая, когда Бес был столь непосредственным образом задействован в повествовании, даже его свидетельства (косвенным образом), поддерживающие отчеты агента К., не всегда несут на себе отпечаток

достоверности. В отличие от тех, кто время от времени делал *глоток горячего зеленого чая*, он беспробудно пил и в каком-то смысле уже достиг полного бесстрастия, в отличие от Искандера, помешанного на своей цифровой цивилизации, или его подруги, соблазненной изящной словесностью.

Агент К.: Давайте выявим два уровня значения: установленное (прозаическое) и установительное (поэтическое). Что можно сказать по этому поводу?

Конечно, изначальный текст отвечает признаку установительного текста, что очень легко ложится на определенный тип компьютерных программ.

Является ли он поэтическим текстом? И да, и нет. В нем большое место занимают описания природы, это своего рода выстраивание словесных ландшафтов; вспомним, что любимый ученик и приемная дочь почти не могли общаться друг с другом при помощи слов, и каждый из этих ландшафтов – это их способ внесловесного общения. Ведь со зрением у них было всё в порядке, и более чем; приемная дочь к тому же в основном общалась с окружающей действительностью при помощи зрения, видения: она же всё-таки жила глазами, ведь она еще и художница. Их не прекращающееся роуд муви и было невербальной проекцией их постоянного, хотя и монологического, почти как аутическая речь, но всё же общения; и хотя их взгляды могли бы встретиться лишь в зеркале дальнего вида, нет никаких указаний на то, что раньше они хоть однажды встретились друг с другом взглядом. За завтраком у муаллима она бессовестно пялится на него, стараясь его смутить, а он отводит взгляд или опускает глаза. Нигде нет описания сцены, где бы их взгляды пересеклись, что могло бы считаться моментом зарождения чувства. И в дальнейшем она, как правило, от него отворачивается, то боясь, что он увидит в ее глазах слезы, то скрывая готовый вспых-

нуть столь пугающий его смех, то не решаясь узнать, посмотрел ли он на нее, выходя из автобуса.

Установленное – прозаическое – значение менее всего относится к описанию различных фактов (охотничьи рассказы об убийстве пары гюрз в большей степени связаны с экологией культуры и мифами – «Для кого эти змеи?», – чем с описанием местной флоры и фауны); прозаическая компонента – это толкование различных периодов построения текста повествования и относится уже к тому, что должно быть записано, прочитано и осмыслено. Очень трудно себе представить, чтобы это прозаическое значение было визуализировано. Примером может послужить эпизод, произошедший в Обители звезд, куда Искандер явился на своем рыдване накануне предполагаемого отъезда в долину Багряной Реки; когда они разговаривали в коридоре, она сидела на подоконнике, а он стоял рядом и, по-видимому, сказал ей что-то вроде: «Там ты получишь всё, о чем ты только мечтаешь», она же в слезах (не следует забывать, что сцена взаимного оболения происходит на фоне похорон учителя философии, ведь они встречаются в городе, чтобы договориться об отъезде, а точнее, бегстве, и попадают на похороны), сидя на окне в коридоре, тупо повторяет: «И бессмертие тоже?».

Похоже, он тогда не понял, о чем она его спрашивала, а может быть, наоборот, слишком хорошо понял.

Однако не будем настаивать на том, что эти два уровня надо исследовать порознь и так противопоставлять одно другому, потому что это противоречит самой идее творчества – легкости поиска первоизданного мира и создания сложного текста о нем.

Агент К.: Может быть, археология, как некий базовый субстрат повествования, была выбрана далеко не случайно? Как это всё соотносится с феноменологической археологией, которая открывает под установленными символическими ходами наличие определенного опыта?

За археологический уровень горизонта исследований отвечает историк Искандер. Его раскапывание слоев и последующее их закапывание вкладывается в значения, направленные на поиски до-предикативного феномена, в котором вещи нам первоначально явлены.

Представим себе такую сцену: после нелепой и пьяной выходки Беса, смутившей всё общество, с напряженным вниманием наблюдавшее за спектаклем, разыгрываемым их соотечественником и чужестранкой, Искандер всё-таки решил объясниться не на символическом, а на вербальном уровне, то есть он просто наконец решился с девушкой поговорить. Он подошел к палатке, позвал ее по имени, и это на нее подействовало, как флейта гаммельнского крысолова на детей: она вышла, они взялись за руки, высокорожденная и высокорожденный, немного походили по палаточному городку, но было слишком темно, и ходить по неровной почве было опасно; кроме того, Властелин Времени так громко храпел, что его палатка в прямом смысле слова ходила ходуном, и они смеялись над ним в темноте, почти не видя лиц друг друга.

Не сговариваясь, они повернули в сторону высохшего оросительного канала и пришли на второе змеиное место, где, по утверждению Беса, был убит «муж» молодой гюрзы.

– Ведь ты никогда не сделаешь этого, правда, ведь ты никогда этого не сделаешь?

С которым из них она разговаривала и о чем просила?

Нажатие ПУСК-кнопки – вспышка – взрыв.

Как вспышка, слова: «Если захочешь, вспомнишь».

Ювелир маленькими ножницами отрезает у нее прядь волос.

– Зачем ты сделал это, Ишмаэль?

– Я хочу, чтобы ты вернулась.

– Я вернусь, я обязательно вернусь.

– Ты только так говоришь...

Утром она пошла в парикмахерскую и попросила однорукого парикмахера (похоже, на Востоке все парикмахеры – однорукие) подстричь ее так, как он привык стричь солдат-новобранцев.

Когда она появилась перед Искандером, держа в руках отрезанную косу, он, взглянув на ее голову, на мгновение лишился дара речи. И только и смог произнести:

– Поэма в камне.

Голову, между прочим, так и не нашли.

Ничего, потом найдут, не шайтан же ее, в конце концов, уволок.

Через некоторое время эту голову можно будет увидеть в витрине одного из самых больших музеев мира.

Девушка лежала у него на коленях, над ними было трансцендентное небо, и если кто-то думает, что у нее в душе был категорический императив, то он не прав.

В душе у нее была пустота.

О чем она думала? О чем думали тогда эти оба?

О благословении небес, которого не было?

Разве можно было заставить эти два тела в подобной ситуации мыслить или говорить мистически или литературно?

Его руки были жестки, а ладони шершавы.

Как это передать на другом языке? Как это пережить в другом языке?

Она думала, стоит ли рассказать ему про пустующий пинакль, где ранее была тантрическая статуэтка, украденная бандитом по кличке Ражд Капур, – в келье ювелира, которого *она так и не нашла*.

Обнимает его за шею, шепчет:

– И Шломо-царь умел зверей понимать, а мы друг друга – нет?

И вдруг Искандер (и как только его язык повернулся произнести такую изысканную фразу), словно проснувшись, говорит:

– Я никогда не держал в своих объятиях такую хрупкую женщину, почти ребенка... – и тут он как-то странно запнулся.

Она понимает: уж от любви им умереть точно не придется; если они и умрут, то она – от смеха, а он – от ненависти.

Ее всю колотило от смеха, без всякого зеленого чая, этот смех набросился на нее, как дикий зверь.

Не стоит ничего ему рассказывать про пустующий пинабль в доме ювелира, тем более что и ювелира-то она *так и не нашла*.

Ты лжешь, если жалуешься на муки любви. Так говорил глухонемой копиист, так говорил учитель философии, так говорил бродячий поэт-экстатик (умученный соотечественниками-мракобесами), так говорил Заратустра и прочие тонкие знатоки и любители всего возвышенного, в том числе и изящной литературы.

Ювелир же об этом сказать ничего не мог, так как не знал мук любви, ибо любил только свое безумие, идеальное состояние, где нет ни объекта, ни субъекта, а стало быть, нет ни проблемы, ни любви.

Оставалось только выяснить, что по этому поводу думал Искандер.

А что к этому мог добавить муаллим, до последнего момента остается не ясно.

Теперь ни один из персонажей, кем бы он ни был, не должен выбыть из игры до окончания повествования.

Напомним: те, кто из игры выбыл ранее, тоже не оказались за пределами текста. Так что, несмотря на соблазн приписать пробный выстрел в тело культуры, со всеми вытекающими из этого последствиями,

муаллиму, это было бы нарушением внутренней логики текста.

Однако ему можно приписать некоторые соображения по поводу не одобряемых им занятий приемной дочери.

Как только ее мысли оказывались за пределами текста и наполнялись видимым, то есть плотским, не одобряемым Законом, Порядком и Светом геометрической культуры (что в какой-то степени относилось к переписываемым ею текстам, так как их содержание было столь прозрачным, что его с одинаковым правом можно было бы приписать и горнему, и дольнему), она начинала создавать мир, которого ранее не было. Искандер оказался превосходным подручным материалом. Ее аутическая, не знающая никаких ограничений речь (а весь текст повествования по сути дела служит аутентичным комментарием и комментарием комментария этой речи) создала из него безостановочный текст.

Если бы муаллим мог слышать, что Искандер обещал его приемной дочери в коридоре Дворца свиданий и сновидений (а зная Искандера, он многое мог предположить), он посчитал бы, что его *у тебя будет всё, что ты хочешь*, не оказалось пустым обещанием.

Если бы он мог видеть (а именно этого он и опасался), как, догуляв отпущенные им несколько часов перед рассветом (и всё это, конечно, произошло в последний день, вернее, в последнюю ночь, а они оба всё откладывали на последний момент, и для дел старых, как династия Плантагенетов, и юных, как нарождающийся месяц, не делали исключения), Искандер берет ее за руку, и в его голове нет ни одной мысли, и ни одно слово ее родного языка не приходит ему на ум, и они идут вдоль высохшего канала, от его бетонных стенок пышет жаром, они доходят до змеиного места, Искандер отпускает ее руку и садится на край канала, спустив ноги в горячую тьму и привлекает ее

к себе, и тут ей опять вспоминается женская половина тантрической статуэтки в келье ювелира, она пытается вырваться, и он едва успевает ее удержать, чтобы не свалиться вместе с ней в бетонный мешок...

Она смотрит на него, *она так на него смотрит*, его лицо странно белеет в темноте, черты его словно растворяются, и ей кажется, что сейчас оно начнет светиться голубоватым свечением, он берет ее за руку, отодвигает плоские часы-браслет, прикрывающие ее запястье, дотрагивается губами до надписи и что-то ей говорит.

И тут ее охватывает этот проклятый неудержимый смех, она зажимает себе рот, всё ее тело сотрясается, это уже почти истерика; они встают, мелкие камешки шуршат, скользя по бетонным стенам высохшего оросительного канала.

Идеальный читатель может придумать любой вариант последней ночи, этого странного свидания в сновидении.

Но, скорее всего, он оставит всё как есть.

Неоконченное и неотправленное письмо Искандеру

Любимый,
может быть, ты не всё в этом письме поймешь, только не проси кого попало помочь тебе с трудностями перевода и не сиди со словарем. Если ты поймешь хоть что-нибудь, это уже будет прекрасно.

С трудом протиснувшись в Ворота, я, возможно, разгадала хотя бы отчасти тайну знака Ворот этих, но тайна самого смысла прохождения Ворот вообще осталась за пределами моего разумения.

Само разумение также представлялось отсутствующим, отсутствующим в обоих мирах: ум мой был призван, а тело не могло поднять головы. Голова моя лежала на кровати, а ноги стояли на полу. Мои глаза смотрели на поблекшую кладбищенскую осоку,

на полуразрушенный водоем, наполненный мутноватой водой.

Голова моя закрывает глаза, кто-то протягивает мне руку: это сторож, он аккуратно, стараясь избежать шипов, отламывает две розы и отдает их мне. Я кладу их в рюкзак и, придя в свое жилище, ставлю в стакан. Они рядом с небольшой книжкой. Я открываю наугад:

...Кто, будучи призван, не может поднять головы?

Да, ведь сторож еще пытался угостить меня ягодами тутовника, росшего во дворе мавзолея. Сооруженного в честь одного великого суфия, умученного соотечественниками-мракобесами, на надгробии которого лежала сейчас моя не желающая подняться голова.

Смотрю вверх, и до меня начинает доходить, что за белые лоскутки ткани колышутся на высоких деревянных шестах.

Другой великий учитель от имени Пишущего Имени однажды повесил собственные великие писания на великих деревьях...

С этой мыслью голова моя наконец отрывается от надгробия, а глаза сияют.

Я смотрю на дерево тутовника, на лоскутки белой ткани, наполненные всеми мечтами, всеми снами, приснившимися людям с сотворения мира, и кажется, невозможно представить себе более идеальной картины Великого Текста Мироздания: грезы тутового дерева. Голова же моя лежала при его корнях.

...Кто, будучи призван, не может поднять головы?

Здесь, в этом месте, во время описываемых событий не было ни капли воды, поэтому вместо целительной прохлады розовых лепестков, оказавшихся в приятной близости от моей щеки, более уместно вспомнить о сухом жаре твоих ладоней. Но это был сторож, который попытался помочь мне подняться с каменных плит.

Теперь, когда я пишу тебе, мне кажется, что момент максимального сокрытия смысла, его затмения (затмения) в описании самого банального и ничего не значащего действия – это всего лишь

возможность, которая, однако, вовсе не подтверждает, что данное событие состоялось; это всего лишь возможность сокрытия этого смысла, этой тайны, опасной, как описываемое сейчас мною место твоей земли.

Подаренные розы благоухали в стеклянном стакане рядом с томиком твоих любимых стихов:

...Ты лжешь, если жалуешься на муки любви.

Плоток горячего зеленого чая, выпитый во дворе дома обыденного; я дотрагиваюсь до шали его хозяйки, я никогда не слышала, чтобы к ней кто-нибудь обращался по имени, все ее просто звали «биби», бабушка, материнское лицо огромного клана, оказавшегося здесь со времен рассеяния, прости, что я перешла на твой, столь тщательно охраняемый от моих вторжений диалект. Бумага всё стерпит.

Я дотрагиваюсь до ее головного убора, накидки, неколебимого небосвода, целого космоса, возникшего под искусной рукой вышивальщицы; в этих шифрограммах, украшающих ткань ее покрывала, истина и добро соседствовали с ложью и злом, и можно было выбрать любое. Знаменья Закона, Порядка и Света на кетонете биби сочетались с символами нищеты и невинности мира: шестиконечные звезды в переплетении сложнейшего растительного орнамента соседствовали с изображением руки, возвышенной душой вашей праведницы, и оказывались в странной близости со сценой соколиной охоты.

Эта накидка, которую еще не всякий мог понять и прочесть, так как ее главный секрет состоял в том, что вышивка была белая на белом и покрывало становилось говорящим лишь под определенным углом зрения и при соответствующем освещении; мне же эти письмена представлялись возможностями раскрытия скрытого за завесой; ночь между сефиротом и имагиналом таила в себе уйму возможностей, кроме одной-единственной: просто спать. И в этой ночи не было ничего, принадлежащего кому-то, не было ничего, на что можно было бы притязать.

Ты понимаешь меня, ты меня хорошо понимаешь?

Так однажды, оставив на полуистертом коврике биби свои одетые мясом кости ужасной невесты, я после глотка горячего зеленого чая вознеслась духом на плоскую крышу ее дома; именно такая ночь четырехтысячелетнего-тому-назад неба альфы огненного Дракона такого вознесения приблизила мой дух к постижению неисповедимой истины любого звездного пути, так как суть заключалась в том, чтобы протиснуться во вполне раскрытые Ворота и тем самым стать духом суетливым и дотошным, то есть человеческим.

Я слышу, как биби зовет меня ужинать. Я пытаюсь рассказать ей о путешествии к мавзолею великого суфия-страстотерпца, о тутовом дереве, но мы с ней друг друга почти не понимаем.

Нам на помощь приходит ее сын, врач, который немного знает мой язык. Вдруг он замолкает и, медленно произнося слова, говорит:

– Но там нет ни сторожа, ни роз, ни белого павлина – одни развалины.

Я дотрагиваюсь обеими руками до кетонета биби и начинаю дико хохотать.

Догадываюсь, что само упоминание о моем смехе тебя приводит в ужас.

Похоже, в глазах этих людей я была тем самым неопределенным местом, в котором соединились действие, событие и рассказ о нем, местом, в котором возникла я в качестве рассказчика, это место на моей поэтической линии жизни, очевидно, существовало задолго до всех описанных в этом повествовании событий.

Может быть, четыре тысячи лет тому назад взор мой, обращенный к альфе огненного Дракона, лениво соскальзывал вниз на развалины глинобитных стен некогда цветущего города. На одной из них на древнем языке было нацарапано слово «бесчеловечность».

Кто опишет состояние моих чувств под напором этого текстового насилия? Я смотрю перед собой: простирается нечто бесконечное, беспредельное и беспросветное. Посуда, битая посуда. Эти черепки-скрижали не принадлежат ни земле, ни небу, в чем их

постоянство. Они, словно мой восхищенный ум после глотка горячего зеленого чая, становятся столь же бесконечно-беспросветными и – простираются.

На протяжении всего этого письма шайтан, обитающий по соседству с мавзолеем великого суфия, побуждал меня убрать из текста эпизод с молодой матерью, обвешанной детьми, оказавшейся в зоне регионального конфликта, а также слово «бесчеловечность».

– Хрен тебе! – сказала я шайтану.

Из выпавшего на нашу долю жизненного испытания особо выдающиеся умы, такие, как мы с тобой, выносят своеобразный опыт, принадлежащий тайне создания текста. Прочие – лишь подозрения, которые простираются всю жизнь, как черепки битой посуды.

В большом уничтожающем себя тексте моего повествования, а точнее, биографии черепков-скрижалей с отсутствующим текстом о самом битье посуды, я однажды после глотка горячего зеленого чая попыталась выбраться из блюдечка с кошачьей едой, куда только что упала в возрасте невинности, когда никто еще не пишет, а многие даже еще не говорят: в таком возрасте в блюдечко с молоком не падает только увечный или уж совсем дурак. Так мой зад встретился однажды с кошачьим блюдцем, я подняла полные слез и сияния глаза вверх и увидела лицо склонившегося надо мной отца, прекрасное, как юный Логос.

Если бы можно было тебе рассказать, если бы можно было...

Если бы можно было когда-нибудь написать... О том, что ноги мои тогда были босы, а подошвы растрескались от жары и грязи... И я не решилась накрутить на палец прядь твоих прекрасных тяжелых иссиня-черных волос: твое тело мне уже не принадлежало, но оно уже не принадлежало и тебе, так как принадлежало литературе.

Сейчас за дверью книжного магазина, недалеко от одного из самых больших университетов мира, где торгуют невесть чем, грохнуло.

Вероятно, там снова толкнули падающего. Что привело меня в приятное расположение духа.

Утро ярко стаю косимых непривычному смотрит солнышко назвать спешил отцом.

Не пытайся понять...

Последний отчет агента К.

Несколько чудом уцелевших страниц синей тетради, которые мне довелось прочесть, производят несколько странное впечатление. Будто они написаны другим человеком и через много-много лет, – человеком, который пытается вспомнить что-то чрезвычайно важное, он идет по следу своего воспоминания о воспоминании, но именно это и не дает ему добраться до простого и недвусмысленного факта, послужившего поводом к остановке письма и появлению этой фразы из какого-то совершенно другого пространства, словно запечатавшей основной текст повествования: *Утро ярко стаю косимых непривычному смотрит солнышко назвать спешил отцом.* Это что же, опять всё та же синь небес, le Bleu du Ciel? Может быть, что-нибудь удастся понять, приняв во внимание, что этот каскадный текст написан от первого лица. Я решил дать этому отрывку название:

Мечтатели

Водитель останавливает автобус перед домом, где живет моя подруга. Выхожу, поворачиваюсь к нему, чтобы попрощаться.

Не чувствую ног; хорошо, он остановил автобус прямо напротив подъезда, а мне еще предстоит открыть тяжелую дверь с тугой пружиной, протиснуться через узкую щель с тяжеленным рюкзаком, подняться на последний этаж и позвонить в дверь.

Долгий звонок: я держу палец на кнопке звонка, по ее вибрациям понимаю, что звонок работает, но самого звонка не слышу.

Разум словно отделяется от меня и хладнокровно наблюдает за фазами моей постепенной потери существования: сначала речь — я так ничего и не сказала моему знакомому шоферу, нашему адскому водителю, и пока он помогал мне надеть рюкзак, я смотрела на него и судорожно глотала воздух; далее я теряю способность передвигаться, теперь — слух.

Подруга долго не открывала, потом ее от ужаса расширенные зрачки (ну и видок же был у меня, однако) — я читаю вопрос по движению губ:

— Искандер?

Отталкиваю ее, да нет, не отталкиваю, а просто отшвыриваю: на мгновение, впервые в жизни я потеряла веру и поняла, что в такой момент любой человек может стать зверем; врываюсь с рюкзаком на плечах в кухню и, схватив первый попавшийся под руку стакан, наливаю воды из-под крана, с отвращением пью мутную тепловатую жидкость. Она тупо смотрит на меня, спросонья ничего не понимая, кроме того, что со мной или с ним что-то случилось, и думает, что случилось что-то ужасное.

— Ты хоть рюкзак сними, я уйду на работу, а ты ложись и поспи.

Я сбрасываю рюкзак на пол и валюсь, прямо в одежде, едва успев снять ботинки, на еще теплую от ее сонного тела кровать и мгновенно куда-то проваливаюсь.

Всё случилось так быстро: наш скоропалительный отъезд, суета, из-за которой я едва успела вспомнить о том, что надо вернуть Искандеру его свитер и часы, для чего надо было решиться войти в оранжевую палатку, положить всё это на столик, аккуратно сложить свитер; подумала, что надо было его постирать и пусть лучше у него был бы запах затхлой воды оросительного канала, чем моего тела, и эта мысль не давала покоя всю ночь и не давала сосредоточиться ни на чем, мне казалось, что это какая-то неразрешимая проблема и в ней заключается мое настоящее и мое будущее; и вот тогда я впервые поняла, что ничем мы

не управляем, даже собой, а мой разум всё более отделялся от моего тела, и оно жило само по себе, своей совершенно животной жизнью, словно я оказалась не среди себе подобных, таких же человеческих существ, а в первобытных джунглях, наполненных опасностями и хищниками.

Как только я сняла этот свитер, меня начала бить дрожь, несмотря на то, что было около 30 градусов жары, она всё усиливалась, тогда я решила как-то выбраться из этого кошмара, но увидела еще не убранную раскладушку. Положив рядом со свитером часы, я добралась до нее и легла. И эта навязчивая мысль — что надо было постирать этот свитер, ничего больше мне было не надо, а свитер постирать надо, лучше бы я чего-нибудь забыла или потеряла, наплевать, мне сейчас хотелось только одно: уничтожить малейший след моего присутствия, чтобы не осталось ничего, и запах моей кожи, который, конечно, хранил этот свитер, смешавшись с запахом полыни, которой я пыталась всё время тереть пальцы, чтобы удалить с них черную краску. Мне казалось, что эти мельчайшие частицы, которым и названия-то нет на человеческом языке, будут вечно служить какими-то ниточками, связывающими меня с Искандером, держа за которые, некое Высшее Существо (или как оно еще там у *них* называется) будет нас всю жизнь возвращать друг другу, перекраивая на свой лад наши судьбы. Может быть, этот свитер надо было даже где-нибудь закопать, за его оранжевой палаткой, а Искандеру сказать, что я его потеряла, и отдать ему одни только часы.

Когда я проснулась, оттого что Бес меня разбудил и рассказал, что вошел за чем-то в палатку Искандера, пока тот грузил в экспедиционную машину ящики с керамикой, и увидел, что я сижу за столиком, а голова моя лежит на свитере, а рядом лежат часы. Он дал мне немного спирта, который еще оставался на донышке розовой канистры, и довел меня до раскладушки, что стояла рядом с палаткой.

Надо было собирать вещи, так как экспедиционная машина должна была отвезти нас к поезду.

– Ничего не бойся, я буду рядом, – сказал Бес.

А чего мне было бояться? Меня охватило такое безразличие, что даже свитер и связанные с ним мысли куда-то делись. Я сидела около еще не собранной оранжевой палатки и смотрела, как Бес подошел к Искандеру, что-то ему сказал, и они вдвоем пошли куда-то в сторону раскопа, но потом остановились и стали о чем-то разговаривать. По их жестам я видела, что они сначала спорили, а потом стали по-настоящему ругаться, и очень странно было видеть их жесты и выражение лица обоих, но не слышать их слов, так как дневной ветер пустыни относил звуки в противоположную сторону. Их жесты становились всё яростнее, и мне показалось, что сейчас начнется драка. Я сидела, как в кино, и меня удивило, что особый интерес у меня вызывала мысль о том, кто из них первый кому врежет. Мне казалось, что это будет Бес.

Но вдруг я увидела, что оба смеются. Искандер дотронулся до плеча Беса, и они вдвоем, о чем-то разговаривая, пошли обратно.

А потом эта нескончаемая ночь в поезде и ужасное утро, когда я увидела на лице Искандера эти черные пятна под глазами, хотя он и пытался натянуть на лицо, почти до самых глаз, простыню; я-то теперь знала, отчего появляются эти пятна.

Сейчас я просыпаюсь от звука открываемой двери – значит, уже много времени, и подруга пришла с работы. Она ставит чайник, пытается накормить меня какими-то бутербродами; я с трудом жую черствый хлеб.

Говорю ей, что мне надо немедленно лететь домой, во что бы то ни стало, так как меня в аэропорту встречают родители, и они будут очень волноваться, если я не прилечу.

Сегодня ложь эту мне придется повторять неоднократно.

Никто нигде меня не ждал.

Подруга стала меня отговаривать, ссылаясь на то, что, скорее всего, не будет возможности улететь именно сегодня, так как мой рейс только раз в день. Кроме того, она считала, что мне нельзя лететь в таком состоянии.

Моим единственным доводом было то, что если мы сейчас же не отправимся в аэропорт, я просто умру.

Тогда она помогла мне надеть рюкзак, мы вышли на улицу, сели на автобус и поехали в аэропорт.

Этот путь проходил по тем же улицам, по которым несколько месяцев назад я шла к этому нелепому зданию с колоннами, где ждал меня Искандер.

Я еще тогда его спросила в шутку: а что если я опоздаю или вообще не приду, – а он засмеялся и сказал, что всё равно будет меня ждать. В самом деле, не может же быть такого, что теперь ничего этого просто нет, и реальность в том, что ничего нет, а то, что было, осталось только в моей памяти, но этого, может быть, даже и не было и уж точно никогда не будет. Скорее всего, мы больше никогда не увидимся, то, что случилось, это даже хуже, чем физическая смерть (хотя что я знаю о ней?), там хотя бы остается безжизненное тело, оболочка и потеря существования; в умирании, когда человек болеет или даже умирает в катастрофе или насильственной смертью, всё-таки есть какой-то зазор, который оставляет надежду на то, что можно было, хотя бы отчасти, подготовиться к этому событию (впрочем, что мне об этом известно? Да и можно ли к этому подготовиться, несмотря на то, что почти все мировые религии утверждают, что можно); а тут всё происходит просто, мгновенно. Человек мгновенно перестает существовать в твоей реальности и переходит в другую реальность, где ты точно знаешь, что он вовсе не умер, а даже очень жив и преспокойно существует, только ты не знаешь кода доступа в эту реальность, потому что он тебе его не сказал. И какие духи, какие демоны, какие вороны стерегут эти шифры и пароли?

Словно после ядерного взрыва, когда остается лишь тень на стене или на ступенях лестницы,

а может быть, и этого не остается. А выжившие знают одно только имя, но с их уходом имя это исчезнет. Это для нас. А они в своей реальности, эти тени, наши любимые, родные и близкие, преспокойно распивают зеленый чай. А перед нами, потерявшими их, разверзается бездна. Как после Катастрофы: всё только в памяти, и лишь один номер на руке.

Улицы, прохожие, автомобили, дома – всё, казалось, утонуло в какой-то дымке, а может быть, напротив, вибрировало и плыло в мареве, как это бывает при пятидесятиградусной жаре в пустыне. Как это может быть, что этот заклятый город выглядит так, словно ничего не произошло; нигде теперь в нем нет никакого отпечатка, следа, малейшего свидетельства.

Кажется, я смотрю какой-то бесконечный фильм, где должно что-то произойти, но фильм всё-таки кончается, а ничего так и не происходит.

Хоть бы один камень сдвинулся с места – ничего.

Ко мне возвращается слух, слышу разговоры в автобусе, но мне никак не уловить смысл ни одной фразы: слова будто цепляются за слова, но никто из говорящих не может высказать свою мысль до конца или закончить фразу, словно кто-то незримо присутствующий перебивает с единственной целью дать еще кому-то высказаться столь же неопределенно и так и не закончить свою фразу.

Подруга крепко, даже чересчур, как мне кажется, крепко держит меня за руку и ни о чем больше не спрашивает. Что она могла подумать, увидев меня с рюкзаком на плечах этим утром? Я стояла и глотала воздух, как рыба, выброшенная на лед. Спасибо еще, что адский водитель, наш общий знакомый, остановил автобус прямо напротив ее подъезда.

Смутно помню, как Бес вышел из автобуса, вроде бы просил меня обязательно ему написать, говорил, что напишет сам, я мотала головой, но уже ничего не могла ему сказать, он еще немного помедлил, наверно, раздумывал, не проводить ли меня к подруге, он *так* смотрел на меня, но я уже ничего не смогла ему сказать.

Я испытывала что-то вроде приступа удушья и незаметно для окружающих выпала из реальности, оставшись как ни в чем не бывало сидеть у окна; не заметила даже, как они выходили, пока в автобусе не осталась одна я, и тут мне стало почему-то впервые как-то страшно, потому что я всё это восприняла мистически, но водитель вышел из кабины, поднялся в автобус, вытащил мой рюкзак и помог мне его надеть.

Не помню, когда я ему сказала, куда меня везти.

А сейчас мы ехали с моей подругой в автобусе по этому заклятому восточному городу, из которого невозможно выбраться, и я мысленно возвращалась к утреннему спектаклю.

Конечно, всё произошло именно так, как предполагал Бес, и как я теперь понимала, он старался меня предупредить о последствиях, так как слишком хорошо знал Искандера.

Он говорил про письма, чтобы показать мне, что если он и не на моей стороне, то уж точно не на стороне Искандера. Искандер просчитал, как безукоризненно совершить это предательство. Надо всего лишь найти одну-единственную болевую точку. И сделать точный выпад мастера. Чтобы ни у кого из нас двоих не оставалось ни единого шанса. Единственное, что сейчас меня могло с этим примирить, – это мысль о том, что ему сначала надо было найти эту точку в себе.

Очевидно, накануне перед отъездом я совершила какую-то непростительную ошибку. Может быть, я ее совершала даже не однажды, и в ту ночь, когда мы задыхались оба от чувства неизмеримой горечи и пустоты, я сказала ему – не словами (он всё равно бы ничего не понял), а своим безумным смехом, что *любить можно только на своем языке*. У нас с ним не оказалось общего языка для выражения возвышенных чувств, и тогда наши старые как мир инстинкты заговорили на языке простонародья. В эту ночь мы оба поняли, что если нам даже и суждено снова когда-нибудь встретиться, то это повторится всякий раз, в любом месте земли, в Самарканде, Тегеране,

Оксфорде или Санкт-Петербурге. И *псу под хвост* наши прекрасные мечты о том, что когда-нибудь окончится весь этот кровавый сон истории: колючая проволока, танковая колонна с погашенными огнями, а *Naikenkreuz*, крест-крюк, останется только в специальных учебниках истории международных человеконенавистнических режимов, и мы сможем наконец свободно передвигаться по лицу земли или общаться со всем миром хотя бы при помощи каких-нибудь средств, изобретенных его проклятой цифровой цивилизацией, и заниматься своими безумными и безнадежными, как все человеческие дела, делами вместе со своими братьями по безумию из сопредельных государств или сопредельных вселенных, и никто нам не сможет помешать произносить слова любви и верности на любом языке или не говорить ничего, а просто встретиться взглядом с другим человеческим существом.

Теперь мы были квиты. Каждый получил – свое, и, скорее всего, именно то, что хотел. Но никакой радости от этой мысли у меня не было.

Мне казалось, что я сама потеряла связь с собственным языком: я ничего не могла объяснить подружке, мне даже казалось, что сейчас *они* все заодно и все против меня; я старалась даже не смотреть на ее иссиня-черные волосы, тяжелые и блестящие, точно такие же, как у Искандера, – а ведь она тоже была дочерью этой земли...

– Хочешь, я позвоню ему, он обязательно приедет, и мы тебя проводим.

Я только мотала головой, стараясь удержать свое тело от нового приступа дрожи, которая всё усиливалась, и я боялась, что мне с ней уже не справиться.

Я с трудом разлепила пересохшие губы:

– Позвони завтра Королю Роз, передай от меня привет и скажи, что я чудесно провела время.

Подъезжаем к зданию аэропорта.

Она подводит меня к скамейке в зале ожидания, идет узнавать насчет билетов. Не знаю, сколько времени я там просидела. Подруга подошла ко мне и

сказала, что ей удалось уговорить своих знакомых в аэропорту посадить меня на мой рейс на дополнительное место для экипажа около самой двери самолета и что там не будет окна, – иначе сегодня нет никаких шансов улететь. Мне было всё равно.

Посадка на этот рейс уже закончилась, и ей еще пришлось договариваться со специальной аэропортовой машиной, которая меня подвезла к трапу; в самолет меня всунули буквально в последний момент.

Вот я уже в самолете на неудобном маленьком откидном сидении, а рядом на таком же – молодой военный, судя по его виду, явно не мой соотечественник.

То ли от духоты, то ли от неудобного сиденья, вскоре я снова отключаюсь, прихожу в себя – моя голова у него на плече.

– Вам плохо, хотите, я кого-нибудь позову?

Кого он мог позвать на расстоянии десяти тысяч метров от земли?

Ангела небесного, самого Всевышнего?

– Не надо, это сейчас пройдет.

– У вас что-то случилось, кто-то умер?

– Я сама, – показываю на себя пальцем.

Вижу, как он смотрит на меня с ужасом.

Мое лицо мокро от слез, я сижу, как истукан, и едва дышу.

Этот спектакль предательства еще будет долго возвращаться ко мне, как раньше навязчивая идея о том, что надо постирать свитер; в моей голове прокручивались тысячи вариантов объяснений случившегося на Глиняном Холме.

Я даже пыталась найти корни зла всей этой истории, мысленно обвиняя во всем муаллима, задавая ему и себе вопросы, на которые не находилось ответов.

Какое отношение всё это имело к Востоку, какое отношение я имела к Востоку?

Разве что муаллим, сам того не замечая, сделал для себя и для других главным то, что могло быть

лишь фоном, поверил в это добросовестное заблуждение, даже сумел заставить поверить в него нас. Все эти резные решетки, завораживающая многоплановость орнаментов, уходящая всё дальше и дальше вглубь, где всё дробится и переливается и становится похожим на жуткую сказку, где герой срывает, как ему кажется, последние и всё новые покровы, пока, наконец, не добирается до последнего, – в этой сводящей с ума множественности вместо ожидаемого ответа он обретает лишь ничто в тот самый момент, когда падает последний покров.

Может быть, так надо понимать жест Искандера, когда он поцеловал надпись на священном языке, вытатуированную на моей руке, тем самым желая сказать, что он запечатывает этот кладезь смыслов, потому что не хочет сейчас и никогда не захочет узнать в будущем, что же всё-таки скрывается за последним покровом. От того что слишком хорошо знал, что встретит там только еще большее одиночество? Остов ужасной невесты.

Я продолжала во всем обвинять муаллима: в том, что он нас обоих водил по лабиринтам растянутого до бесконечности желания, которым мы все самозабвенно упивались и считали, что именно мы им управляем, мы совращали друг друга, все сообщая, и при этом искренне верили, что в этом и есть истинная душа Востока или дух Востока, мы же его ограничили стенами нашего тайного сообщества, где не было запретных тем, так как оно само было более чем запретным, и где действующими лицами оказались дочь, брат и неназываемая сила Закона, Порядка и Света, полного безжизненного эротизма, и его все мы считали самым подходящим для нас климатом.

Действительно, все были сбиты с толку этим особым культурным ландшафтом, где можно было отчужденно и отстраненно любоваться дробящимися гранями орнамента, слушать одуряющую музыку, воздействие которой подобно наркотику, и эта среда и наша в нее вовлеченность очень хорошо поддерживала наше прекрасное и бездумное существование.

В сущности, находясь в постоянном общении с этими произведениями искусства, – зачем они ему дались, простому парню, – с этими эротическими образами, этими поэмами, застывшими в камне и увековеченными в образах, всеми этими ручками, ножками, пальчиками, коленками, изгибами бедер, стана и шеи, созданными великими мастерами древности, такими же мужиками, как он сам, после *глотка горячего зеленого чая*, для того чтобы угнетать и терроризировать этими образами «других женщин» реальных девушек из плоти и крови и отвлекать от них их возлюбленных; можно даже сказать, что Искандер был, в известном смысле, развращен постоянным созерцанием образов этой возвышенной вечной женственности, всех бесчисленных и похожих друг на друга как две капли воды всевозможных поэм, которые можно создать из сущности земной при помощи резца или красок (как можно создать всё, что угодно), и он, скорее всего, не вполне четко уже тогда представлял себе, где кончается реальность, а где начинается ее искусственное отражение в красках и образах. И этот дух очень поддерживался всем его окружением. В городе, где господствовала нищета и разруха, можно было заниматься лишь садово-парковой архитектурой, существующей только на бумаге, и любить изысканных красавиц на фресках, и мечтать, так и не сняв рабочей одежды и солдатских ботинок.

И я всё это поняла однажды, стоило только мне как-то случайно без Искандера выйти на дорогу и увидеть горы, Багряную Реку, закат солнца, загорелые тела наших рабочих, играющих в волейбол.

Я вся была покрыта грязью и пылью, ногти были поломаны, а волосы пришлось остричь у однорукого парикмахера (похоже, что на Востоке все парикмахеры однорукие); на самом деле, их в экспедиции просто негде было помыть. Где мне было соперничать с девушкой с фрески с высокой прической и лебединой шеей, покрытой замысловатыми украшениями...

Да и сам Искандер был не лучше: в его спутанных волосах всегда были какие-то колючки, которые

он неизвестно где успевал набрать; иногда я на него смотрела и смеялась, а он думал, что на лице у него снова какая-то грязь, и начинал тереть щеку или подбородок, размазывая грязь еще больше, и мы смеялись вместе.

Хотя всё это не то, не то и не то, и муаллим здесь ни при чем, просто я слишком передоверила Искандеру ответственность за нас обоих.

Или мы с ним слишком часто выступали на подмостках; все эти наши учителя и наставники из книжной лавочки университетского квартала, где всё время *толкали падающего*, недреманное око Беса и Властелина Времени, от храпа которого палатка ходила ходуном, и прочие, и прочие, прочие – на самом деле, все они замороженно следили за нашим спектаклем и спали и видели, как возвести нас на пинакль...

Опять не то, не то, не то...

Почему сначала ничего не хотела я, а потом он?

И я не поняла, что тогда всё окончилось, не успев начаться, в этом караван-сарая; он вытряс из сторожа эти сверкающие белизной простыни и среди этой вселенской грязи, этого караван-сарая, который и есть ненавистный нам мир, подарил мне эти чертоги небесные, мой заснеженный зимний пейзаж, который и был той самой изначальной записью в моем теле, – и сказал мне тем самым совершенно ясно и недвусмысленно: хочешь играть в эти игры – играй одна.

Неужели мы, вступив в эту жестокую игру, где должны были проиграть оба, не поняли, что эта игра сама переиграет нас, потому что игра с языком – это самая жестокая игра на свете; это игра с огнем, это игра с властью, которая сидит в каждом из нас в виде заснеженного зимнего пейзажа, игра, в которой ставкой может оказаться сама жизнь.

Конечно, я его немного боялась, но не настолько же, чтобы равного и высокорожденного сделать своим телохранителем...

Я и подругу свою, утонченную и образованную девушку, тоже тогда немного боялась и не любила

оставаться с ней наедине. Эта мерцающая в темноте кожа, другой ритм речи, другая пластика движений, другая скорость считывания информации – нет, опять не то и не то.

Почему, когда автобус остановился у его дома, я даже не решилась посмотреть на него, просто встретиться с ним взглядом, а мне было так мало надо – просто еще раз заглянуть в его дерзкие глаза, в глаза цвета расплавленного золота, чтобы еще раз увидеть в этих глазах какое-то особое, только ему свойственное ощущение жизни, восхищение, что ли, этой жизнью, которое и было его сокровенной сущностью, чтобы убедиться в том, что я тоже могла быть и, может быть, даже была частью этого.

Но я отвернулась и стала смотреть в окно.

Есть вещи, казалось бы, совсем банальные и незначительные, но которых будешь стыдиться всю жизнь.

Да может, в этот момент он не мог вспомнить, куда засунул свои ключи...

А если он всё-таки взглянул на меня, на мой стриженный затылок, и решил, что всё это время имел дело с пластиковой куклой, с монстром, с чудовищем типа той актрисы, которая описывается в одной повести братьев Гонкуров (Фостэн, кажется, ее звали), которая, когда умирал ее возлюбленный, смотрела в зеркало и повторяла, чтобы лучше запомнить и превратить в память движения его агонизирующего тела, потому что это ей было полезно для совершенствования своей игры на сцене.

– Уведите прочь эту женщину, – говорит он, и так кончается эта страшная повесть.

Эта история в меня всегда вселяла ужас как душевнораздирающая история предательства.

Может быть, Искандер считал, что я одержима идеей писательства, тем более что я как-то имела глупость сказать ему и муаллиму, что мой отец однажды подарил мне на день рождения паркер с золотым пером, и это можно было понять только однозначно:

ради нескольких строчек в синей тетради я готова на всё. Хотя Искандер и ненавидел мои занятия сочинительством, понять он это мог. Очевидно, тогда из-за моего смеха он решил, что имеет дело с чем-то совершенно не антропоморфным, с какой-то встроенной в мое сознание отцовской программой, которой, как, впрочем, и самой природе, не было дела до наших чувств, эта программа занимается лишь дальнейшим усовершенствованием биологического вида.

Если это так, то почему же небо тогда не раскололось?

И кому будет принесена его книга в правую руку...

Будем считать, что мы остались квиты, а о Фостэн он ничего не знал...

Мой попутчик возвращается со стаканчиком воды и говорит:

– Мы сейчас летим над Каспием.

Я поддвигаю ногой рюкзак, достаю синюю тетрадь, огрызок карандаша, переворачиваю страницу и пишу:

Ты лжешь, если жалуешься на муки любви.

Сейчас мы летим над Каспием.

Разрушение «Поэмы в камне» предстало всей своей неотвратимостью как неисполнимая задача описания картины мира до всякого описания.

Агент К.: Идет ли речь о деформации существующих конвенций, где при успешном результате можно использовать собственный опыт?

Вряд ли такая задача могла быть поставлена преднамеренно, хотя оригинальность выражения может быть основоположной для любого творчества вообще. Если замысливается производство нового значения,

то устанавливается новая символическая форма, в которую уже включена последовательная деформация ранее существующей.

Есть явные ссылки на литературные направления и конкретные произведения. Что можно установить по именам персонажей или символическим названиям явлений природы: агент К., грегуар, песчаная буря «Альбертина», компьютерный вирус «Альбертина», наносящий с завидной регулярностью ущерб следам лингвистических чаепитий, треснувшее зеркало (служанки).

Однако деформации менее всего подвергается форма, так как при передаче таких категорий, как модальность времени или пространства, лучшая форма для описания – это полное отсутствие какой бы то ни было формы.

Обратившись к кодовой картине, возникающей на заключительной стадии, вернее, к описанию комбинированного самоубийства, когда был сделан пробный выстрел в тело культуры, вспомним текст муаллима.

Это описание так и подвисло в воздухе, словно еще не определился герой, который возьмет на себя все последствия.

Этот персонаж менее всего был сдвинутым шариком, пытающимся восполнить свои энергетические ресурсы за счет молодости некоторых лиц своего окружения.

Он был одинаково привязан и к любимому ученику, и к приемной дочери, и чего он на самом деле опасался, так это потерять их обоих. Сама идея поездки в долину Багряной Реки для него была за гранью здравого смысла, он предвидел, что Искандер и приемная дочь, потеряв всякую надежду найти какой-то компромисс, устраивающий обе стороны, начнут истязать друг друга, и победителем из этого состязания вряд ли выйдет его любимый ученик.

«С женщиной можно спать без подушки, но нельзя без благословения небес», – так, кажется, звучала строчка фривольной восточной песенки, которую

в ночь свадьбы распевала на обратном пути подгулявшая компания.

Что понимал муаллим под этим благословением?

когда они заболевают до того слабые хнычут нуждаются в нас чтобы выздороветь у него кровь из носа пойдет так по его виду подумаешь тут. Ах какая трагедия ирландский строптивец думал, блядь, что у него одного такая мать...

– Ты что, ему врезала?

– Ты что – с ума сошел?

– Бес, Бес. Мы что-то подцепили в раскопе? Скажи, мы что-то подцепили?

Кажется, там в Peste говорилось о том, что около погибшей крысы была всегда лужа крови, речь шла о сильном носовом кровотечении, или это было в какой-то другой книге...

Теперь, чтобы никого не обойти вниманием, стоит рассказать о роли младших бодхисаттв. Ведь если бы этот текст повествования не был написан, мы бы ничего о них так и не узнали.

На протяжении многих страниц занимаются они странными делами, отчасти эти дела связаны с устройством их собственной индивидуальной судьбы. Было бы неправильно отождествлять их с духами, кружащимися вокруг неподвижного центра, или с *чем-нибудь вообще*, – и делают это они, не вмешиваясь в жизнь других героев, а просто рассказывая как маленькие подпрограммы о том, что они видят. Всё было бы так в том случае, если бы само тело текста представляло собой ленту, предназначенную для протягивания только в одном направлении, которое бы представляло собой определенный маршрут, где есть пункт отправления и пункт назначения, а время делится на отрезки, каждый из которых мог бы стать главой в соответствующем такому замыслу тексте.

Даже само предположение, что вначале это так и было, наводит на мысль, что из создавшегося положения можно было бы найти какой-то выход, миновав все встречающиеся на пути препятствия в виде возникающих преград, лабиринтов и прочих ловушек, справившись с бедами при помощи имеющихся в распоряжении технических средств: мотор мог не заглохнуть на горном перевале, и бензина могло бы вполне хватить, а вместо средневекового колодца можно было бы прекрасно справиться с делами при помощи городской колонки и медного таза.

Без помощи младших бодхисаттв невозможно было бы оказаться одновременно в трех измерениях текста (+ время), так как их роль заключалась именно в том, чтобы в определенный момент, когда создающийся текст (если представить себе его в виде какого-то движущегося объекта или роуд муви) вдруг внезапно останавливался и происходило что-то похожее на обрыв связи, то есть разрушалась внутренняя система восприятия пишущим безальтернативности и внутренней логики создаваемой текстовой конструкции.

И такой разрыв может возникнуть вовсе не в недрах колодца или заклятого города, а грянуть, как гром с ясного неба, в любой момент.

В таком случае действия этих младших бодхисаттв можно сопоставить с неким охранительным механизмом, причем в данном случае речь идет о развитии восприятия.

Эти духи оказались намертво связанными с персонажами, для которых они явились своего рода толкователями и интерпретаторами, и если вспомнить, что в конструкции присутствует двоичность или близнечность, то синхронность восприятия разворачивающегося внутреннего текста персонажем повествования и дальнейшее отражение этого текста духом-интерпретатором, находящимся в своем собственном текстовом пространстве, где сигнификат сливается с сигнификантом, а текст с собственной интерпретацией, будь то Черная Чайхана, где происходит

сетевая конференция, начатая при помощи нескольких *глотков горячего зеленого чая*, или простое нажатие кнопки пускового устройства, – создатели этих текстов-интерпретаторов лишь условно названы младшими бодхисаттвами, и это скорее их функция, нежели сущность, совпадающая с принятой на себя ролью; метод же вытаскивания текста из дыр, лакун и провалов остается их способом взаимодействия с ним, если под этим взаимодействием понимать изменения развивающегося текста и отражение этого изменения свидетелем-участником в своем сознании, как по ту, так и по эту сторону *Ворот*.

Процесс непрерывного изъятия персонажей и их аватар из зоны действия текста, в котором они пребывают скорее в латентном состоянии и которое можно считать состоянием, идеально открытым любому восприятию, означает совсем не то, что они там скопились толпой и каждый из них что-то старается выкрикнуть громче всех, а то, что они в качестве субъектов и предметов описания в этой зоне полного бездействия, безмолвия и не-состояния никогда и не находились.

В этой зоне, скорее всего, находится *что-нибудь вообще*, что не путешествует, не нажимает кнопки пусковых устройств, не нуждается в изменении сознания, так как и самим сознанием не обладает, а следовательно, не обладает и восприятием и, таким образом, не создает никаких текстов, а уж тем более трехмерных.

Абсолютно пустой файл.

Содержимое чаши из Рея (или Раги), состав которого неизвестен, как неясно, что это за чаша и где этот Рей.

Абсолютно пустой файл, предназначенный для записи воспоминаний, которых не существует.

Абсолютно пустой файл, как захват заложников, которых нет, потому что еще не родились ни заложники, ни захватчики заложников.

Абсолютно пустой файл, потому что *истина всегда сокрыта*.

Голосовой режим, который звучит в молчании, молчание, которым чреват любой голос.

Бес успокоил ее и сказал, что никакая это не Peste и что такое с ним раньше уже бывало.

Возвращаемся к самолету, стоящему на взлетной полосе, *перед вознесением – самым*, а в голове звучат барабаны, суперскоростные барабаны, набирая обороты (200 ударов в минуту и больше), а ударник из группы «Божий одуванчик» умудрялся вколачивать аж все 300.

«Не сегодня...» – и это было сказано твердо.

Предположительно, перед самым разгоном и до момента, когда самолет отрывается от земли, можно оказаться в некой точке, лежащей между «еще не» и «уже не», и это состояние подобно чистому листу бумаги или голубому мерцающему экрану. Было бы непозволительной роскошью – с риском к тому же впасть в банальное сравнение – уподобить это зависание *чему-нибудь вообще*, предшествующему созданию любого текста.

Но даже в этот момент можно лишь с долей условности говорить об отсутствии каких бы то ни было чувств или хотя бы одного из них, смутного и неопределенного, вводящего в то нереальное состояние, когда непосильно не только какое-нибудь действие, но даже сама мысль о нем.

Следует отыскать файл «самолет».

На этом месте текст должен был бы окончательно исчезнуть.

Действительно. Дальше – пустота.

Но что-то всплыло... Голос странно звучал в полном молчании.

В ту ночь они с Бесом с трудом спасли Искандера; в одном из самых больших музеев мира треснуло

стекло витрины с ожерельем принцессы; а придя в себя, Искандер попросил ее к себе больше не прикасаться.

Безнадежная попытка восстановить исчезнувший текст.

Безнадежная попытка вспомнить о событиях, которых никогда не было.

Цепь событий, приведших к зависанию на взлетной полосе, перед тем как вырулить на стартовую прямую, составляли: собирание вещей, беспокойство по поводу того, как бы не забыть что-то нужное, беганье к телефону, чтобы узнать время (так как часам Искандера, отмеривающим время на ее руке, не было никакого доверия), выход из подъезда дома, боязнь попасть в пробку и опоздать к рейсу и досада на себя за эту боязнь.

Время – это такая вещь, такая странная вещь, с которой человеческому существу справиться совершенно невозможно, и конечно, прибытие в аэропорт задолго до вылета, полное апатии и тревоги ожидание объявления посадки на рейс, ожидание микроавтобуса, подвозящего к самолету, ожидание самого входа в самолет, сидение у окна в самом самолете, медленное движение по взлетной полосе, и наконец – тяжелая машина замирает перед последней взлетной дорожкой, когда происходит отрыв тела самолета внутри его собственного тела от земли.

Но, как следовало догадаться, зазвучал голос бортпроводницы, сообщающий о том, что рейс по техническим причинам отменяется и пассажиров просят соблюдая спокойствие организованно приготовиться к выходу из самолета.

Народ на секунду ошалел, но затем в полном молчании, соблюдая спокойствие, организованно двинулся к выходу и стал спускаться вниз по подъехавшему трапу. Полет рейса (узнать номер) – еще одна явка безнадежно провалена! – закончился.

К этому можно добавить маленький рассказ о чаше из Рея.

Что это такое, до сих пор не знает никто.

Единственное, что можно сказать с уверенностью, это что город Рей действительно существовал на территории Ирана, и его развалины находятся в пригородах Тегерана, – стоит лишь заглянуть в какую-нибудь книгу по искусству Древнего Востока. Наверное, тот внутренний город, куда попадает девушка, переписчица древних рукописей, представляет собой подобие этого города, сходное со слоем луковицы, как подходящую среду обитания некоторых героев этого повествования.

Трудно поверить, что на самих развалинах или около них не существовало больше ничего, и там не жили люди.

Иначе это место было бы окончательно предано забвению.

Правда, в современной литературе Востока как-то шла речь о вазе из Рея, но этот предмет определенно предназначался для цветов и был сделан из бронзы.

В повествовании же настаивается на том, что чаша из Рея представляла собой некий ритуальный сосуд, которым, возможно, пользовались во время погребальных или свадебных церемоний. Ее происхождение, несомненно, ассоциируется с чем-то простым и изначальным, как сама глина и простой труд гончара, как огонь, горящий в печи для обжига, – словом, с чем-то, олицетворяющим цельность человеческой жизни, в каком-то смысле это то, что противопоставляется самому повествованию, выстраиванию этого повествования, процессу, с его фрагментацией и расслоением чуждому труду гончара.

Если одним из методов создания текста является описание процесса творческого восприятия действительности и исследование механизмов работы этого восприятия и возможности создания программы «Глиняный Холм», которая писала бы романы в автоматическом режиме, то дальнейшие исследования

находятся за пределами самого текста, и такое расположение крайне благотворно и продуктивно для того, чтобы в случае, если работа по созданию текста зашла в тупик, всегда оставалась возможность отрясти прах с ног и, сделав глубокий вдох, постараться сотворить этот текст заново и таким образом преодолеть возникшее препятствие, то есть приобщиться к этому волшебному напитку чаши из Рея.

Никогда не обретаемый, но всегда желаемый объект, в поисках которого строилась личная судьба действующих лиц повествования, а также проживание ими каждого момента этого текстового путешествия по шоссе стратегического значения или пребывание в одной из самых больших библиотек мира не имело бы никакого смысла и значения, если бы за этим не стояло *что-нибудь вообще*, чем, возможно, и был этот неопознанный объект соблазна, который не являлся ни вещью, ни фактом, ни действием, ни ситуацией, ни содержанием, ни формой, но который может стать чем угодно на пути поисков всё той же самой истины, что *всегда сокрыта*, как образ вселенной, отражающийся в капле воды.

Глава двадцать четвертая

Неотправленное письмо муаллиму

Я действительно склонна думать, что климат Востока в большом количестве вреден европейцу.

Мой выбор для главного героя имени почитаемого до сих пор на Востоке завоевателя Искандера (как здесь на большинстве наречий произносится греческое имя Александр) не случаен.

Как, скорее всего, не случаен был выбор того же самого имени для общего названия современного военного комплекса «Искандер».

От предыдущих машин войны подобного класса он отличается высокой мобильностью. Способностью получать информацию о цели как от космических средств наблюдения, разведывательной авиации, так и от наземных корректировщиков огня, действующих непосредственно на поле боя. Для приведения всех систем в состояние боеготовности ему необходимо всего лишь несколько минут. Его пусковая установка может покинуть боевую позицию не обнаруженной. Перехватить ракету комплекса «Искандер» невозможно, так как ее полет идет не по классической параболе, а как у крылатой ракеты и на очень больших скоростях. Стопроцентная вероятность поражения выбранной цели. Диапазон цели – от хорошо защищенных командных бункеров аэродромов до широкомасштабного уничтожения бронированных целей и живой силы противника в глубине его территории. Разработчики комплекса утверждают, чтокумулятивная боевая часть комплекса сопоставима по разрушительной мощности с ядерным зарядом.

Заметьте, что из всех моих персонажей даром языка (а не диалекта) наделен лишь один человек – маленький глухонемой копиист. И обратите внимание, его болезнь глубоко внутренняя, несмотря на то, что его образ выглядит достаточно симпатичным. Если бы не одно обстоятельство. Его текст на стене (вспомним все классические тексты, связанные с появлением надписей на стене) – «я его ненавижу».

Это не только болезнь слуха и отсутствие способности произносить понятные другому слова; это, прежде всего, болезнь сердца, темная сила, способная разметать всё в черном исступлении, сокрушить всё в слепой ярости.

Восток силы и страсти, одержимости и фанатизма. И стоит вспомнить о том, что История (литературы) предусмотрительно – до поры до времени – сдерживала эту изысканную стихию, погрузив ее в грезы не чувствующего хода времени эротизма и на всякий случай накинув на шею ярмо. Но внимательные глаза присматриваются к каждому движению Запада, они

всё подмечают, от них ничего не ускользает; угрюмо всплывают воспоминания о былом величии, дурманящий наркотик дремлющего в крови деспотизма, а от раба до деспота – единый шаг, – и то, и другое принимается покорно, и в этом надо отдать Востоку должное, ибо бессознательно присуще ему взамен потерянного чувства времени чувство Случая и Обстоятельств; они, эти глаза, отмечают безошибочно каждое изменение на шкале силы и слабости: малейшее отклонение стрелки противника в сторону слабости – и тут же срабатывает инстинкт охотничьей птицы. И поэтому время измеряется для него моментами перехода слабости в силу и наоборот, и уж этого момента перехода одного в другое он не упустит. А противник для него – весь мир. Все устремления его сонной и жестокой души – к власти, исторгнутой из себя власти, которой можно полностью подчиниться, вновь уйдя в грёзы, ибо власть для него – воплощение абсолютной стабильности, где нет развития, где нет времени.

Его Абсолют жесток, высок и недоступен. Он не знает милосердия, не требует познания – ему нужно подчинение. Безоговорочное, бестрепетное. Он венчает железный храм абсолютной стабильности. А поэтому он нас тайно ненавидит и презирает. Запад победил силой, а главное, многообразием возможностей свободного выбора, если можно так выразиться, доступным всем плюрализмом, развитым чувством ценности каждой личности – в этом сила и слабость Запада. И именно это служит мотивом этого презрения, так как Востоку чуждо понятие индивидуальности, он мыслит громадными масштабами и жесткими иерархическими структурами.

И понятие красоты на Востоке тоже крайне абстрактное. Человеку искусства почти нет места, ощущение трагического отсутствует вообще. Восприятие – созерцательное, отсюда тяга к геометрическим формам, арабескам, орнаментам, ювелирной тонкости и точности: ведь именно такие формы соответствуют стабильности и покою. И здесь Вос-

ток – само совершенство. Проработанность детализации словно создана для того, чтобы созерцающий глаз растекался по поверхности, не проникая вглубь; такой мир может быть только плоским, – в самом деле, вся эта роскошь не что иное, как драгоценная пелена, наброшенная на пустоту, и горе тому, кто, как вы и я, пытается проникнуть за ее ажурную поверхность.

Это затягивающее плетение переливающихся стен, влекущая предаться забвению красочность ковров, фантастические орнаменты утвари, монотонная завораживающая музыка – всё это похоже на сопровождение «мистического слияния». Но в нем нет и не может быть разрешения, а если бы такое случилось, мир этот разлетелся бы вдребезги. И вместо прекрасной принцессы миру предстала бы ужасная невеста.

Вот почему для европейца определенного склада Восток столь притягателен. При особом его восприятии (очевидно, это связано с видением художника) на поверхностном уровне преодолевается серая будничность и напряженная, всё время возбуждающая сердце и ум идеологизированная эстетика Запада, вплоть до самых ее экстремальных проявлений в леворадикальном терроризме или полемикой между властью и воображением. Утонченный эротизм взбадривает и одновременно усыпляет душу; он соблазняет, манит и затягивает. И затягивает безнадежно, как Вас, восточного европейца, потому что пройдя (и это удастся далеко не каждому) эту радужную внешнюю оболочку, начинаешь ждать какого-то отклика, разрешения, а его нет, и нет разрешения, ибо пустота не дает разрешения – она лишь поглощает.

Можно еще понять отношение непричастного наблюдателя, вроде Беса, хотя судьба таких людей на Востоке, увы, не случайна, а вытекает из безусловной несостоятельности европейского укоренения на Востоке таким образом – свободным и произвольным. Востоку не нужны колониальные европейцы, а колониальным европейцам не нужны европейцы независимые.

Мне сейчас кажется, что после всего, что случилось на Глиняном Холме, мое понимание Востока более правильное, чем Ваше, хотя Вы, скорее всего, скажете, что это такое же скольжение, только по другой поверхности.

Это Восток огромной и прекрасной земли, где можно ходить свободно, где вольно дышится, Восток огромного солнца, щемящей неприкаянности и одиночества.

Такой Восток манит к себе бродяг и художников пусть иллюзорным, но неискоренимым раздольем и щедростью, потому что на таком на Востоке (если смотреть под правильным углом) дух осатанелого потребительства, как ни странно, не бьет столь резко в нос...

Эдакий мировой караван-сарай, мировая Черная Чайхана, переливающаяся всеми цветами, запахами и звуками, как всемирный базар, куда сходятся дороги со всех концов света, и последние купцы, еще не опустившие хвосты в проруби консюмеризма, высыпают прямо на землю свой неопиcуемый товар.

Я люблю такой Восток. В нем время застыло и цветет, как вода в старых водоемах.

Наверное, в моей крови шелестит, мягко и несмело вторя говору кружащегося волчком вокруг меня базара, гул Иерусалима, Александрии, Вавилона.

...Вот-вот подойдут кочующие гурты согбенного Якова, и маленький Йозеф в красочном кетонете протянет мне продолговатые плоды, словно полные луны далеких небес.

Я люблю его таким, этот вечно древний Восток моей собственной древней восточной части души.

Надеюсь, что Вы еще считаете меня своей приемной дочерью.

Ваша Елена Шнеефельд

Вступление. Игровая приставка.....	5
Глава первая. Отрыв.....	10
Глава вторая. Двадцать пятый кадр	13
Глава третья. Сумерки Запада и рассвет Востока.....	33
Глава четвертая. Искандер за рулем. Время от времени смотрит в ретровизор (зеркало заднего обзора)	48
Глава пятая. Дни, не похожие друг на друга	65
Глава шестая. Беспричинное и беспрепятственное бегство от смысла	74
Глава седьмая. Давай сядем здесь и начнем читать.....	78
Глава восьмая. Ищущий истину размышляет о бессмертии души, а агент К. впервые задает вопросы.....	90
Глава девятая. Рассказ ищущего истину (при помощи спутниковой связи).....	106
Глава десятая. Хитросплетение языков и растворение смыслов.....	122
Глава одиннадцатая. Рассказ об оторванной ноге и солдатских ботинках	140
Глава двенадцатая. Наперекор разуму, вопреки чувству.....	152
Глава тринадцатая. Осколок чаши из Рея или из Раги, черт возьми.....	167
Глава четырнадцатая. Ищущий истину пытается понять, что же произошло на самом деле	192
Глава пятнадцатая. Глиняный Холм начинает разрушаться под воздействием вируса «Альбертина»	205
Глава шестнадцатая. Ищущий истину размышляет о теле, о душе, о глотке горячего зеленого чая и других не менее важных вещах	225

Глава семнадцатая. Что мог знать Искандер о жизни ювелира в городе духов?	249
Глава восемнадцатая. Искандер, в которого вселился демон лжи, пытается изложить свою версию	266
Глава девятнадцатая. Самое удаленное соединение	284
Глава двадцатая. Ничего этого не было, пока она не написала об этом	306
Глава двадцать первая. Размышления возле колодца жизни о башне смерти	333
Глава двадцать вторая. По этому поводу можно думать разное	358
Глава двадцать третья. Открытие вселенной из слов, лишенной всякого предела	384
Глава двадцать четвертая. Неотправленное письмо муаллиму	434